

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

---

**ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством  
Отделения историко-филологических наук РАН*

**2**

**МАРТ-АПРЕЛЬ**

---

УКА"

МОСКВА - 2005

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Т.В. Гамкрелидзе (Тбилиси). Об одной лингвистической парадигме .....	3
А.Л. Шилов (Москва). Прибалтийско-финская лексика и восточнославянское языкознание .....	7
Р.Ф. Касаткина (Москва). Московское аканье в свете некоторых диалектных данных ...	29
Р.К. Потапова (Москва). Субъектно-ориентированное восприятие иноязычной речи .....	46
В.Ю. Гусев (Москва). Типология нерегулярных императивных форм .....	65
Н.А. Кожевникова (Москва). Синтаксическая синонимия в художественном тексте ...	82
В.И. Подлеская (Москва). Русские глаголы <i>дать / давать</i> : от прямых употреблений к грамматикализованным .....	89
М.Е. Соболева (Санкт-Петербург). Материалы к истории аналитической философии языка в Германии .....	104

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### Рецензии

М.Б. Попов (Санкт-Петербург). <i>R.O. Richards. The Pannonian Slavic dialect of the Common Slavic Proto-language: The view from Old Hungarian</i> .....	131
П.В. Иосад (Москва). <i>J. Mattissen. Dependent-head synthesis in Nivkh: A contribution to a typology of polysynthesis</i> .....	135
Н.Р. Сумбатова (Москва). <i>Structures of focus and grammatical relations</i> .....	140
Ю.А. Ландер (Москва). <i>F. Wouk, M. Ross (Eds.) The history and typology of western Austro-nesian voice systems</i> .....	144
Ю.В. Мазурова (Москва). <i>Representing space in Oceania: Culture in language and mind</i> .....	147

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки .....	153
----------------------------	-----

## РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко,  
В.А. Виноградов* (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков,  
В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский,  
Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован,  
Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строчкова, М.М. Коробова*  
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,  
Институт русского языка им. В.В. Виноградова  
Редакция журнала "Вопросы языкознания"  
Тел. 201-25-16

© 2005 г. Т.В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

## ОБ ОДНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Как известно, в процессе истории языкознания сменяются различные подходы к изучению языка, дающие возможность вести анализ с разных точек зрения, на различных уровнях и в различных ракурсах.

Историю европейской лингвистической науки можно представить как некоторую смену или чередование “научных парадигм” (в смысле Томаса Куна [Kuhn 1962–1970]). Можно представить себе следующую схему истории европейской лингвистики:

Парадигма I:

“Универсальная грамматика” Арно и Лансло;

Парадигма II:

“Сравнительно-историческая грамматика” (Фр. Бопп, младограмматики, А. Мейе);

Парадигма III:

“Яфетическое языкознание” Н.Я. Марра;

Парадигма IV:

“Синхроническая лингвистика” Фердинанда де Соссюра: а) Структурная лингвистика (Н. Трубецкой, Р.О. Якобсон); б) “Дескриптивная лингвистика” (Л. Блумфилд); в) “Структурная типология и лингвистика универсалий” (Дж. Гринберг, Г.А. Климов);

Парадигма V:

“Трансформационно-порождающая грамматика” Ноама Хомского;

Парадигма VI:

“Структурно-типологическая компаративистика” (Р.О. Якобсон, О. Семереньи, В. Леманн, Гамкрелидзе/Иванов).

Парадигма VII:

“Ностратика и языковые макросемьи” (Х. Педерсен, В. Иллич-Свитыч, А. Бомхард, С. Старостин; Дж. Гринберг, М. Рулен).

Исключительно продуктивная лингвистическая парадигма, связанная с рассмотрением языка с точки зрения генетики, была выдвинута в XX веке (ср. [Гамкрелидзе 1988; Ángel López García 2002; Маковский 1992; Vichakjian 1988]).

В пятидесятые годы прошлого столетия в молекулярной биологии было сделано величайшее открытие века, пролившее свет на механизм наследственности. Было обнаружено, что наследственность соответствует сообщению, записанному вдоль хромосом с помощью определенного вида химического алфавита.

В качестве исходных элементов этого алфавита, ее “букв” используются четыре химических радикала, которые в комбинации друг с другом в бесконечных линейных последовательностях нуклеиновых кислот создают как бы химический текст генетической информации. Подобно тому, как фраза – это сегмент определенного языкового текста, составленного с помощью линейной последовательности небольшого числа исходных дискретных единиц – букв или фонем, так отдельный ген соответствует определенному сегменту в длинной цепи нуклеиновых кислот, представляющих собой четыре исходных химических радикала. И как в лингвистическом коде эти исходные единицы – фонемы – сами по себе лишены смысла, но служат для составления с помощью определенных комбинаций минимальных их последовательностей, выражающих уже определенное содержание в пределах данной системы; точно так же в генетичес-

ком коде информативен не отдельный элемент системы, не отдельный химический радикал, а особые комбинации этих исходных четырех нуклеотидов по три элемента, создающие так называемые “триплеты”.

Поскольку можно составить всего 64 комбинации из четырех исходных элементов по три, генетический “словарь” состоит из 64 “слов”, из коих три триплета представляют собой “знаки препинания”, маркирующие в длинной последовательности нуклеиновых кислот начало и конец “фразы”, а остальные соотносятся с одной из 20 аминокислот. Тут налицо не одно-однозначное соотношение, и среди таких “триплетов” выделяются “синонимичные слова”, т.е. такие последовательности, которые соотносятся с одной и той же аминокислотой. Установление подобных соотношений между триплетами из четырех исходных элементов и 20 аминокислотами и перевод длинной цепи “триплетов” в протеиновую последовательность аминокислот, в пептидную цепь, и есть считывание или декодирование наследственной информации, содержащейся в генетическом коде, подобно тому, как сообщение, закодированное “азбукой Морзе”, считается при переводе его на какой-либо язык. При этом становится очевидным, что все живое на земле обладает “знанием” генетического кода в том смысле, что оно способно правильно считывать генетические “слова”, составляющие содержание генетической информации и синтезировать в соответствии с этим протеиновые последовательности. В этом отношении генетический код универсален, его ключом обладает все живое на земле<sup>1</sup>.

Таким образом, бесконечное многообразие всего живого сводится в конечном счете к длиннейшим генетическим “сообщениям”, составленным по особым правилам линейной комбинаторики элементов генетического кода, обладающего разительными чертами структурного сходства с кодом лингвистическим. И не случайно, что с самого момента расширения генетического кода молекулярная генетика стала обильно заимствовать лингвистические понятия и лингвистическую терминологию при дальнейшем изучении механизма наследственности. Однако характерной чертой лингвистического кода, лежащего в основе естественных языков, которая отличает его от кода генетического, является значительно большее, чем четыре, число исходных единиц-фонем, комбинации которых и составляют минимальные значимые элементы звукового языка. Это создает в языковой системе избыточность, в условиях которой становится возможным исправлять или восстанавливать искажения в сообщениях, возникающие в результате нарушения под влиянием внешних факторов комбинаторики установленных последовательностей исходных единиц. Таким свойством генетический код не обладает, и любая пермутация, или элиминация отдельных элементов в линейной последовательности нуклеотидов, приводит неизбежно к искажению первоначально записанной генетической информации.

Выявляемый структурный изоморфизм между двумя различными информационными системами – генетической и языковой, строящимися на линейной комбинаторике исходных дискретных единиц, ставит феноменологический вопрос о природе этих систем и о причинах возникновения подобного структурного изоморфизма. Выдвигаются различные точки зрения. Наиболее характерен в этом отношении научный спор между двумя крупнейшими учеными нашего времени – лингвистом Романом Якобсоном и биологом-генетиком Франсуа Жакобом. Является ли выявляемый структурный изо-

---

<sup>1</sup> Последние десятилетия XX века ознаменовались и другим значительным открытием в науке: выяснилось, что нейтроны и протоны, считавшиеся элементарными составляющими атомного ядра, состоят из еще более элементарных частиц – “кварков”. Открыватель “кварков” американский физик М. Гелл-Манн допустил первоначально всего три “кварка” с различными “оттенками” (“вкусом” – flavor, “цветом” – color) [Gell-Mann 1994]. Знаменательно, что в свете этих открытий вся живая и неживая природа сводится в конечном счете к весьма ограниченному числу изначальных элементов, составляющих определенные комбинации и структуры. Само название “кварка” было заимствовано у Джеймса Джойса из не вполне понятной фразы в романе “Finnegans Wake”: “Three quarks for Muster Mark”.

морфизм между двумя кодами – генетическим и лингвистическим – чисто внешним, возникшим в результате структурного сближения или совпадения двух различных систем, выполняющих аналогичные информативные функции, или же этот изоморфизм есть результат филогенетического конструирования языкового кода по модели, по образцу и структурным принципам кода генетического? Это второе предположение отстаивается Романом Якобсоном, тогда как Франсуа Жакоб допускает скорее аналогичную структурированность различных информационных систем при аналогичных функциях.

Якобсоновское понимание структурного изоморфизма между генетическим и лингвистическим кодами предполагает эволюционный процесс наложения лингвистического кода непосредственно на генетический и копирования его структурных принципов, осуществляющегося в условиях бессознательного владения живым организмом знаниями о характере и структуре последнего. Это полностью относится к сфере бессознательного, к неосознаваемому владению организмом информацией о строении и структуре существенных его механизмов. И все это выразилось не только в филогенетическом процессе оформлении структур языкового механизма по модели генетического кода, но и в различных творческих актах отдельных выдающихся личностей, строящих особые информационные системы в общем по модели генетического кода без эксплицитного знания структуры последнего.

В этой связи следует прежде всего привести теорию глоттогонического процесса выдающегося ученого Николая Яковлевича Марра, обладавшего тончайшей научной интуицией, доходившей порой до гениальности. Марр сводит исторически возникшее многообразие языков именно к четырем исходным элементам, состоящим, как это ни странно, из своеобразных звуковых троек – бессмысленных последовательностей – *сал, бер, ион, рош*. Любой текст произвольной длины на любом языке мира есть в конечном счете результат фонетического преобразования только этих исходных четырех, самих по себе ничего не значащих элементов, скомбинированных в определенной линейной последовательности. Этим, по мнению Н.Я. Марра, и определяется единство глоттогонического процесса.

Глоттогоническая теория Н.Я. Марра не имеет под собой никаких рациональных оснований. Она противоречит и логике современной теоретической лингвистики, и языковой эмпирии, и в этом смысле она иррациональна. Но теория эта, представляющая своеобразную структурную модель некоей семиотической системы, весьма близкой к генетическому коду, не иррелевантна для науки и может служить иллюстрацией проявления в ученом интуитивных и неосознанных представлений о структуре генетического кода, очевидно, подсознательно скопированных им при создании оригинальной модели языка. Эксплицитных и осознанных знаний о такой структуре генетической информационной системы Марр иметь, конечно, не мог, как не могли ими обладать и те древнекитайские философы, которые примерно три тысячи лет назад разработали особую систему трансформаций четырех бинарных элементов, составленных из “мужского принципа” ян и “женского принципа” инь и сгруппированных по три, что дает всего 64 троичных последовательности, аналогичных генетическим “триpletам”. С помощью сочетания подобных “троек” и описывается в этой древнекитайской символической системе многообразие всего живого и устанавливаются соотношения между ними. В этой связи следует вспомнить об аналогичных системах с **четырьмя** элементами в космогонии ионийцев, с **четырьмя** состояниями человеческого тела, по Гиппократу. Эти символические системы как и марровская модель языка, поразительно совпадают, вплоть до количественных параметров, со структурой генетического кода, выступающего, очевидно, в качестве их подсознательного субстрата.

Глоттогоническая теория Н.Я. Марра и все его “яфетическое языкознание” – это своеобразная парадигма в языкознании, которая возникла на идеологической основе в противовес “компаративистской парадигме”.

В свете вышеизложенного представляется вполне оправданным и своевременным организованный проф. Патриком Серьо в Лозаннском Университете (Швейцария) коллоквиум (1–3 июля 2004 г.), посвященный рассмотрению и оценке наследия академика Н.Я. Марра: “Утерянная парадигма: марровское языкознание в Советском Союзе” [Seriot 2004]. Основные положения настоящей статьи были изложены в моем докладе и выступлениях именно на данном коллоквиуме.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гамкрелидзе 1988 – *Т.В. Гамкрелидзе*. Р. Якобсон и проблемы изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами // ВЯ. 1988. № 3.
- Маковский 1992 – *М.М. Маковский*. Лингвистическая генетика. М., 1992.
- Ángel López García 2002 – *Ángel López García*. Fundamentos genéticos del lenguaje. Madrid, 2002.
- Bichakjian 1988 – *B. Bichakjian*. Evolution in language. Ann Arbor, 1988.
- Gell-Mann 1994 – *M. Gell-Mann*. The quark and the jaguar. New York, 1994.
- Kuhn 1962–1970 – *Th. Kuhn*. The structure of scientific revolutions. 2-nd ed., Chicago, 1962–1970.
- Seriot 2004 – “Un paradigme perdu: la linguistique marriote en URSS”. Colloque organisé par Patrick Seriot. Crêt-Bérard, 1–3 juillet 2004.

© 2005 г. А.Л. ШИЛОВ

## ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКАЯ ЛЕКСИКА И ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В работе рассмотрены и проиллюстрированы рядом примеров некоторые вопросы славяно-финского лексического взаимодействия. Затронуты проблемы времени и территориальной приуроченности первичных славяно-финских контактов, семантики ранних заимствований. Предложены новые решения (на базе славянской лексики) для этимологии некоторых прибалтийско-финских лексем, в том числе – альтернативные уже существующим. Особо рассмотрены случаи использования славизмов (русизмов) финно-угорских языков для решения проблем собственно восточнославянского языкознания, а именно: исторической фонетики, исторической диалектологии, истории и этимологии слов (имея в виду как заимствованные, так и исконные лексемы).

### 1. О РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЯЗЫКОВ

Исследование русских (resp. славянских) заимствований в прибалтийско-финские (в меньшей степени – в саамский) языки имеет давние и плодотворные традиции [Веске 1890; Mikkola 1938; Kalima 1952; Plöger 1973] и непрерывно продолжается (см., например [Николаев, Хелимский 1990; Terent'ev 1990]). Заметим, впрочем, что с некоторых пор в работах по данной тематике наметился опасный крен в сторону поиска “сверхдревних” славизмов финских и саамского языков (см. ниже), уводящий в сторону от действительно актуальных проблем славяно-финского языкового взаимодействия.

На основе анализа публикаций последних 20–25 лет, автору представляется, что обсуждения (а порой – и ревизии) заслуживают следующие вопросы: (а) время и место наиболее ранних контактов славян с западными финно-уграми; (б) вопросы семантики, как критерия достоверности заимствования тех или иных слоев лексики; (в) сам корпус славизмов в прибалтийско-финском (саамском); (г) полицентризм, т.е. распределение по различным прибалтийско-финским (саамским) диалектам генетически родственных индоевропейских заимствований (зачастую диахронных, но дающих внешне близкий, порой – идентичный результат); (д) дилеммы прибалтийско-финской заимствованной лексики (возможность альтернативных решений). Отдельный и весьма существенный вопрос – значение славизмов прибалтийско-финских и саамского языков для собственно славянского языкознания.

1.1. Вопрос времени и места наиболее ранних славяно-финских контактов остается остродискуссионным. Археологические данные пока не дают нам свидетельств одновременного присутствия финнов и славян на каких-либо территориях юго-восточной Прибалтики ранее рубежа нашей эры или даже ранее середины I тыс. н. э. Вместе с тем, некоторые исторические и языковые данные оставляют возможность более широких временных интерпретаций. Так, А.И. Попов, указав на древность заимствования прибалт.-фин. *vilja* “хлеб, зерно” (< слав. \**obr'-vilje* > русск. обилие)<sup>1</sup> и *ravita* “пи-

<sup>1</sup> Этимология повторена в [Koivulehto 1988], причем без ссылки на А.И. Попова.

тать, кормить” (< слав. *strava* > русск. *страда, стравить, травить*), заключил, что подобные заимствования следует датировать временем задолго до образования Киевского государства. Здесь же он сослался на Тацита (I в. н. э.), который писал о проникновении венетов-славян вплоть до феннов [Попов 1972]. Действительно, фактом является распространение древней топонимии, правдоподобно объясняемой из финских языков, вплоть до правобережья Вислы. Но здесь возникает ряд вопросов. Были ли тацитовские венеты славянами? Были ли его “фенны” теми прибалтийскими финнами, в языках которых якобы обнаружены “сверхдревние славизмы” (см. ниже)? Наконец, могли ли эти финны реально контактировать со славянами (т.е. могла ли звучать в те времена славянская речь на юго-восточном побережье Балтики)?

Проблема, бесспорно, существует, см., хотя бы, такие немногочисленные пока, но яркие примеры, как прибалт.-фин. *hauki* ~ слав. *щука*, прибалт.-фин. *hirsi*, genit. *hirde* ~ слав. *жърдь*, юж.-эст. *luhits(a)* ~ др.-русс. *лѣжица* “ложка” и др. [Mikkola 1938; Хакулинен 1953: 295, примеч. П.А. Аристе; Ткаченко 1990; Koivulehto 1999: 10]<sup>2</sup>. Эти соответствия заслуживают самого пристального внимания уже ввиду несомненного сходства прибалтийско-финских и славянских форм. Но неосмотрительно было бы прямолинейно трактовать их как свидетельства сверхдревних славяно-финских контактов и на этом основании выдвигать очередные, уже “необязательные” (имеющие разумную альтернативу) праславянские этимологии некоторых финских слов (фин. *lehto* “лист” < праслав. *\*listü*, фин. *puhdas* “чистый” < праслав. *\*pustü*, фин. *tahdas* “тесто” < праслав. *\*taistos* [Viitso 1992], коми *гоб*, удм. *губи* “гриб” < праслав. *\*goba* [Napolskich 1996] и др.). Заметим, что пока в славянских языках не обнаружено столь же древних финнизмов.

Острота проблемы заключается не только в том, что принятие подобных этимологий неизбежно влечет за собой безусловное признание резкой архаизации времени начала славяно-финских контактов (что а priori все-таки не исключено<sup>3</sup>), но, в первую очередь, в необходимости ревизии хронологии фонетических изменений в тех или иных языках (см. [Хелимский 1995], повторено в [Хелимский 2000])<sup>4</sup>. Как отмечает А.Е. Аникин, некоторые результаты соответствующих исследований представляют определенный интерес, но интерпретироваться они должны, во всяком случае, не как заимствования в уральские языки из праславянского [Аникин 2003: 14]<sup>5</sup>.

В. Кипарский, на основании лексических данных, древнейшие контакты между славянами и прибалтийскими финнами относил к VI в. н. э. [Кипарский 1958] (см. также краткий обзор работ по данной тематике [Мызников 2003а: 49–54]). Согласно археологическим данным, восточные славяне могли войти в контакт с прибалтийско-фин-

<sup>2</sup> Начало этой традиции было положено работами М.П. Веске, А.А. Шахматова, Э.Н. Сетяля.

<sup>3</sup> Мы не исключаем и возможность былого существования в Восточной Прибалтике (в начальный период славянской экспансии туда) какой-то финской “чуждой” группы, в языке которой некоторые фонетические процессы протекали иначе (в другое время), нежели у эстонцев, води, финнов, карел. От этой группы известные истории прибалтийские финны и могли воспринять соответствующие славянские слова уже в преобразованной форме (с осуществившимися переходами *\*š, ž, šč > h, \*ti > si*) [Шилов 1999: 36–38]. Тем самым некоторые из указанных выше вопросов могли бы быть сняты. Но это не более чем гипотеза, в подкрепление которой материалов пока явно недостаточно.

<sup>4</sup> “Трудно поверить (в связи с предполагаемым происхождением фин. *hirsi, hirde* из слав. *\*žirdi < \*girdi – А.Ш.*), что первая палатализация в славянском имела место раньше, чем прибалтийско-финский переход *\*š > h*” [Хелимский 2000: 532].

<sup>5</sup> Здесь речь может идти, например, о палеоевропейском (доиндоевропейском и дофинно-угорском) языковом субстрате, независимо отразившемся как в славянских, так и в финских языках [Ariste 1971]. Так, прямое соотнесение слав. *\*dǫbъ* (русс. *дуб*) < *\*dombo* и прибалт.-фин. *tammī*, морд., мар. *tumo* “дуб” < прафин. диал. *\*tamb-* является некорректным. Но вовсе пренебрегать близостью славянской и финской лексем было бы неразумным с точки зрения европейской палеолингвистики [Матвеев 2003: 96–97].



ской чудью не ранее V–VI вв. [Седов 1989]. Правда, открытие селищ и могильников кривичей, датируемых V в., в бассейне Мологи (на реках Чагода, Песь, Кабожа) [Башенькин 1999], то есть к северо-востоку от оз. Ильмень, похоже, свидетельствует о возможности несколько удревить эту дату. Но вряд ли это удревление может быть сколько-нибудь существенным, если мы вспомним о “балтийском клине” (о нем, начиная с В. Томсена, писали многие исследователи, как археологи, так и лингвисты), который в первой половине I тыс. н. э. разделял восточных славян и прибалтийских финнов, исключая возможность их прямого контактирования (эпизодические контакты в процессе дальней торговли, конечно, могли иметь место). Здесь уместно привести наблюдения Л. Беднарчука, который отмечает, что в Поозерье юго-восточной Прибалтики (в частности – в Мазурах, Белоруссии) славяне воспринимали финские по происхождению гидронимы уже в балтийской форме: слав. *Newel* < балт. *Nevelis* < фин. *Neva*, слав. *Miadziot* < балт. *\*Mendelas* < фин. *Mendes* (?\**Mändus*. – А.Ш.) [Беднарчук 1997: 103–104].

Место этих первичных контактов можно приблизительно определить как территорию юга Псковской и Новгородской областей и севера Белоруссии, см. такие показательные финнизмы в белорусских диалектах, как *саламя* (с полногласием!<sup>6</sup>) ‘пролив’ и *лепешник* ‘ольховые кусты’ [Яшкин 1974: 175–176], которые явно восходят к прибалт.-фин. *salmi* ‘пролив’ и *leppä* ‘ольха’, *lepisto* ‘ольшаник’ соответственно.

Еще меньше оснований говорить о “сверхдревних” славяно-саамских контактах, постулируемых Й. Койвулехто [Koivulehto 1999: 10, 323] (о скепсисе по поводу лингвистических доказательств подобных контактов см. [Шилов 2002а: 220, примеч. 1]; исторические и археологические доказательства подобных контактов пока отсутствуют вовсе). Самая оптимистическая оценка времени начала контактов восточных славян с саамами – “приладожской” или “поволховской лопью” – пока не опускается ниже VII в. н. э. (о топонимии саамского типа к югу от Невы и Ладожского оз. см. [Шилов 1996: 23–24]).

**1.2.** Проблема определения семантических критериев возможности (движущей силы) заимствований в первом приближении состоит в очерчивании круга лексико-семантических классов (групп) как критерия отбора. Иными словами – насколько реально ожидать заимствование того или другого понятия (для отсекаания случайных совпадений, всегда возможных при большом количестве материала, привлекаемого с обеих сторон: потенциальный донор – реципиент). Здесь, безусловно, не может быть абсолютно жестких критериев, ибо разные времена, разный уровень развития народов, разный характер межэтнических контактов подразумевают разный характер процессов заимствования.

Крайнюю (критическую) позицию в этом вопросе занимает Е.А. Хелимский, когда он говорит о языковых контактах раннего периода. Опираясь на достоверные данные о древних заимствованиях (например, балтских в прибалтийско-финском<sup>7</sup>), Е.А. Хелимский отвергает возможность сколько-либо массовых заимствований глаголов, прилагательных, характеристик качеств и свойств, равно как и терминов, относящихся к базовой лексике. С этим, бесспорно, надо согласиться. К сожалению, древние заимствования не всегда возможно отграничить (по фонетическим показаниям) от более поздних, равно как и от субстратных включений (вопрос соотношения субстрата и заимствования требует отдельного рассмотрения, см. по этому поводу [Рут 1984; Мызников 2003а: 16–18; 2003б: 21–27]).

<sup>6</sup> См. о распространении формы *солóмя* (на фоне более позднего заимствования *сáлма*) в Карелии [Мызников 2003а: 285–287].

<sup>7</sup> Аналогичные выводы можно сделать и на основании корпуса 103 древнерусских заимствований в прибалтийско-финских языках, представленного в [Mikkola 1938]: 3 глагола, одно наречие, 3 прилагательных, 96 существительных (в основном это технические, социальные и культурные термины).

В отношении заимствований более позднего времени методологическую ценность представляют выводы работы Л.П. Якубинского по проблемам лексикологии и семантики, основанной на анализе прибалтийско-финских заимствований в русские архангельские и олонекские говоры [Якубинский 1926]: «От заимствований, которые являются результатом международного обмена предметами и понятиями (формула "Wörter und Sachen"), необходимо отличать другой тип заимствований, когда происходит замена своего слова чужим или возникновение наряду со своим словом другого – синонимичного или синонимобразного... К неустойчивым элементам словаря относятся термины, не имеющие непосредственно отношения к хозяйству и насущному быту, а также названия частные, осуществляющие детализацию... Заимствование может быть обусловлено мотивами экспрессивного подбора, эстетической выразительности, побуждениями эвфемистического порядка, суеверными табу. Заимствуются эмоциональные эпитеты, именные характеристики, глаголы, связанные со звуковой образительностью, со значением речи, понимания, еды, выразительные значения переживаний и разных эффективно окрашенных бытовых действий».

Действительно, в карельском и вепсском языках, по сей день активно контактирующих с русским (испытывающими как адстратное, так и суперстратное влияние последнего), присутствует значительное количество заимствований, принадлежащих тем семантическим группам лексики, что указаны Якубинским. Значительно меньше их в финском, но и в нем встречаются "необязательные" заимствования из русского, например (мы ограничиваемся финскими словами на *s-*) со значениями "хлебать", "шуметь", "рассветать", "заводить", "шипеть", "хватать"; "жалко", "все равно", "чуть", "сейчас", "часто"; "жуткий", "частый", "скорый". Но, конечно, подавляющее большинство русских заимствований финского языка представлено существительными. Сплошной просмотр этимологического словаря финского языка [SKES] на букву *S*, в сочетании с нашими собственными изысканиями, дает следующую статистику заимствований из русского: 130 существительных, 5 прилагательных, 8 глаголов, 5 наречий.

**1.3.** Некоторые славизмы прибалтийско-финских языков внешне очевидны (хотя доселе и не вошли в научный обиход), либо весьма вероятны, либо, наконец, заслуживают хотя бы рассмотрения на предмет их признания или же опровержения. Таковыми нам представляются следующие случаи:

Прибалт.-фин. *taku* "вкус" (откуда *makea*, *maukas* "вкусный, сладкий") [SKES: 330] может быть сопоставлено с русск. *смакъ* "(хороший) вкус". Если финское слово действительно происходит из русского (ср. ср.-в.-нем. *smaken* "пробовать на вкус"), то это заимствование является относительно ранним, ввиду наличия слова во всех прибалтийско-финских языках (откуда оно было заимствовано и в саамские диалекты), а также наличия ряда его производных. Тем самым, и само русское слово косвенно получает достаточно раннюю документацию (ср. [Фасмер, 3: 683]).

Прибалт.-фин. (фин., карел., ливв., вепс., эст.) *äreä, äriä, ärjä* "ворчливый, сварливый, злой" (в [SKES: 1875] характеризуется как ономатопеическо-дескриптивное) может рассматриваться как заимствование русск. *ярый* (о ранней документации и семантике слова: [Ларин 1977: 89–100]).

Фин. *sipakka, sypakkä, sipeä, sypeä*, карел. *šipakka, šibie, šibei, šüpie, sübie, sübei* "бойкий, живой, проворный; быстрый, шустрый, скорый; торопливый, пылкий; горячий, сердитый, злой, строгий", фин. *sypäkkään* "быстро", карел. *sübevüö, sübiendüö* "возбуждаться, горячиться", диал. *sipieh* "зло, сердито" [SKES: 1035, 1147]. Ввиду отсутствия финской производящей основы и колебания вокализма, перспективным представляется сравнение с русск. *шибкий, шибок, шибко* (откуда *шибак, шибай* "буян, драчун" [Даль, 4: 436]), связанным со слав. *šibati* "бросать, бить" [Фасмер, 4: 435–436].

Более подробно рассмотрим фин. *paljo*. Положение (статус) слова в прибалтийско-финских языках видно из таблицы [SKES; KKLS; СКЯ; СВЯ].

Язык	"Большой"	"Много"	"Больше, больший"
финский	*enä suuri	äijä (вост. диал.) <b>paljo(n)</b>	enempi, enää
собственно карельский	*enä šuuuri äijä	äijä, äijän <b>paljo(n)</b> < ? фин.	enämbi
карельский тверской	*enä šuwuri	äijä	n' ämbi äijjä
ливвиковский	*enä suuri äijü	äijü, äijän	enämbi
людиковский	*enä suur	äi(j), äije, äijü	enämb(i), enamb
вепсский	*enä sur	äi	enamb äjad
ижорский	suuri	äijää <b>paljo</b>	
эстонский	*enä suur	<b>palju, paljo</b>	enam, enämb, inamb
водский	*enä suur(i)	<b>pal'jo, pal'ʔo</b>	enäpi, enepä
ливский	*enä suur	jenn ē	enin, emin, jembit
саамский	*enä	ē dnag	ē neb
норвежский	stura, stuores < сканд.	<b>balljo</b> < фин.	
саамский		ē na	ē nap
шведский		<b>paljo</b> < фин.	
саамский	jenn <sup>a</sup>	ienneg, jenni	ienamp
кольский	šurr < кар. stuorra < сканд.		

К таблице можно привести следующие комментарии и выводы.

1) Изначально в прибалтийско-финских и саамском языках парадигма ‘большой – много – больше (больший)’ строилась на основе уральского \**enä* ‘большой’. Однако в полном составе она представлена ныне лишь в саамских диалектах Кольского п-ва. Данное слово сохранилось в самодийских, обско-угорских (манс. *iäni*, *ienig*, хант. *ene*), пермских (коми *upa*, удм. *upo*, *ino* ‘много’) и волжских (морд. *iñe*, *iñä*) языках. Из топонимических данных оно реконструируется для вымерших языков Мери (ср. *Инобож*, *Инохта*, *Инокша*, *Иноваж*, *Иней*, *Иночь*, *Инюха* [Матвеев 2001: 147–148]) и Чуди Заволочской (*Онега* < \**Enä-jogi*, *Оногра* < \**Enä-jähr* и др.). Для прибалтийско-финских языков свидетельствами былого активного функционирования слова \**enä* являются его живые производные и данные топонимии [SKES: 39–40; Муллонен 1994: 57–58]. Топонимические факты свидетельствуют, между прочим, об относительно недавнем исчезновении слова в некоторых прибалтийско-финских диалектах. Так, одна из рек Северного Приладожья *Эняйоки* еще в писцовых книгах 1500 и 1564 гг. именовалась *Яня-река* (ср. саам. *jeänp* ‘большая река’) и лишь позднее получила карельское название *Enä-joki*, также означающее ‘большая река’.

2) Впоследствии эта парадигма подверглась изменению (разрушению): в ее состав вошли лексемы *suuri* и *äijä*. Первая из них является финно-волжской с первичным значением ‘зерно хлебного злака’ (см. подробнее примечание к разделу 3.5.1). Вторая – финно-угорской с первичным значением ‘отец, дед, предок, старший родственник’ [SKES: 1868]. Это значение сохранено словом в саамских диалектах, в водском, ижорском, эстонском языках и большинстве финских диалектов.

3) Слово же *paljo* ‘много’ в прибалтийско-финских языках является ограниченным по распространению и, возможно, появилось в них относительно поздно. Косвенным свидетельством последнего нам представляется то, что в прибалтийско-финских личных именованиях и географических названиях, известных по документам XIV–XVII вв. и содержащих компонент со значением ‘много’, мы видим не *paljo*, но лишь *moni* (partit. *monta*) ‘много’ (древняя финно-угорская лексема, заимствованная из индоевропейского источника, либо родственная ему)<sup>8</sup>.

Существует версия об исконном (уральском) происхождении слова *paljo*. Так, указывалось на марийск. диал. *pülä* ‘довольно, очень много’, манс. *pöäl*, *pa(a)l* ‘густой, частый’, ненец. *pal* ‘густой’, энец. *fod'e-me* ‘густеть, набухать’ [SKES: 474]<sup>9</sup>. Как в [SKES], так и в [SSA] эти сопоставления с прибалт.-фин. *paljo* признаются сомнительными (по нашему мнению, данные лексемы скорее могут быть родственными фин. *pullea* ‘толстый, густой, вспученный’).

Приведенные же выше факты указывают, что можно ставить вопрос о неисконности происхождения слова *paljo* в прибалтийско-финских языках.

В новейшем этимологическом словаре финского языка [SSA 2: 301] приводится (со знаком вопроса) германская версия: «фин. *paljo* < герм. \**felu*, ср. гот. *filu*, др.-норв. *fjöl*, нем. *viel* ‘много’». Эта версия имеет давние традиции. Еще Дифенбах в 1851 г. высказал предположение о связи финского слова с германскими источниками. В 1869 г. В. Томсен в работе “Über den Einfluss der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen” сопоставил фин. *paljo* с гот. *filu*, др.-норв. *fjöl* ‘много’. Т. Карстен, отмечая фонетические несоответствия между приведенными Томсеном германскими и финскими формами, допустил существование аблаутного готского \**falu* и попытался обосновать

<sup>8</sup> Она представлена в личных именованиях *Montaneuvo*, *Montapäivä*, *Montanen*, *Monta*, *Montopää*, \**Montanahkää*, топонимах *Montola*, *Monnonkylä*, *Monnojjärvi* (все – в восточной Финляндии или северо-западном Приладожье), *Моньпелды* (в низовьях Онеги) [Nissilä 1975: 120, 124, 127, 141; Шилов 2002б: 151, примеч. 3].

<sup>9</sup> К. Редей предполагает, что указанные самодийские формы могли послужить источником юкагирского *rojōi* ‘много, обилие’, *rojō-n* ‘много’, *rojumi* – ‘увеличиться, стать больше’ [Reidei 1999: 41].

возможность существования готского наречия \**faljō*- (общегерм. \**poljā*-) [Karsten 1902] (см. также [Neuhaus 1908]; обобщение этимологий проведено в [Vries 1961]). Все указанные сопоставления А. Йоки считает некорректными [Joki 1973: 128]. Наконец, Х. Вагнер (*Zeitschrift für celtische Philologie*, Tübingen, XXIX, 1964: 303–304) связывал фин. *paljo* с кельтскими источниками: шотл.-гэльским *pailt*, бретонским *paot* “изобильный”, корнуэльским *pals* “много” [Joki 1973: 158].

Указанные версии представляются маловероятными не только в силу некоторых фонетических, но и временных несоответствий (см. выше). По нашему мнению, если ставить вопрос о заимствовании, то на роль источника прибалт.-фин. *paljo* может претендовать русск. *более*, др.-русск. *болии*, *болье*, *боле* ‘больше, обильнее, лучше, достаточно, хорошо’. Неточное соответствие семантики (русское “больше” – финское “много”) не является, как нам кажется, непреодолимым препятствием к предложенному сопоставлению. Сложнее дело обстоит с фонетикой. Правильной рефлексацией слав. \**bolje* является фин. \**palje*, а не *paljo*. Возможно, последняя форма реализовалась во избежание омонимии с прибалт.-фин. *palje* “мех (кузнечный)” (старое германское заимствование, см. подробно [SKES, s.v. *palje*]).

1.4. К вопросу полицентризма (см. об этом явлении [Топоров 1995: 47]) – заимствованию (возможно, одновременному) в прибалтийско-финские языки одной (общей на индоевропейском уровне) лексемы из разных индоевропейских (германского, балтского, славянского) языков или разных диалектов одного языка (русского, древнерусского), см. известные случаи: прибалт.-фин. *tolppa* “столб” [SKES: 1338], *alttari* “алтарь”<sup>10</sup>. Добавим к этому и фин. *sieppi* (кар. *tšieppi*) и фин. *säppi*, заимствованные в разное время и/или на разных территориях из русск. *цепь*, диал. *чень*.

Весьма вероятно, что фин. *kirkko*, эст. *kirik* ‘церковь’ восходят к др.-швед. *kirkia* (или др.-в.-нем. *kirihha*. – А.Ш.) [SKES: 199]. Но карел.-ливв. *kirikkö*, людик. *kirko*, *kirikkö*, водск. *tšerikkö* допустимо связывать с пск.-новг. \**къркы*, ср. *крькъвь* в новгородской Минее XII в., а также название дер. *Кирково* близ городка Курско в западной части Деревской пятины (НПК, II: 588). На эту версию работает историзм: Корелу и Водь, в отличие от финнов и эстонцев, крестил не католический Запад, а православная Русь. Ср. такие термины христианской обрядности и мировоззрения, заимствованные прибалтийскими финнами из др.-русск., как фин. *raamattu* ‘священное писание, письменность, книга’ < *грамота*, *risti* < *крѣсть*; *pakana* “язычник” < *погань*; *piessa* (карел. *bies-sa*) < *бѣсъ*; *rappi* < *нонь*; *räähkä* < *грѣхъ*, *kuoma* < *кумь*, *mieru* < *миръ*, *pulvana* “языческий идол” < *бълванъ*, *sirnitsa* < *чърнецъ*, карел. *ñedäli* < *недѣля*, более поздние фин. *säässynä* < *часовня*, карел. *pohrottša* < *богородица* и др.

1.5. Альтернативы между языками. В.А. Терентьев указал, что прибалт.-фин. *ranta*, *randa* “берег” может происходить не из герм. *strand*, а из балт. *krañtas* [Terent’ev 1990]. В пользу этого предположения (если, конечно, отвлечься от идей Й. Койвулехто и его последователей и исходить из общепризнанного временного приоритета балто-финских контактов перед германско-финскими) говорит наличие на древней (субстратной) восточной прибалтийско-финской периферии топонимов с элементом *ранда*, в репозиции к архаичному (зачастую – неприбалтийско-финскому) компоненту: *Рандобой*, *Рандобож* и др.

Прибалт.-фин. *ääri* “край, предел, граница” Й. Койвулехто возводит к прафин. \**äirel*/\**äjä-re*, выводя данную форму из прабалт.-слав. \**eg*’(*ē*)/-/\**ēg*’- (ссылаясь на лит. *ežė* ‘то же’, лтш. *eža* “садовая грядка; межа на поле”, слав. \**ěz*- > русск. *яз* “закол, рыболовная запруда”) [Koivulehto 1999: 8]. Но гораздо естественнее, если говорить о заимствовании, возводить прибалтийско-финское слово к русск. *яр* (< тюрк. *ja:r*) “край, обрыв”.

<sup>10</sup> Предполагается заимствование финского слова из древнешведского, эстонского и ливского – из немецкого, а карельского и саамского (диалект Аккала) – из русского [SKES: 16–17].

Прибалт.-фин. *keppi* (фин. диал. *käppi, kepakka*) ‘палка, кривое деревянное орудие для молотья, било’ выводят из швед. *käpp* [SKES: 182]. Но ср. и русск. диал. (северное) *кеп, кяп, кепок, кипок* ‘ручная молотилка, цеп; ручка цепа; било’ (при общерусск. *цеп*).

Фин. *siiri* ‘редкая ткань, марля; тонкая косынка, головной платок’ может быть корректно выведено из швед. *skir* “марля” [SKES]. Но ср. и др.-русск. \**сѣръ* ‘небеленое домотканое сукно’, представленное в НГБ № 130 XIV в. в форме *хѣръ* (см. комментарий к этой грамоте [Зализняк 1995: 501])<sup>11</sup>.

Особый случай – омонимия слов (с относительно близкой семантикой), которые могли быть заимствованы в финский из разных источников. Так, в единой статье этимологический словарь финского языка дает фин. *tonntu* ‘домовой, дух, оберегающий дом’ (во всех диалектах); ‘болван, дурак, глупец’ (Сатакунта, Хяме, Саво, юго-западные и юго-восточные диалекты), карел. диал. (Суоярви) *tonntu* – ругательно о ребенке (ср. и отыменный ойконим *Дондейла* в Южной Карелии. – А.Ш.); фин. *tonntuilla* (чаще в слэнге) ‘вести себя глупо, копаться, мешкать, волынить’; *tonnta* ‘чёрт, привидение, “tonntu”’; болван, дурак, глупец’; *tonnti* ‘дух, “tonntu”’; непослушный, упрямый человек (Корписелькя), дурак, глупец (Пудасъярви, Ингерманландия) < швед., ср. *tomte*, диал. *tomt, tomta* ‘домовой, “tonntu”’ [SKES: 1343].

Против сопоставления финского слова (с его вариантами) в значении “домовой, дух” со шведским источником возражений не возникает. Поэтому, если ограничиться этим сопоставлением, то значение “дурак, глупец, упрямец, лентяй” (выделены выше жирным шрифтом) следует отнести на счет собственно финского семантического развития. Но обращают на себя внимание следующие славянские данные. Праслав. \**dunda* ‘толстая, грузная женщина, девушка’ реконструируется в праславянском словаре Ф. Славского (Т. 5) на основании южнославянских и карпатоукраинских данных [Аникин 1998: 218]. Сюда же относят словац. *donda* “кукла; рослая девушка”, укр. диал. *тундавэй* “неповоротливый”, укр. диал. карп. *дѣнда* “неповоротливый, неуклюжий человек”, укр. диал. полесск. *дѣнда* “бездельник”, блр. диал. *дѣнда* “соня”, русск. диал. (северн.) *дѣнда* – о толстом человеке и личные имена: польск. *Dunda*, русск. *Донда*, *Дунда*, блр. *Донда* [Аникин 1998: 218; Козлова 1994: 133–134; СРГК, 2: 10; Веселовский 1974: 103]<sup>12</sup>. В свете семантики рассматриваемого финского слова, особенно интересны производные: блр. диал. *дундук* ‘тот, кто опьянел от курения’, русск. диал. *дундук* ‘толстяк, бездельник, глупец, бестолковый человек’ (откуда, видимо, марийск. *tundäk* ‘глупый’ [Raasonen: 147]. – А.Ш.), русск. диал. (ряз.) *дундуля* ‘дылда, верзила, болван, остолоп’ [Даль, I: 501; Аникин 1998: 221, примеч. 37]. Связь указанных славянских и финских слов представляется вполне вероятной. Тем самым, позволено ставить вопрос о заимствовании фин. *tonntu* в двух его разных значениях из разных источников – скандинавского и славянского.

1.6. Говоря об альтернативах в рамках одного языка-источника, мы ограничимся одним примером. Фин. *raataa* ‘работать, выполнять тяжелую работу (с 1749 г.; общепинское, но редко в западных диалектах); вырубать подсеку, возделывать землю, рас-

<sup>11</sup> Казалось бы, здесь имеется несоответствие с каноническими примерами рефлексации др.-русск. *ѣ* в прибалтийско-финском: в древнейших финских заимствованиях как *ää* (ср. *määrä, läävä, lääti* с *мѣра, хлѣвъ, клѣть*), в карельских как *eä*; в более поздних – как *ie* (ср. *siippi, viesti* с *цѣпь, вѣсть*). Однако материал новгородских берестяных грамот показывает, что в древненовгородском койне существовали два типа рефлексов праслав. \**ē*: [’ä] и [’ê] [Зализняк 1995: 43–44] (о рефлексации \**ē* в восточнославянских диалектах см. также [Вендина 1998]). Первый рефлекс отразился в прибалтийско-финских заимствованиях в соответствии с указанными примерами (только их и дает [Mikkola 1938]), второй, начиная с XIII в., испытал переход в [и], что наглядно отразилось в графике берестяных грамот [Зализняк 1995: 24] и, соответственно, в ряде прибалтийско-финских славизмов как *-ii-* (см. ниже *siipata*).

<sup>12</sup> К славянским лексическим данным А.Е. Аникин указывает и балтийские параллели, например лит. *dūnda* “повеса, бездельник”, *dūnde* “толстозадая женщина; нахалка”, *dundūlis* “толстяк”.

чищать пашню (в диалектах финской Карелии и Саво); вырубать лес<sup>13</sup>, карел. *roatoa* ‘трудиться, работать, распахивать (поле)’, людик. *ruat(t)a* ‘работать; распахивать и засеять подсеку’, вепс. *rata* ‘работать’, ижор. *raataa* ‘работать, трудиться; расчищать (болота)’, эст. (сев.-вост. диалекты) *raadata* ‘расчищать лес (на пашне, поле)’; фин. диал. *raadós* ‘новина, расчищенная подсека’, *raade* ‘расчищенная подсека; тяжелая работа’, людик. *ruad* ‘физический труд’; фин. *raataja*, карел. *roatajo*, людик. *ruadai* ‘труженик, работник’ (прибалт.-фин. > саам. Инари, колт., кильд., терск. *räättid* ‘валить, рубить деревья’) [SKES: 708–709; SSA, 3: 35]. Авторы SKES, ссылаясь на значение глагола, заимствованного в саамский, полагают, что развитие его семантики выглядело так: “вырубать лес, расчищать подсеку – выполнять работу – делать, совершать”. К этому приводится текст старинной руны, записанной в Тохмоярви (юго-западная Карелия) “Ehittiir goatajoo / Roatajoo, koatajoo / Puun murhan musertajoo”, т.е. “Эхиттий ратай / Ратай – вырубаящий / Дерево уничтожающий (убивающий)”.

Еще Я. Калима сравнивал фин. *raataa* с русск. *страдать* “страдать”, диал. “работать” [Kalima 1952] (ср. лтш. *strādāt* “работать”). Эта версия была проигнорирована в SKES, но принята новым финским этимологическим словарем [SSA, 3: 35] с указанием на русск. *страдать* ‘страдать, что-либо плохо, трудно делать; выполнять тяжелую работу’, *страда* ‘тяжелый труд, (земледельческая) летняя работа, жатва, спешное рабочее время’. Добавим к этому и данные [НРЭ: 219–220]: *страда* ‘легкие работы земледельца, особенно уборка хлеба и покос’ (Даль), др.-русск. “тяжелая работа; тягота, страдание”; *страдать* “страдать, мучиться; работать”, диал. также ‘усиленно трудиться; жать и косить’ (Даль). В иных славянских языках только “страдать, терпеть, мучиться, нуждаться, бедствовать, голодать”. Представляется, что в качестве возможного источника заимствования может быть рассмотрено и ст.-слав. *орати*, др.-русск. *орать* “пахать”, *ратай* “земледелец, пахарь; труженик, рабочий”, *ратьва* “пахота” [СРЯ, 22: 114; CCC: 415, 579].

## 2. ПУТИ, МЕТОДЫ (РЕЗЕРВЫ ПОИСКА)

Здесь мы хотели бы обратить внимание на некоторые моменты, существенные при решении вопросов, обсуждающихся как выше (русские заимствования в финских языках), так и ниже (привлечение финских данных для решения задач собственно славянской лексикологии).

**2.1.** Ономастика (см. выше *ranta*, ниже – *salpa*, *siipata*). Этот резерв активно использовали О.Н. Трубачев, Е.А. Хелимский и ряд других исследователей (см. и программную работу [Никонов 1993])<sup>14</sup>. Однако при очевидной информативности и, можно сказать, неисчерпаемости данного источника, он, на наш взгляд, пока все же привлекается недостаточно активно. Конечно, потенциал топонимических данных неизбежно ограничен в семантическом отношении самой спецификой этого класса онимов. То же можно сказать о материале антропонимическом (и тесно связанным с ним ойконимическом). Но в совокупности эти два класса онимов покрывают значительные пласты лексики. Притом, в отличие от апеллятивной лексики, ономастика более устойчива во времени и дает нам подчас неоценимые свидетельства древнего языкового состояния и межъязыковых контактов.

**2.2.** Специфические особенности древних псковско-новгородских говоров; свидетельства берестяных грамот. Уже А.А. Шахматов [Шахматов 1915: 101–103, 329, 368]

<sup>13</sup> Мы опускаем здесь приводимое в SKES значение “рвать, разрывать, раздирать”, объясняемое глаголом *raadella*, который, по нашему мнению, находится в связи с *raato* “падаль, мертвечина, труп, убитое животное” и может восходить к др.-русск. *драти*.

<sup>14</sup> Так, на основании топонимических данных были реконструированы восточно-славянские диалектизмы \**обиток* “остров” и \**звозд* “лес” [Трубачев 1994; Шилов 2002в].

отметил специфически псковское развитие праславянского \**dl* > *gl* и заимствование эст. *vigl* ‘вилы’ конкретно из псковского \**vigлы* (при общерусск. *вилы*). Существенно и указание на то, что вепс. *migl*, эст. *migl, mogl, mügl* ‘щелочь’ заимствовано из псковско-новг. \**мыгло* при слав. \**mydlo*, русск. *мыло* (откуда фин., карел. *muila*) [Николаев, Хелимский 1990] (ошибочно об этом [SKES: 355; Koivulehto 1999: 323, примеч. 10]).

Учет отсутствия 2-й палатализации в древненовгородском диалекте (ярко представленного в текстах берестяных грамот) позволил возвести фин. *käävi, käämi*, эст. *kääv* ‘цевка, шпилька’ к др.-новг. \**кѣвь* (при др.-русск. \**цѣвь* > *цевка*) [Николаев, Хелимский 1990] (ср. также выше: *keppi*).

2.3. Расширение круга привлекаемой лексики как с финской, так и, особенно, со славянской стороны. Не гипнотизируя себя северно-русскими говорами, как основным (безусловно!), но не единственно возможным источником славизмов прибалтийско-финских и саамских диалектов, т.е. привлекая данные иных восточнославянских (и шире – славянских) диалектов, мы получаем огромный резерв этимологического поиска<sup>15</sup>. Напротив, игнорирование этих данных может привести к ошибочным заключениям, о чем свидетельствует нижеследующий пример из нашей собственной практики.

В свое время мы предположительно связали вепс. диал. *tippeita* ‘пятнать (при игре в пятнашки)’ [СВЯ: 570] с русск. диал. *тупать, тупнуть* ‘легонышко ударить, схватить, укусить, ущипнуть’, приведенном как олонекское, у В.И. Даля (М. Фасмер, воспроизведя материал Даля, пишет о русском слове: “вероятно, звукоподражание” [Фасмер, 4: 60]). При этом было указано на неясность направления возможного заимствования. С “финской стороны” были привлечены фин. *siipata*, карел. *šiiipata*, ливв. *šiiipaija* ‘слегка задеть, дотронуться, ударить; трогать, касаться, задевать’ (см. об этом слове ниже), родственным которым могло оказаться вепсское слово; с “русской” же – *щипать*. Олонекское *тупать* в таком варианте выглядит местной традицией артикуляции. Переход ударения на первый слог (*щипать* – *тупать*) можно при этом списать на воздействие прибалтийско-финского субстрата [Шилов 2003а].

Однако более внимательное рассмотрение вопроса показало, что олонекское *тупать* отнюдь не является изолированным в кругу славянских языков. Как продолжение основы \**tipati* с корневым вокализмом в степени продления редукции и семантикой ‘касаться, надавливая; ударять’ (откуда далее ‘ступать, топтать; хватать; медленно делать; щипать, кусать, клевать’), трактуются болг. диал. *тупам* ‘брыкать (о скоте); ударять; ступать, топтать’, серб.-хорв. *tipati* ‘достигать, дотрагиваться’, словен. *tipati* ‘ощупывать, осозать’, чеш. *tipati se s čim* ‘медлительно что-то делать’, русск. волг., вят. *тупать* ‘тихонько ударить; схватить; украсть; укусить, клянуть, щипнуть; идти тихонько, на цыпочках; красться’ и, наконец, олон. *тупаться* ‘играть в догонки’ [Варбот 1985: 29–31; 1988: 69]. Таким образом, олонекское слово географически оказывается на периферии ареала славянской лексемы, как бы на острие клина, сужающегося в северном направлении. При этом, его семантика тоже оказывается на периферии семантического поля слав. \**tipati*. Более того, к этому полю данная семантика (в изложении Ж.Ж. Варбот, т.е. без указания обязательного элемента игры – касания догоняющим догоняемого), казалось бы, и не примыкает. Но здесь помощь в решении вопроса как раз и приходит со стороны вепсского (Шимозеро) *tippeita* ‘пятнать (при

<sup>15</sup> В конце концов, исходно подавляющая часть лексики северных русских говоров являлась общей с восточнославянской и шире – с обще- и праславянской. Но часть ее (не отраженная, причем, дошедшими до нас документами) со временем могла быть утрачена, в частности – заменена новообразованиями и заимствованиями. Потому-то рассмотрение русско-финских лексических отношений потенциально (да и реально, см. примеры в данной статье) будет ущербно при ограничении лишь этими говорами (а с “финской” стороны, подчас, – при ограничении лишь прибалтийско-финскими языками).



игре в пятнашки), т.е. ‘легонько коснуться, шлепнуть’. Вепское слово явно заимствовано из северного русского диалекта и не связано с прибалт.-фин. *siipata*.

**2.4. Семантическая реконструкция.** В подавляющем большинстве случаев, если не во всех, семантика заимствованного слова и его этимона тождественна (в момент заимствования). Собственно говоря, эта тождественность является одним из критериев достоверности этимологического анализа заимствованной лексики (см., например [Хелимский 1995: 5–6]). Вместе с тем, представляется, что для достаточно ранних языковых контактов необходимо считаться с возможностью позднейшей (или предшествующей) семантической эволюции лексем как по ту, так и по другую сторону “точки заимствования”<sup>16</sup> – эволюции, процесс которой не всегда бывает отражен современными говорами или ранними письменными документами. Естественно, далеко не всякие виды семантического сдвига уместно рассматривать в подобных реконструкциях: это таит опасность безудержного, ничем не ограниченного произвола в этимологических построениях. Но и полный отказ от рассмотрения подобных дилем вряд ли оправдан. Ниже будут рассмотрены два случая: учет языковой универсалии, имеющей общий характер (*salpa*) и приведение семантики русской (славянской) и финской лексем в позицию нейтрализации (*sulikka*). Мы полагаем, что подобные штудии имеют определенную перспективу при строгом, критическом подходе к анализируемому материалу.

### 3. ЗНАЧЕНИЕ СЛАВИЗМОВ ФИНСКИХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ СОБСТВЕННО СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Обычно межъязыковые контакты изучаются с акцентом на их последствия для языка-реципиента; значение же соответствующих данных для истории языка-донора зачастую игнорируется. Вернее сказать, ценность соответствующих данных априори признается<sup>17</sup>, но это признание далеко не всегда воплощается в конкретные исследования. Приходится, к сожалению, констатировать, что данная ситуация имеет место и в области изучения славяно-финских лексических отношений: при несомненном понимании их важности для собственно славянской филологии, соответствующие изыскания воспринимаются, все же, в известной степени, как маргинальные.

Традиционно ранние славизмы финских языков привлекались как свидетельства фонетического строя древнерусского языка. Неоднократно отмечалось, что древнейшие славизмы прибалтийско-финских языков позволяют судить о наиболее архаичном состоянии некоторых славянских (новгородско-псковских) диалектов, имевшем место в VI–VII вв. (и, возможно, в течение еще нескольких столетий). Они свидетельствуют о сохранении общеславянского неполногласного вида групп \**TorT* и под. (фин. *palttina* < \**poltyno* > др.-русс. *полотьно*, фин. *varpu(nen)* < \**vorpii* > русск. *воробей*)<sup>18</sup>,

<sup>16</sup> Так, на основе анализа около 500 лексем неисконного происхождения в русских говорах Обонежья, С.А. Мызников указывает, что в ареалах, расположенных в непосредственной близости от прибалтийско-финского языкового континуума, семантика русского слова, имеющего соответствия в языках-источниках, тождественна или сходна с таковой для прибалтийско-финского этимона. При удалении от ядра распространения слова семантика его приобретает диффузный характер. Точное или близкое соответствие семантики наблюдается в 50% изученных случаев; сужение семантики – в 25%; семантический сдвиг ассоциативного типа – в 20%; расширение семантики – в 5% [Мызников 2003а: 418]. К развитию (сдвигу) семантики русских заимствований из прибалтийско-финских языков, происходящему в рамках языковых универсалий см. также [Сенкевич-Гудкова 1970; Теуш 2003].

<sup>17</sup> См., например, сборник “Славянские языки в зеркале неславянского окружения” (М., 1996).

<sup>18</sup> См., впрочем, и замечания А.М. Селищева по поводу подобных сопоставлений у Н.Н. Дурново и Л.А. Булаховского. По мнению Селищева, сочетания типа *al, ar, är* между согласными на финской почве могли возникнуть из славянских полногласных *olo, oro, ere*. Безударный гласный при переходе в другую фонетическую (языковую) систему мог подвергнуться редукции [Селищев 1968: 166–167, 191].

носовых (фин. *kuontalo* < \**kođěľь* > русск. *кудель*), произношении \**ъ* и \**ь* как кратких *и* и *і* и в сильной, и в слабой позициях (фин. *turku* < *търгъ*, фин. *akkuna* < *о́кно*, фин. *sirppi* < *сърпъ*, фин. *lusikka* < *лъжка*), а также долготной корреляции гласных [Mikkola 1938; Якубинский 1953: 127, 134, 139; Георгиев 1964]. В работе [Николаев, Хелимский 1990] показано, с привлечением данных [Зализняк 1995], что прибалтийско-финские славизмы могут служить дополнительным источником при решении вопроса о первичном соотношении *о*-основ и *и*-основ мужского рода в славянском.

Гораздо реже прибалтийско-финский (и саамский) материал привлекался для решения лексикологических задач славянского языкознания. В качестве одного из немногих исключений назовем крайне содержательную работу Я. Калимы [Kalima 1933]. Из ее результатов отметим наиболее интересные:

– С учетом характерных отглагольных образований на *-ба* (*гонять* – *гоньба*, *резать* – *резьба* и т.п.) на основании коми-зыр. *ströiba* и морд.-эрзян. *stroiba* “здание, строение” реконструируется русск. \**стройба* (от *строить*);

– На основании карел. *bordobit'ša* реконструируется русск. диал. \**бородовица* (ср. *бородавка*);

– Вепс. *oblesjan*, коми-зыр. *oblez'ana* документируют диалектное *облезьян(а)* при русск. литерат. *обезьяна* (в документах форма *облезьян(а)* зафиксирована в XVII в. – А.Ш.);

– Карел. диал. (Тулдозеро) *skamni* и горно-марийск. *skamña* “скамья” говорят о былом функционировании в русских диалектах этимологически правильного \**скамня* (из греч.), представленного ныне в этой форме лишь в украинском;

– В карел. *pait'šos* (ср. *пачесь*), фин. *päistar* (ср. *паздеръ*) необычна рефлексация постулируемого русск. *на-*. Вероятно, здесь (в соответствующих русских диалектах) и было не \**на-*, но \**най-*, ср. северн. диал. *байна* “баня” (и такие топонимы Карелии как *Байноболото*, *Байонный остров*, *Баенная Гора* [Шилов 2003б])<sup>19</sup>;

– В “Печорских былинах” Ончукова регулярно присутствует *jo-* вместо *о-* (*ёбенья* вм. *обедня*, *ёрда* вм. *орда*, *ёхвота* вм. *охота*, *ёчунь* вм. *очень*). Поэтому коми-зыр. *jokiš*, *jokuš* “окунь” позволительно возводить к русск. диал. \**ёкуишъ* (при *окуши*, *окушки* архангельских говоров у Подвысоцкого). Кстати, это предположение оказывается существенным и для финно-угристики, выводя коми-зырянское слово с аномальной формой из круга сопоставлений Т. Лехтисало: коми.-зыр. *jokiš* при удм. *juš*, хант. *iew*, *iaw*, *joh*, самод. *ñihe* (*ñ-* вторично) ‘окунь’ [Lehtisalo 1933: 235].

Как видно, работа Калимы затрагивает лишь некоторые вопросы севернорусской диалектологии. Однако (см. ниже *сосна*, *шуляк*) заинтересованная прибалтийско-финская (как и любая иная, контактирующая со славянской) лексика является огромным и в должной степени недооцененным (см. по этому поводу во многих публикациях А.Е. Аникина) до сего времени резервом для решения более широких проблем собственно русского и славянского языкознания. На этом фоне, кстати, выделяются работы Е.А. Хелимского по реконструкции или верификации фонетического облика и семантики ряда славянских лексем из данных венгерского языка [Хелимский 2000: 416–432, 452–455].

При этом, как представляется нам, показания многих финских (шире – финно-угорских) славизмов для русистики оказываются тем более информативными, чем на более широком славянском фоне они выявляются и рассматриваются.

<sup>19</sup> В связи с этим возникает вопрос: если в какой-то период на Русском Севере на месте русского *-а-* первого слога регулярно звучало [ай], не дает ли это возможность предложить русские этимологии некоторых финских слов? Так, фин. *hairpu* “редкорастущий (лес)”, *hairpia* “редеть, тощать, худеть”, эст. *hair* (genit. *haibu*) “незаросшее (слабозаросшее) место (в хлебах)” [SKES: 48] может быть сопоставлено со славянским \**xaba* “ущерб, вред” (в [ЭССЯ, 8: 7–9] дано с примерами, характеризующими объект номинации как слабый, убогий, старый); \**xabitii* ‘портить, вредить, губить, делать впустую’.

Обозначим лишь некоторые вопросы, решению которых может способствовать привлечение данных о славизмах финских (финно-угорских, уральских) языков.

**3.1. Изъятие фантомов, привлекаемых для славянских (праславянских) реконструкций.** Пренебрежение иноязычными, в нашем случае – финно-угорскими, данными может порождать фантомные этимологии или, в лучшем случае (слово “лучший” здесь следует брать в кавычки), вводить в круг славянских лексем лишь внешне родственный, но, по сути, инородный материал (см. к этому [Аникин 1995; 2000а]). Порой в круг слов, на основании которых строятся (или подкрепляются) праславянские реконструкции, неправомочно включаются заимствования из неславянских языков, в том числе – даже из фонда достаточно хорошо изученных пластов русской заимствованной лексики. Так, следует отвергнуть привлечение слова *тюлень* (с реконструкцией \**твелень*) в лексическое гнездо славянского глагола *тыти* (с производными *тул*, *тыл*, *тучный*, *тволага* и т.п.) [Трубачев 1994: 10–11], ибо оно является заимствованием из саамского<sup>20</sup>. Равным образом, из числа дериватов русск. *коса* “узкая песчаная отмель” необходимо исключить привлекавшиеся (на основании материалов СРНГ) северн. диал. *кóска* “вытянутая отмель, коса, островок”, *кóшка* “песчаная или каменистая отмель, песчаная коса на взморье” [Влаич-Попович 2003: 55], которые являются заимствованиями из финских языков (подробно о соответствующих северно-русских и финских данных см. [Мызников 2003а: 236–238; Шилов 2004]).

**3.2. Уточнение (обогащение) истории слова в русском языке.** Здесь чрезвычайно показательным и поучительным видится следующий пример. Задолго до находки новгородских берестяных грамот, содержащих слово *хамь* ‘полотно’ (№ 288, начало XIV в.) и уменьшительное к нему *хамець* (№ 644, начало XII в.) [Зализняк 1995], – в середине XIX в. – М.А. Кастреном у тазовских селькупов было записано слово *qam* ‘холст, полотно, платок’, явно заимствованное ими у новгородцев, проникших в Тазовскую губу Мангазейским морским ходом в XV–XVI вв. [Хелимский 2000]<sup>21</sup>. До этого факт существования данного слова (как полагают – германского происхождения, но, возможно, проникшего в древнерусский язык через финское посредство) в русском языке основывался исключительно на его дериватах *хамовник* ‘ткач’, *хамовный* ‘ткацкий, полотняный’, известных лишь с XVI в.

**3.3. Реконструкция элементов разрушенных лексических гнезд.** Хорошо известно явление разрушения лексических гнезд, под которым в данном случае мы подразумеваем утрату той или иной исконной лексемы конкретным языком или говором (группой говоров). Одним из источников реконструкции таких лексем, наряду с ономастикой и данными родственных языков, является лексика иноязычная. Пример такой реконструкции для слова \**kortama* ‘аренда’ вымершего языка Заволочской Чуди из данных русских диалектов представлен в [Шилов 2000] (там же указаны и иные подобные примеры). Реконструкция ряда исконных славянских лексем, утерянных севернорусскими говорами, на основании русизмов в коми языке произведена в [Аникин 2000а].

<sup>20</sup> Это слово входит в широкий круг заимствованных (из прибалтийско-финского и саамского) славянами названий северных рыб (*таймень*, *камбала*, *палтус*, *кумжа* и др.) и морских животных (*нерпа*, *морж*, *нюрлик* “вид тюленя”). М. Фасмер, ссылаясь на Й. Микколу и Я. Калима, указывает на заимствование русск. *тюлень* из саамского, приводя саам. вост. (очевидно кольское. – А.Ш.) *tul'l'a*, саам. норв. *dullja* “вид тюленя” [Фасмер 4: 135]. В словаре говоров кольских саамов Т. Итконена [KKLS] такого слова, однако, нет. Но его бывшее функционирование документируется названием протоки *Тюлле* (в басс. р. Ковда – на стыке Кольского п-ва с Карелией), близ которой лежит оз. *Нерпозеро* (напомним, что нерпа – самый распространенный на Русском Севере вид тюленя).

<sup>21</sup> Лишь в 1991 г. был введен в научный оборот сибирский документ 1747 г., содержащий *хам* ‘полотно’ [Аникин 2000б, s.v. *чумар*].

В рамках темы данной статьи чрезвычайно показательным нам видится следующий пример. “Прибалтийско-финское *kurkku* ‘горло’ (фин. *kurkku*, вепс., эст. *kurk*, ливск. *kurrk* и др.<sup>22</sup>) фонетически безупречно возводится к слав. \**kъrkъ* ‘шея, горло’, что делает излишними конкурирующие скандинавские и финно-угорские этимологии этого слова, см. [SKES]. Основным контраргументом для исследователей, не принимающих этой достаточно старой этимологии (Миккола, Калима, Плёгер), служит, очевидно, отсутствие предполагаемого славянского источника в русском языке. В южно- и западно-славянских языках слово, однако, хорошо известно (серб.-хорв. диал. *křk* ‘шея, горло, гортань’, чешск. *krk*, словин. *kark* ‘шея’ и др.<sup>23</sup>)” [Хелимский 2000: 349–350]. От себя отметим еще др.-русск. (1068 г.) *Кърчевъ* ‘Керчь’, что обоснованно выводится из \**kъrkъ* ‘горло (пролив)’ (А.И. Соболевский, О.Н. Трубачев), а также ст.-слав. *кръкнути* ‘издать звук, подать голос’ [ССС: 296], русск. диал. северн. *куркукнуть* ‘произвести какой-то звук, вскрикнуть’ [СРГК 3: 67].

Случаи, когда прибалтийско-финские данные позволяют судить о былом бытовании на Русском Севере общеславянской лексемы (не зафиксированной на данной территории современными словарями) потенциально многочисленны. Остановимся на одном из них.

Фин. *siipata*, карел. *šiiyata*, ливв. *šiiyaja* ‘слегка задеть, дотронуться, ударить; трогать, касаться, задевать’ в [SKES: 1016] дается без внешних сопоставлений. Нам же представляется перспективным сравнение<sup>24</sup> со слав. \**sěpati* ‘делать резкие, отрывистые движения’ > ‘трясти, дергать’, отразившимся в русск. диал. *сінать* ‘дергать’ (зап.), ‘тянуть рывками’ (дон.), *сенать* ‘клевать (о рыбе)’ (дон.), блр. *сэпаць* ‘дергать, тяжело дышать; говорить зло, кричать’, *сэпнуць* ‘ударить, дернуть, шмыгнуть’, укр. *сінати* ‘дергать’, польск. *siepać* ‘трясти’, н.-луж. *sepaś* ‘колотить, стучать, трепать, бить(ся)’, диал. (о птице) ‘клевать, хватать, щипать клювом’, словацк. диал. *sepkat* ‘трясти; держать; подскакивать’ болг. *сѣпамъ* ‘задержать, мешать, подставить ногу, осаживать, сдерживать’ [Куркина 1994].

Как видно, в северной части восточнославянского ареала рассматриваемая лекическая основа не зафиксирована. Косвенным свидетельством ее былого функционирования здесь могут рассматриваться антропонимы и ойконимы: *Сипяга Бодейн* в Торжке (начало XV в.) [Веселовский 1974], *Сипягин* в Галиче Мерьском (1677 г.), сельцо *Сипягино* на р. Польница к западу от Москвы (1694 г.) [Кусов 1993: №№ 279, 719]. Но еще более убедительным свидетельством в пользу былого функционирования слова в севернорусских говорах нам видятся именно приведенные выше финские данные. Отметим, что здесь мы имеем дело не со звукоподражательным (когда фонетическая близость разноязычных слов вполне возможна и даже ожидаема), а с экспрессивным глаголом.

**3.4. Этимология собственно славянских лексем.** Интересно, что подчас прибалтийско-финская лексика оказывается показательной для решения диллем славянской этимологии безотносительно к вопросу о характере связи финских и славянских лексем. Проиллюстрируем это положение двумя примерами.

[НРЭ: 161–163] дает русск. *пéнтьох* ‘желудок, живот, брюхо; ягодицы, зад; обжора, лентяй’ и др.; *пендю́рить* ‘есть; делать плохо, кое-как’, *пендерить* ‘сжимая, колота и т. п., измельчать, раздроблять’, признавая правдоподобной связь с *пнутти*, *пнать* (\**р̃п̃nati*, \**р̃ẽti*). Вместе с тем, приводятся и другие версии, как признание того, что вопрос, все-таки, не решен. Мы полагаем, что для этимологии русского слова небезын-

<sup>22</sup> При исконном (общеуральском) *nielu* ‘горло, глотка’. – А.Ш.

<sup>23</sup> Приводя под вопросом славянскую версию [SKES: 245], дает еще др.-болг. *кръкъ*, польск. *kark*. – А.Ш.

<sup>24</sup> Возможно, сюда же следует привлечь и фин. *sipaista*, *sivaista*, карел. *sibašša* ‘легко задеть, дотронуться, ударить’ [SKES: 1053].

тересен (как бы ни интерпретировать его происхождение, см. ниже) следующий финский материал: фин. *päntätä* ‘колотить, рубить, крепко бить; жать, давить; набивать, наполнять (напр., живот – пищей, питьем)’ диал. *pentata* ‘расходовать, растрачивать добро’, в юго-вост. финских говорах ‘крошить, измельчать, топтать’, ливв. *päntätä* ‘есть до отвала’. Как минимум, часть этого материала сопоставляется со швед. *bända*, имеющего, в числе прочих, значения ‘напрягать изо всех сил; жать, давить; жадно есть или пить (в выражении *bända i sig*)’ [SKES: 684]. Как видно, указанным финским и шведским лексемам свойственно сочетание значений “бить, жать, давить и т.п.”, с одной стороны, и “наесться, набивать брюхо, жадно есть” – с другой. А это (вне зависимости от того, каким окажется их отношение к русск. *пентюх*, *пендюрить*, *пендерить*) свидетельствует в пользу вышеуказанной версии происхождения русского слова.

Другой пример: русск. *серпянка*, *серпьян* ‘редкая льняная ткань’, укр. *серпанок* ‘кисея; головной убор женщин’, польск. *sierpanka* ‘тонкая ткань, покрывало’ обычно производятся из перс.-турецк. *särpänäk* ‘женский головной убор’ при перс. *sär* ‘голова’ [Фасмер, 3: 610]. Но эти сопоставления представляются неполными: ср. фин. *särppi* ‘(тканый, длинный) шейный платок; богатый (шелковый или вышитый) пояс’, *serppi* ‘широкий пояс невесты; шейный платок, косынка’, что выводят из швед. *skärp* ‘пояс, ремень, бретелька, лямка’ [SKES: 1172]. Данный пример заставляет задуматься об истинном происхождении русского слова – не есть ли это “блуждающий культурный термин”. Во всяком случае, прямолинейное решение о восточном источнике заимствования представляется уже не столь очевидным (могло ли подобное заимствование далее проникнуть через русский в финский, а затем – в шведский, или это независимые заимствования раннего периода на “Великом шелковом пути”?).

3.5. В данном разделе мы рассматриваем ряд случаев, когда потенциальные, “неочевидные” с семантической точки зрения, заимствования из русского (славянского) в финские языки могут быть привлечены для решения тех или иных проблем славянского языкознания.

3.5.1. Финское *salpa*. Данная лексическая основа представлена только в северной группе прибалтийско-финских языков: фин. *salpa* (зафиксировано с середины XVI в.), карел. *šalpa*, *šalba*, ливв. *salbu*, людик. *salb*, *salv*, вепс. *saub*, *soub* “запор, засов, задвижка, замок” (в вепсском еще: “крышка колодца, ставня, заслонка”) (но фин. *panna salpa* ‘преградить дорогу чему-либо’); фин. *salvata*, карел. *šalvata*, людик. *salbata*, вепс. *saubata* “запирать, закрывать, загораживать, преграждать” (в вепсском еще: “запрудить воду”); фин. *salpaus* “запирание (на засов)”, карел. *šalpaus* “рыболовный закол, запруда в реке или заливе; узость меж двух озер”, людик. *salbado* “запруда, плотина” [SKES: 956–957]. Как видно, здесь реализуется как узкое понятие запора, засова, так и более широкое – преграды *par exelence*.

Словарь SKES дает для *salpa* лишь прибалтийско-финский материал<sup>25</sup>. Однако в [SSA, 3: 149] уже приводится этимология Й. Койвулехто [Koivulehto 1981: 164–165]: фин. *salpa* < прагерм. \**stalpa(n)*-; ср. др.-норв. личное имя *Stalpi*, швед. диал. *stalbe* ‘столб’ (при швед., норв. *stolpe* > фин. *tolppa* ‘столб’. – А.Ш.). Эта этимология сомнительна как по фонетическим, так и по семантическим соображениям<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Из прибалтийско-финского заимствовано саам. (норв. диал., Инари, колт., кильд.) *salpe* “запор, засов”, *sälbidid* “закрывать двери, запирать”.

<sup>26</sup> О семантической эквилибристике Й. Койвулехто (при аргументации его, мягко говоря, нетривиальных этимологий финно-угорских слов из германских и индоевропейских источников), см. аргументированную критику Е.А. Хелимского [Хелимский 1995].

Относительно фонетики: рефлексация прагерманского (и прабалтского) \**stV*- как прафинское \**sV*- (наряду с рефлексацией прагерм. \**sV*- как прафинск. *šV*-) является *nou-hau* Й. Койвулехто, изобретенном уже в ранний период его “германского наступления” на финно-угристику [Koivulehto 1976: 248]. Соответствующие доказательства основаны исключительно на этимологиях самого Койвулехто [Koivulehto 1999: 8, 14, 155, 156], не верифицируясь классическими

Зато, с учетом семантической универсалии: “дверной порог” ← “препятствие, перелом, перебой (для движения)” → “речной порог”, интерес для этимологии прибалтийско-финского слова<sup>27</sup> представляют славянские данные. Значение “волна, водоворот, водопад, порог” присуще серб.-хорв. *slap*, макед., болг. *слан*, словен. *slâp*, чеш. *slap*, ц.-слав. *сланъ*, возводимым к глагольной основе со значением “прыгать”<sup>28</sup> (ср. типологический фин. *hurruus* “небольшой водопад” при *hurru* ‘прыжок’, *hurpiä* ‘прыгать’ [Шилов 2004]; слав. \*скокъ “водопад, порог” (также “мельничный желоб”) [Иллич-Свитыч 1960: 228], уральск. *скок* “речной перекат” [СРНГ 38: 52] при *скакатъ*; русск. диал. (сиб.) *прядун* “водопад” при *прядать* “прыгать” [Мурзаев 1999, s.v. *прядун*]).

На восточно-славянской территории обнаруживается лишь укр. диал. полесск. *совна* ‘быстрое течение воды (на камнях или какой-либо другой преграде)’ [Никончук 1986: 170] и топонимы *Солна* (пороги на реках Мста и Великая), *Солоповка* (р. басс. Исети), *Сульпа*, ранее *Солпа* (пр. Лозьвы), *Соплеск* < \**Солпеск* (пр. Печоры), *Солопов верх* (басс. Зуши – пр. Оки), *Салоповка* (пр. Тарусы, притока Оки) [Шустер-Шевц 2000; Матвеев 2000; Афанасьев 1996; Смолицкая 1976], свидетельствующие о былом функционировании здесь апеллятива \**солпа* в качестве местного географического термина.

Итак, со “славянской стороны” мы не видим значения “порог дверной, запор”, но такие примеры, как ц.-слав. (*въ*)*сланими* “удерживать, укрощать”, укр. *совн*, серб.-

примерами германских и балтских заимствований в прибалтийско-финском (ср. фин. *tuudi* < др.-швед. *stup* [SKES]). Да и сам Койвулехто, например, выводит фин. *tarpoa*, саам. *duorbot* ‘торгать, вспугивать рыбу (загоняя ее в сеть) с помощью шеста’ из др.-герм. \**staur-*, отразившегося по его мнению, с одной стороны, в нем. *stören* ‘мешать, беспокоить’, с другой – в др.-исл. *staurr* ‘шест’ [Koivulehto 1999: 130]. Примеры Койвулехто таковы:

– прибалт.-фин. *syрjä* (с волжскими соотвествиями; см. в [SKES] и *siiri*) ‘край (земли, поселения, территории), окраина’ < прабалт. \**sturja-* (> лит. диал. *stüris* ‘угол; ребро, край, кайма’, лтш. *sturis* ‘угол; крайняя часть; расстояние; местность’;

– фин. *sara* ‘осока, Carex’ (SKES дает только прибалт.-фин. материал) < прагерм. \**starra* (швед. *starr*);

– фин. *suota* ‘стадо лошадей, оленей’ (SKES дает первичную семантику “течка”) < герм. \**stōða* < \**stādho-* [ср. русск. стадо. – А.Ш.] при нем. *Stute* ‘кобыла’;

– прибалт.-фин. *sortaa* “рубить (лес)” < прагерм. \**sturt* + *ja* (> ср.-нем. *stürzen* “опрокидывать, падать”);

– прибалт.-фин. *suuri* “большой” < герм. \**stura-* (= др.-инд. *sthura-* “крупный, толстый, густой, большой”) > в.-нем. *stur*, н.-нем. (бременское) *stuur* “сильный, толстый, большой”. При этом Койвулехто не привлекает швед. *stor* “большой” (откуда саам. *stuora* “то же”), возводя его к герм. \**stora-* (соответствующего иран. \**šura-*). Ср. с постулируемой вокалической рефлексацией в предыдущем случае. Отметим, что прибалтийско-финское слово имеет волжские параллели со значением “крупа, хлебное зерно”, что типологически оправданно, см. примеры, даваемые в [SKES, s.v. *suurimo*]), а также слав. \**obvilje* “урожай зерна; богатство; множество”.

Единственный “классический” пример, привлекаемый Й. Койвулехто – это прибалт.-фин. *seiväs* “шест, кол” (при эст. *teivas*, *tevas*, *teib*, ливск. *taibaz*, *taib*) < балт., ср. лит. *stiebas*, *staiбis*, лтш. *stiba* “то же” [SKES]. Но этот пример никак не может подкреплять вышеуказанную идею Койвулехто. Балтское \**sti(e)b-* закономерно давало др.-фин. \**tiep-*, что, по известному в др.-фин. переходу *ti* > *si*, и привело, в конечном итоге, к нынешним фин. *seiväs*, *seipa*, карел. *šeiväš*, *šeibäš*, вепс. *seibaz*, *siibaz*, эст. диал. *saives*, *saiбas*.

<sup>27</sup> Согласно данным автора [Шилов 2004], в прибалтийско-финской и саамской лексике (и топонимии) универсалия “дверной порог” ← “порог как препятствие, перелом, перебой (для движения)” → “речной порог” не реализуется, в отличие, скажем, от славянской и балтской (ср. русск. *порог*, лит. *slėnkstis*, лтш. *slieksnis* “дверной порог; речной порог” [Невская 1972: 363]). Прибалт.-фин. *kunnys* имеет лишь значение “дверной порог”; вепс. диал. *narvaine* “дверной порог” к объяснению названия р. Нарва (имея в виду ее 7-метровый водопад) привлекалось необоснованно [Шилов 1999: 68]. Но это не значит, что данная универсалия априори чужда сознанию прибалтийских финнов, см. далее.

<sup>28</sup> Подробно о семантике и этимологии славянской лексической основы см. [Иллич-Свитыч 1960; Трубачев 1963: 177; Аникин 1985; Шустер-Шевц 2000].

хорв. *zûp* “устройство, род запруды для ловли рыбы” [Аникин 1985] все же свидетельствуют об эволюции семантики славянской лексической основы в сторону значения “препятствие для движения”<sup>29</sup>. С “финской стороны”, в свою очередь, для слова *salpa* не отмечено значения “речной порог” (как нет в Финляндии и Карелии, по имеющимся у нас данным, и соответствующих названий порогов), хотя есть значение “запруда на реке”.

Однако четкое фонетическое соответствие между славянскими и финскими лексемами и их семантика, позволяющая возвести обе их группы (в позиции семантической нейтрализации) к общему понятию преграды, показывают, что здесь, скорее, имеет место не случайное совпадение, но заимствование. Вместе с тем, имеющиеся данные недостаточны для того, чтобы определенно говорить об обстоятельствах предполагаемого нами процесса заимствования (с точки зрения его времени, места и конкретного значения заимствуемой лексемы). Можно лишь предположить, что заимствование осуществилось в соответствии со схемой: вост.-слав. *\*solp-/ \*szlp-* “порог” → “препятствие (запруда)” > фин. *salpa-* “препятствие (запруда)” → “засов, задвижка”. Таким образом, мы имеем дело не с бифуркацией значения “преграда”, а последовательным развитием семантики (с “перешагиванием” языковой границы, момент такового перешагивания уловить трудно): “порог речной” – “преграда” – “порог (запор) дверной”.

В качестве примера обратного семантического развития при заимствовании – примера, в какой-то мере оправдывающего реальность нашего семантического построения, – приведем следующий. Согласно [SKES: 296], из герм. *klinke* (ср.-н.-нем., дат. *klinke*, швед. *klinka*) “дверной засов, щеколда” были заимствованы эст. *link, klink*, саам. (норв.) *kliŋ'ka, liŋ'ka* и фин. *klinkku, linkku* “дверная щеколда, засов”<sup>30</sup>. Мы полагаем, что фин. *linkku* “засов, запор” послужило метафорическим истоком фин. диал. *linkka* “обрыв, высокий водопад”<sup>31</sup>.

**3.5.2.** Финское *suosto*, саамское *suosto, šošna*. Согласно [SKES: 1120], фин. *suosto, suostu, suosku, suisto*<sup>32</sup> ‘стоймя засохшая сосна; большая полусухая сосна, еще имеющая кору внизу’, *suostua, suostuda* ‘превращаться в “suosto” (о сосне); становится перезрелым (о дереве)’ происходят из саамского источника. Ср. саам. швед. *suosto, Умео suastot* “полусухая сосна”, норв. *suosto* “сгнившая сердцевина древесного ствола”, *suostot* “гнить (о дереве)”. Наше внимание привлекли формы слова в центральных и восточных саамских диалектах: Луле *suosno* “внутренняя гниль (в дереве)”, *suosnot* “гнить (о дереве)”, норв. диал. *suosnie*, Инари *žušna* “большая полусухая сосна”, колт., нотоз. *šošna*, кильд. *šošN* “suosto”, на которой еще держится кора’.

Насколько мы знаем, эти данные не сопоставлялись со славянским *сосна*. Между тем, такое сопоставление напрашивается (ввиду явной фонетической и семантической близости терминов), представляя интерес для этимологии самого славянского слова. Как известно, для слав. *сосна* предложены две основные этимологии. Первая связывает название дерева с цветом его коры, ср. и.-е. *\*kasnos* “серый”, др.-прусск. *sasins* “за-

<sup>29</sup> Не вполне ясным для автора остается отношение (в семантическом плане) к рассматриваемому славянскому слову лит. *salpà* ‘остров на реке или озере; пространство земли, не затопляемое во время наводнения; затопляемый во время наводнения луг; небольшая бухта, залив’, *sat pas* ‘залив, высыхающий летом рукав реки’ [Невская 1972: 360] при н.-луж. *st op* (< *\*solpъ*) ‘затопляемая при таянии снегов, долгое время находящаяся под водой, преимущественно глиняная почва, затвердевающая при отходе воды’.

<sup>30</sup> Кстати, мы не исключаем родство германского (кентумного) *klinke* “засов, щеколда” с литовским (сатэмным) *slenkstis* “дверной порог; речной порог”.

<sup>31</sup> Это слово не встретилось в доступных нам словарях, но привлекается для объяснения ряда названий порогов на реках северо-востока Швеции: *Jokinlinkka, Mestoslinkka, Linkka* и др. [Swedell 2001]. В [KKLS: 408, 412] через определение “linkka” объясняются саамские термины *pussi* и *puolbpe* “небольшой водопад”.

<sup>32</sup> Можно допустить и существование соответствующего карел. *\*šuošto*, ср. название р. *Шошма* в басс. Водлы.

ящ”. Вторая указывает, что *сосна* (< \**sopsna*) это не просто дерево *Pinus silvestris* (для обозначения которого у славян имелись термины *хвоя*, *бор*), но дерево с дуплом – естественным или выдолбленным под борт, что позволяет связывать *сосна* с *сопло*, *сопети* [Фасмер, 3: 727, дополнение О.Н. Трубачева; Толстой 1978]. Подчеркнем, что саамско-финские термины обозначают не сосну как таковую<sup>33</sup>, но сосну с определенными дефектами – усыхающую<sup>34</sup>, с облетающей корой, либо со сгнившей сердцевинной (притом, что дупло, как вместилище именно для пчелиного роя, для Крайнего Севера было, конечно, неактуально – еще Иордан в VI в. отмечал отсутствие на Европейском Севере “медоносного роя”). Тем самым, как нам кажется, финский и саамский материал свидетельствует в пользу второй этимологии, указывая на первичную семантику (resp. этимологию) славянского слова – “дефектное (дырявое) дерево (сосна)”.

Совершенно неясными, к сожалению, пока остаются время и пути (место) проникновения славянского слова в саамский язык. Имеющиеся у нас предположения на этот счет носят умозрительный характер.

**3.5.3. Финское *sulikka*.** В единой статье [SKES: 1101] дает фин. *sulikka* ‘недоросшая щука, весьма маленькая щука; низкорослый лес, малорослое дерево; шустрый, проворный ребенок’, *sulikko*, *haukisulikko* (при *hauki* “щука”) “маленькая щука”, карел. *šul’ikka*, *šul’ikkan’i* “маленькая тощая щука”, трактуя их как дескриптивные слова. Вычленив общий признак для всех приведенных значений, получаем итог: “нечто недозрелое, неполноценное (против ожидаемого); отчасти вредное”.

С учетом этого, заслуживают внимания следующие славянские данные [Даль; Толстой 1971; Осипова 1994; Аникин 2000б: 700]<sup>35</sup>:

- Укр. *шуляк*, *шулик* “капуста, не выросшая в кочан”, *шуляк*, *шульок*, *шулька* “початок кукурузы”; блр. диал. *шуляк*, *шулекь* “пустой кочан капусты”; слвц. *šulek* “кукурузный початок, очищенный от зерна”; чеш. *šulistka* “засохший фрукт”; серб.-хорв. *šulac* “вид капусты”, *šulak* “пустой желудь, лесной орех без ядра; засохший плод”.
- Русск. *шуляк*, *шулик*, укр. *шуляк*, *шулика* “коршун, ястреб” (как птица, ворующая цыплят).
- Русск. диал. (олон.) *шулуган* “шалун, повеса”, полесск. *шуляк* “сорвиголова (о мальчике)”; болг. диал. *шулек* “незаконнорожденный ребенок”, *шул’ко* “еще не крещеный мальчик”.

Здесь мы, опять-таки, видим близко звучащие слова с различным конкретным значением, имеющим, однако, общий семантический оттенок: “нечто (некто) несовершенное, недоделанное, дефектное, неполноценное; вредное”. Похоже, что именно на этом основании могут быть сопоставлены славянские и финские лексемы (с фонетической стороны сопоставление проблем не вызывает). Если здесь мы имеем нечто большее чем случайное совпадение, финские данные оказываются ценными для истолкования данных славянских.

<sup>33</sup> Для обозначения различных видов сосен (по степени зрелости, качеству древесины и т.д.) как у прибалтийских финнов, так и у саамов имеется большое количество исконных терминов, см., например, фин. *mänty*, *petäjä*, *honka*, *nika*, *lylys*, *kelo* и т.д.

<sup>34</sup> Здесь, в силу вокализма и морфологии саамских слов, вряд ли может быть оправданным привлечение русск. *сушняк*, в отличие от случая венг. диал. *susnya* “хворост, валежник; боковой побег” – вторичного образования от *susnyak*, переосмысленного как форма мн. числа, и непосредственно восходящего к слав. \**sušъnjакъ* (русс. *сушняк*) [Хелимский 1990: 79]. Кроме того, для сухой сосны как таковой у саамов имелся исконный термин “*soarve*”, обильно представленный в топонимии Кольского п-ва, Карелии и Русского Севера.

<sup>35</sup> Мы пока оставляем в стороне еще одну группу северно-русских слов темного происхождения: *шуликун*, *шуликон*, *шиликун*, *шулюкан* “нечистый дух, черт, злой домовый; ряженный на святках”, *шуляпый черт* – слово, которым ругают барана, а также русск. *жулик* (у Даля, Преображенского, Фасмера – “воришка, ученик преступника”; в северных говорах – о непослушном, избалованном ребенке).



М.А. Осипова, ограничиваясь рассмотрением указанных фитонимических терминов (т.е. не признавая их связи с *шуляк* ‘коршун’ и игнорируя “ребячы” слова) возводит их, с привлечением данных славянских, балтских и германских языков, к слав. \**šul-* ‘палка > стебель (с утолщением) > утолщение (нечто округлое)’. Н.И. Толстой же объединяет лексемы всех вышеуказанных групп, сопоставляя их с *шульга* ‘левша, левая рука’ с семантическим развитием из исходного “плохой, дурной (несовершенный)”. Нам представляется, что финские данные (если их рассматривать как заимствование из русского) свидетельствуют в пользу гипотезы Н.И. Толстого.

Мы надеемся, что приведенный выше материал, будучи далеко не бесспорным в ряде случаев, может, тем не менее, способствовать активизации внимания специалистов по русской лексикологии к русским заимствованиям в неславянских языках, исторически контактировавших с русским языком, в первую очередь – финно-угорских и тюркских. Последний аспект вопроса нами вовсе не был затронут, но совершенно очевидно, что обращение к данным тюркских языков Поволжья и Сибири будет не менее плодотворно для русской лексикологии, нежели наше, заведомо ограниченное, исследование по русско-финскому лексическому взаимодействию.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аникин 1985 – А.Е. Аникин. К семантическому анализу некоторых славянских слов // Этимология 1982. М., 1985.
- Аникин 1995 – А.Е. Аникин. Несколько оговорок к русским данным в праславянских реконструкциях // Этноязыковая и этнокультурная история Восточной Европы. М., 1995.
- Аникин 1998 – А.Е. Аникин. К балтийским параллелям славянских лексем // Балто-славянские исследования 1997. М., 1998.
- Аникин 2000а – А.Е. Аникин. Славянская лексика на неславянском фоне. Этимологические заметки (1–7) // Этимология 1997–1999. М., 2000.
- Аникин 2000б – А.Е. Аникин. Этимологический словарь заимствований в русских диалектах Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазитских языков. Москва; Новосибирск, 2000.
- Аникин 2003 – А.Е. Аникин. Словарь Фасмера и современная этимологическая лексикография (об одном неосуществленном замысле О.Н. Трубачева). Доклад к XIII Международному съезду славистов. Новосибирск, 2003.
- Афанасьев 1996 – А.П. Афанасьев. Топонимия Республики Коми. Сыктывкар, 1996.
- Башенькин 1999 – А.Н. Башенькин. Финно-угры и славяне на Кобоже и Чагодоце // Чагода: историко-краеведческий альманах. Вологда, 1999.
- Беднарчук 1997 – Л. Беднарчук. Конвергенция балто-славянских и финно-угорских языков в структурном и ареальном аспекте // Балто-славянские исследования 1988–1996. М., 1997.
- Варбот 1985 – Ж.Ж. Варбот. К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. XI // Этимология 1982. М., 1985.
- Варбот 1988 – Ж.Ж. Варбот. О семантике и этимологии звукоподражательных глаголов в праславянском языке // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. М., 1988.
- Вендина 1998 – Т.И. Вендина. Общеславянский лингвистический атлас и лингвистическая география // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998.
- Веселовский 1974 – С.Б. Веселовский. Ономастикон. М., 1974.
- Веске 1890 – М.П. Веске. Славяно-финские культурные отношения по данным языка // Изв. Общества археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те. Т. 8. Вып. 1. Казань, 1890.
- Влаич-Попович 2003 – Я. Влаич-Попович. К реконструкции третьего праславянского омонима \**kosa* ‘aggregatio erosionis fluminis; promontorium’ // Этимология 2000–2002. М., 2003.
- Георгиев 1964 – В.И. Георгиев. Значение некоторых заимствований в финском языке для праславянской фонемной системы // *Lingua viget. Commentationes Slavicae in honorem V. Kiparsky.* Helsinki, 1964.
- Даль – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1955.

- Зализняк 1995 – А.А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Иллич-Свитыч 1960 – В.М. Иллич-Свитыч. Лексический комментарий к карпатской миграции славян // ИАН ОЛЯ. 1960. № 3.
- Кипарский 1958 – В. Кипарский. О хронологии славяно-финских лексических отношений // Scando-Slavica. № 4. 1958.
- Козлова 1994 – Р.М. Козлова. Большие Долды, Малые Долды и родственные названия (этимологический комментарий) // Материалы для изучения сельских поселений России. Ч. 1: Язык. Культура. М., 1994.
- Куркина 1994 – Л.В. Куркина. Славянские этимологии (ю.-слав. \**trapъ*, слав. \**sěpati*, \**pelestь*) // Этимология 1991–1993. М., 1994.
- Кусов 1993 – С.В. Кусов. Чертежи Земли Русской: Каталог-справочник. М., 1993.
- Ларин 1977 – Б.А. Ларин. История русского языка и общее языкознание. М., 1977.
- Матвеев 2000 – А.К. Матвеев. Географические названия Свердловской области. Екатеринбург, 2000.
- Матвеев 2001 – А.К. Матвеев. Мерянская проблема и лингвистическое картографирование // ВЯ. 2001. № 5.
- Матвеев 2003 – А.К. Матвеев. К этимологии субстратных топонимов с основами Тамб- и Там- // ВЯ. 2003. № 1.
- Муллонен 1994 – И.И. Муллонен. Очерки вепсской топонимии. СПб., 1994.
- Мурзаев 1999 – Э.М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов. Т. 1, 2. М., 1999.
- Мызников 2003а – С.А. Мызников. Русские говоры Обонежья: ареально-этимологическое исследование лексики прибалтийско-финского происхождения. СПб., 2003.
- Мызников 2003б – С.А. Мызников. Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада. СПб., 2003.
- Невская 1972 – Л.Г. Невская. Словарь балтийских географических апеллятивов // Балто-славянский сборник. М., 1972.
- Николаев, Хелимский 1990 – С.Л. Николаев, Е.А. Хелимский. Славянские (новгородско-псковские) заимствования в прибалтийско-финских языках: -а и -и в рефлексах имен мужского рода // Uralo-Indogermanica. V. I. М., 1990.
- Никонов 1993 – В.А. Никонов. Драгоценные свидетели // Этимология 1988–1990. М., 1993.
- Никончук 1986 – Н.В. Никончук. Эндемическая лексика Полесья // Этимология 1984. М., 1986.
- НПК – Новгородские писцовые книги. Т. I–VI и указатель. СПб.; Пг., 1859–1915.
- НРЭ – Новое в русской этимологии. Т. I. М., 2003.
- Осипова 1994 – М.А. Осипова. Укр. *шуляк* ‘капуста, не выросшая в кочан; початок кукурузы’ и др. < слав. \**šul-* // Этимология 1991–1993. М., 1994.
- Попов 1972 – А.И. Попов. Русские народные говоры и влияние иноязычных соседей (этимологические этюды) // Вопросы изучения лексики русских народных говоров. Л., 1972.
- Рут 1984 – М.Э. Рут. К проблеме разграничения субстратной и заимствованной лексики финно-угорского происхождения на территории Русского Севера // Этимологические исследования. Свердловск, 1984.
- СВЯ – М.И. Зайцева, М.И. Муллонен. Словарь вепсского языка. Л., 1972.
- Седов 1989 – В.В. Седов. Начало славянского освоения территории Новгородской земли // История и культура древнерусского города. М., 1989.
- Селищев 1968 – А.М. Селищев. Избранные труды. М., 1968.
- Сенкевич-Гудкова 1970 – В.В. Сенкевич-Гудкова. Семантическая структура переносных значений в русских говорах Карелии // Вопросы изучения севернорусских говоров и памятников письменности. Череповец, 1970.
- СКЯ – Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А.В. Пунжина. Петрозаводск, 1994.
- Смолицкая 1976 – Г.П. Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976.
- СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1 – СПб., 1994. –
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1 – . М.; Л., 1965–.
- СРЯ – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–. М., 1975–.
- ССС – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. Изд. 2-е. М., 1999.
- Теуш 2003 – О.А. Теуш. Этимологизация финно-угорских заимствований в русском языке и семантический анализ // ВЯ. 2003. № 1.
- Ткаченко 1990 – О.Б. Ткаченко. К этнокультурному аспекту древнейших финноугорских славизмов // Uralo-Indogermanica. V. I. М., 1990.

- Толстой 1971 – *Н.И. Толстой*. Из великорусской диалектной семантики // Проблемы истории и диалектологии славянских языков. М., 1971.
- Толстой 1978 – *Н.И. Толстой*. О славянских названиях деревьев: сосна-хвоя-бор // Восточно-славянское и общее языкознание. М., 1978.
- Топоров 1995 – *В.Н. Топоров*. О балто-славянской диалектологии (несколько соображений) // *Dialectologia slavica*. Сборник к 85-летию С.Б. Бернштейна. М., 1995.
- Трубачев 1963 – *О.Н. Трубачев*. О составе праславянского словаря (проблемы и задачи) // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963.
- Трубачев 1994 – *О.Н. Трубачев*. Праславянское лексическое наследие и древнерусская лексика дописьменного периода // *Этимология* 1991–1993. М., 1994.
- Фасмер – *М. Фасмер*. *Этимологический словарь русского языка*. Т. 1–4. М., 1964–1973.
- Хакулинен 1953 – *Л. Хакулинен*. Развитие и структура финского языка. Ч. 1: Фонетика и морфология. М., 1953.
- Хелимский 1990 – *Е.А. Хелимский*. К корпусу ранних славянских заимствований венгерского языка // *Uralo-Indogermanica*. V. I. М., 1990.
- Хелимский 1995 – *Е.А. Хелимский*. Сверхдревние германизмы в прибалтийско-финских и других финно-угорских языках // *Этноязыковая и этнокультурная история Восточной Европы*. М., 1995.
- Хелимский 2000 – *Е.А. Хелимский*. *Компаративистика. Уралистика. Лекции и статьи*. М., 2000.
- Шахматов 1915 – *А.А. Шахматов*. *Очерк древнейшего периода истории русского языка*. Пг., 1915.
- Шилов 1996 – *А.Л. Шилов*. Чуждые мотивы в древнерусской топонимии. М., 1996.
- Шилов 1999 – *А.Л. Шилов*. Заметки по исторической топонимике Русского Севера. М., 1999.
- Шилов 2000 – *А.Л. Шилов*. Русское диалектное кортома // *Слова, слова, слова*. К 65-летию И.Г. Добродомова. Смоленск; Москва, 2000.
- Шилов 2002а – *А.Л. Шилов*. Размышления над статьей Й. Койвулеhto о прибалтийско-финских этнонимах // *Финно-угорское наследие в русском языке*. Вып. 2. Екатеринбург, 2002.
- Шилов 2002б – *А.Л. Шилов*. Из наблюдений над берестяными грамотами // *Финно-угорское наследие в русском языке*. Вып. 2. Екатеринбург, 2002.
- Шилов 2002в – *А.Л. Шилов*. Битца и Гвоздянка // *Русская речь*. 2002. № 6.
- Шилов 2003а – *А.Л. Шилов*. Некоторые вопросы интерпретации северно-русских диалектизмов // *Диалектная лексика*. Вып. 8. Екатеринбург, 2003.
- Шилов 2003б – *А.Л. Шилов*. Опыт историко-этимологического словаря топонимов Карелии (буква Б) // *Диалектная лексика*. Вып. 8. Екатеринбург, 2003.
- Шилов 2004 – *А.Л. Шилов*. Номенклатурные термины в названиях порогов Карелии // *Ономастика*. Екатеринбург, 2004. № 1.
- Шустер-Шевц 2000 – *Х. Шустер-Шевц*. К аблаутным отношениям в.-луж. *slonco* ‘солнце’ и н.-луж. *st ūńco* / диал. *st ūńco* “то же”, а также в.-луж. *pł okać* ‘стирать (бельё)’ и н.-луж. *pal-kas*, диал. *poł kaś / peł kaś* “то же” // *Этимология* 1997–1999. М., 2000.
- ЭССЯ – *Этимологический словарь славянских языков*. *Праславянский лексический фонд*. Вып. 1–. М., 1974–.
- Якубинский 1926 – *Л.П. Якубинский*. Несколько замечаний о словарном заимствовании // *Язык и литература*. Т. 1. Вып. 1–2. М., 1926.
- Якубинский 1953 – *Л.П. Якубинский*. *История древнерусского языка*. М., 1953.
- Яшкин 1974 – *И.Я. Яшкин*. *Топографическая и гидрологическая лексика Белоруссии и западной части РСФСР* // *Вопросы географии*. Вып. 94. М., 1974.
- Ariste 1971 – *P. Ariste*. Die älteren Substrate in den ostseefinnischen Sprachen // *СФУ*. 1971. Т. VII. № 4.
- Joki 1973 – *A.J. Joki*. Uralier und Indogermanen. Die älteren Berührungen zwischen den uralischen und indogermanischen Sprachen. Helsinki, 1973.
- Kalima 1933 – *J. Kalima*. Über die Bedeutung der finnisch-ugrischen Sprachforschung für die russische Dialektologie // *Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia*. Helsinki, 1933.
- Kalima 1952 – *J. Kalima*. *Slaavilaisparainen sanastomme*. Helsinki, 1952.
- Karsten 1902 – *T.E. Karsten*. Germanisches im finnischen // *Finnisch-Ugrische Forschungen*. Bd. II. Hft III. 1902.
- KKLS – *T.I. Itkonen*. Koltan–ja Kuolanlapin sanakirja. Osa 1, 2. Helsinki, 1958.
- Koivulehto 1976 – *J. Koivulehto*. Vanhimmista germaanisista lainakosketuksista ja niiden ikäämisestä // *Virittäjä*. 1976.
- Koivulehto 1981 – *J. Koivulehto*. Zur Erforschung der germanisch-finnischen Lehnbeziehungen // *СФУ*. Т. 17. 1981.

- Koivulehto 1988 – *J. Koivulehto*. Alte indogermanische Lehnwörter im Finnisch-Ugrischen // Ural-Altaische Jahrbücher Neue Folge 8. Wiesbaden, 1988.
- Koivulehto 1999 – *J. Koivulehto*. Verba mutuata. Helsinki, 1999.
- Lehtisalo 1933 – *T. Lehtisalo*. Uralische Etymologien // Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia. Helsinki, 1933.
- Mikkola 1938 – *J. Mikkola*. Die älteren Berührungen zwischen Ostseefinnisch and Russisch. Helsinki, 1938.
- Napolskich 1996 – *V.V. Napolskich*. Die Vorslaven in interen Kamagebiet in der Mitte des 1 Jahrtausend unserer Zeitrechnung Permisches Sprachmaterial // Finnisch-Ugrische Mitteilungen. Bd. 18/19. Hamburg, 1996.
- Neuhaus 1908 – *J. Neuhaus*. Kleine finnische Sprachlehre nebst einem Wörterverzeichnis der finnisch-indoeuropäischen Entlehnungen. Heidelberg, 1908.
- Nissilä 1975 – *V. Nissilä*. Suomen karjalan nimistö. Joensuu, 1975.
- Paasonen 1948 – *H. Paasonen*. Ost-Tscheremissisches Wörterbuch. Helsinki, 1948.
- Plöger 1973 – *A. Plöger*. Die russischen Lehnwörter der finnischen Schriftsprache. Wiesbaden, 1973.
- Rédei 1999 – *K. Rédei*. Zu den uralisch-jukagirischen Sprachkontakten // Finnisch-Ugrische Forschungen. Bd. 55. Hft. 1–3. 1999.
- SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Osa 1–6. Helsinki, 1955–1978.
- SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Osa 1–3. Helsinki, 1992–2000.
- Swedell 2001 – *U. Swedell*. Finska och samiska ortnamn i Sverige. Uppsala, 2001.
- Terent'ev 1990 – *V.A. Terent'ev*. Corrections to the “Suomen kielen etymologinen sanakirja” concerning Germanic, Baltic and Slavic loanwords // Uralo-Indogermanica. II. M., 1990.
- Viitso 1992 – *T.-R. Viitso*. Finnic and its prehistoric Indo-European neighbours // Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum. Amsterdam; Atlanta, 1992.
- Vries 1961 – *J. de Vries*. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1961.

© 2005 г. Р.Ф. КАСАТКИНА

**МОСКОВСКОЕ АКАНЬЕ В СВЕТЕ НЕКОТОРЫХ  
ДИАЛЕКТНЫХ ДАННЫХ\***

В статье предпринята попытка связать сегментные характеристики предударных гласных, а именно произношение широкорастворного *a* с просодическим уровнем, связанным с семантической высказывания, с размещением в нем акцентов и с характером этих акцентов. Анализируемая особенность произношения характеризует не только московский говор, но и некоторые диалекты.

Аканье, т.е. неразличение гласных, в которых реализуются фонемы /*a*/ и /*o*/ в безударных позициях, на лингвогеографической карте русского языка представлено несколькими разновидностями: сильное аканье, диссимилятивное аканье с несколькими подтипами, ассимилятивно-диссимилятивное аканье и др. В литературном варианте русского языка, как известно, представлено сильное аканье, т.е. такое, при котором нейтрализация фонем /*a*/ и /*o*/ происходит во всех безударных позициях. Однако один и тот же фонологический тип вокализма, т.е. в данном случае сильное аканье, может базироваться на разных звуковых материях.

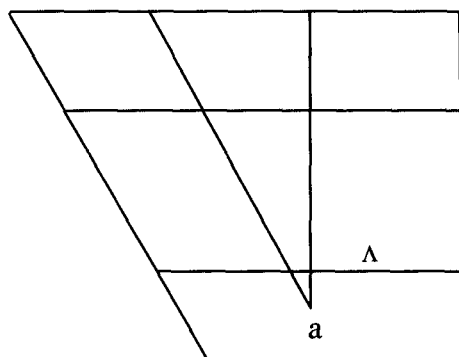
Произношение безударных гласных в городах центральной России, Поволжья, юга России, Урала, Сибири, севера России – это все разные звуковые субстанции, несмотря на один и тот же фонемный состав гласных. “Поджатое” аканье (по меткому определению С.С. Высотского) в городах на территориях с полным оканьем (север Европейской части России, Урал, Сибирь), рязанское “полоротое” аканье, по выражению В.И. Даля, “широкое” московское аканье – это все разновидности одной и той же фонологической модели предударного вокализма – сильного аканья. “Аканье” – термин многозначный. Он обозначает, с одной стороны, фонологическое неразличение, нейтрализацию гласных в безударных позициях, а с другой стороны, в более узком смысле, фонетическую реализацию нейтрализуемых фонем /*a*/ – /*o*/ в позиции 1-го предударного слога. В статье основное внимание уделяется именно этому аспекту аканья.

“Московское аканье” сильно отличается от многих региональных разновидностей аканья этого типа. Его особенностью, о которой много написано (см., например [Высотский 1973; 1984; Розанова 1984; 1988; Китайгородская, Розанова 1995; 1999]), является реализация фонем /*a*/ и /*o*/ в 1-м предударном слоге в широком открытом гласном. Диалектологам хорошо известно, что такой тип безударного вокализма представлен не только в московском городском говоре и в речи многих (но далеко не всех!) образованных москвичей, но также и в широком ареале окружающих Москву среднерусских говоров. Не останавливаясь на этом подробно, заметим только, что подобный тип вокализма поддерживается определенной ритмической (темпоральной, динамической и мелодической) схемой фонетического слова, которая свойственна словесной просодии не только акающих, но и окающих среднерусских говоров, например, владимирско-поволжских (см. [Высотский 1973: 35]). Такова же ритмическая ор-

\* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), грант № 03-04-00181.

ганизация слова и в некоторых псковских и новгородских говорах (см. [Касаткина 1996; 1997]).

Несколько упрощая картину и оставаясь в пределах фонетики слова (т.е. не выходя на фразовый и, шире, текстовый уровень), представляется логичным различать только два типа реализации *a* в 1-м предударном слоге – в гласном нижнего, но несколько повышенного подъема среднего ряда, который может быть обозначен как [a<sup>3</sup>] (широкорастворное *a*), и в гласном среднего подъема заднего ряда [Λ] (узкорастворное *a*). Эти два гласных могут быть определены как центральный vs. задний, или как широкий vs. узкий звукотип русского *a*. Типология различий в пределах сильно акающих говоров строится в основном на противопоставлении этих двух гласных. Можно видеть расположение этих двух звуков в трапецоиде гласных.



Следовательно, широкорастворное *a* в соответствии с фонемами /a/ и /o/ характерно для диалектной и городской речи Центральной и Южной России, а также для реализации фонемы /a/ в речи населения тех городов, которые находятся в ареале неполного аканья – таких, как Нижний Новгород, Тверь, Самара, Саратов.

В типологии диалектных различий разных моделей предударного вокализма важную и особую роль играет диссимилятивное аканье в широком смысле этого слова.

Калужский говор, описанный Броком в начале века, является типичным для определенных ареалов южнорусского наречия. Система предударного вокализма в нем, как и во многих говорах южнорусского наречия, устроена по принципу *ди с с и м и л я т и в н о г о а к а н ь я*, в основе которого лежит компенсаторная модель: при узких гласных под ударением в 1-м предударном слоге произносится широкий открытый гласный [a]: *к[a]núста, сап[a]гú, х[a]дúла, н[a]сú, з[ʼa]мúи, н[ʼa]сú* и т.д. Если под ударением широкий гласный [a], то в 1-м предударном слоге произносится редуцированный гласный [э] (после мягких согласных [и]): *т[э]кáя, в[э]дá, з[ʼи]мúя, н[ʼи]слá* и др. под.). Для удобства дальнейшего изложения модель 1-го типа назовем *a*-моделью, второго – *э*-моделью. Ареал распространения этого типа вокализма представлен на картах [ДАРЯ 1986].

Согласно предложенной в настоящей статье терминологии, в этих говорах представлены оба типа предударного *a*: в словах *a*-модели в 1-м предударном слоге фонемы /a/ и /o/ реализуются в широкорастворном гласном [a], в словах *э*-модели – в узкорастворном [э] (или [Λ]).

Несмотря на характеристику московского аканья как “широкого”, “открытого”, до 60-х годов в работах по фонетике русского литературного языка предударный гласный на месте фонем /a/ и /o/ транскрибировался как [Λ]. В Международном фонетическом алфавите (IPA) этот знак соответствует произношению нелабиализованного гласного заднего ряда среднего подъема, иными словами, гласного *o* без лабиализации. Возникает естественный вопрос, как могло возникнуть такое явное несоответствие между реальным произношением и его отражением в транскрипции? Обратимся к истории вопроса.

Знак [ʌ] впервые был введен в транскрипцию текстов литературного языка Л.В. Щербой в магистерской диссертации [Щерба 1912]. Щерба придерживался этой нотации и в последующих своих работах<sup>1</sup>. Авторитет академика Л.В. Щербы был очень высок, и, по-видимому, по этой причине в числе его последователей в отношении транскрипции оказались очень многие русисты.

Магия буквы, или в данном случае транскрипционного знака, может действовать завораживающе. Так, в наше время некоторые фонетисты пытаются даже строить какие-то реконструкции более ранних состояний вокалической системы русского языка на мнимом основании прежнего произношения предударного [ʌ], якобы сменившегося впоследствии произношением [a].

Последовательное произношение [ʌ] в 1-м предударном слоге в соответствии с нейтрализуемыми /a/ – /o/ – это как раз так называемое “поджатое аканье”, упомянутое в начале статьи, или реализация фонем /a/–/o/ в звукотипе заднего ряда. Определяется такой тип предударного вокализма иной, чем в среднерусских говорах и в речи москвичей, артикуляционной базой, а именно более узким челюстным раствором и связанным с ним более задним положением тела языка (см. [Пауфошима 1978: 46–47]). Этот тип предударного вокализма характеризует речь бывших бкальщиков (в данном случае имеется в виду полное оканье), например, речь городских жителей севернорусского диалектного ареала, Урала и Сибири. Такое же аканье характеризует и русскую речь других бывших окальщиков, например, украинцев, говорящих по-русски.

Стереотип такой транскрипции, просуществовавший в русской фонетике более полувека, был впервые разрушен в книге [Панов 1967]<sup>2</sup>. М.В. Панов заменил символ [ʌ] знаком [a] – символом, который соответствует гласному среднего ряда нижнего подъема, т.е. тому гласному, который реально произносится в 1-м предударном слоге на месте нейтрализуемых фонем /a/ и /o/ в речи большинства носителей литературного языка.

М.В. Панов так пишет о гласном, изображаемом знаком [ʌ] – “Это гласный, который может произноситься в словах *водá, ходíть, травá, посади́ть* и т.д. (качественно он подобен английскому гласному [ʌ] в словах <...> *cut, butter*). Такое произношение, однако, свойственно не всем литературно говорящим по-русски, большинство вместо [ʌ] произносят безударный [a]. На слух очень похожи друг на друга, и отличить их можно только после серьезной “фонетической муштры” своего слуха” [Панов 1967: 45].

Добавим к этому, что произношение гласного заднего ряда вместо *a* в безударных позициях все-таки возможно, но только в определенном консонантном окружении. Наиболее яркий коартикуляционный эффект такого рода проявляется в позиции перед веллярными и перед велляризованным *л*, напр., в словах *докла́д, калáч, толка́ть, толка́ч, стака́н, такóй* (несколько иное консонантное окружение, способствующее реализации /a/ и /o/ в звукотипе [ʌ], обсуждается в работе [Розанова 1988]). Л.Л. Касаткин пишет по этому поводу: “В словах *дома́* и *дала́* обычно транскрибируют один и тот же предударный гласный [a<sup>o</sup>]. Но при более точной транскрипции следует различать [да<sup>o</sup>ма́] и [дʌла́]: звук [л] здесь воздействует на предударный гласный так же, как и на ударный”, отодвигая его назад [Касаткин 2002: 39]. Но слова́ такого типа в речи не слишком частотны. Поэтому преобладающим для большинства позиций в системе московского аканья является звукотип *a* в 1-м предударном слоге, и его следует обозначать буквой [a], как и предложил М.В. Панов. Тот же способ транскрипции использовал в своих работах С.С. Высотский. Позднее Л.Л. Касаткин в учебниках по русскому языку ввел уточняющий значок [a<sup>h</sup>] (*a* затем [a<sup>o</sup>]), отражая тем самым некоторое

<sup>1</sup> Для Л.В. Щербы, родившегося в Белоруссии (в Минской губернии, народные говоры которой характеризуются диссимилятивным аканьем [Чекмонас 1987]) и долгое время прожившего в Киеве, в городе, в котором акающая речь основывается на иной, чем в центральной России, артикуляционной базе, произношение [ʌ] в соответствии с фонемами /a/, /o/ в 1-м предударном слоге было фоновым и потому привычным.

<sup>2</sup> В этом проявилось у М.В. Панова такое редко встречающееся качество, как способность непредвзято и критически относиться к устоявшимся в науке стереотипам.

повышение подъема предударного гласного по сравнению с гласным [а] под ударением (см. [Касаткин 1982: 90]).

Отказавшись от знака [ʌ], М.В. Панов восстановил традицию, идущую от В.А. Богородицкого, Р.Ф. Брандта, Ф.Е. Корша, О. Брока, А.А. Шахматова, которые без колебаний определяли реализацию фонем /а/ и /о/ в 1-м предударном слоге как [а]. Традиция эта, как было показано, была прервана Л.В. Щербой.

Итак, коренное московское произношение никогда не характеризовалось “поджатым аканьем” – широкорастворное, открытое [а] в 1-м предударном слоге московской речи засвидетельствовано в домагнитофонную эпоху транскрипциями старших исследователей – В.А. Богородицкого, Й. Люнделля, Ф.Е. Корша, В.И. Чернышева, Р. Кошутича, позднее Д.Н. Ушакова. Такое произношение зафиксировано и в грамофонных и магнитофонных записях радио- и театральных спектаклей, а также звучащих образцов разговорной речи москвичей старшего поколения, хранящихся в фонотеке Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

Однако многие вопросы, связанные с московским аканьем, до сих пор остаются нерешенными. Вот некоторые из них:

1. Зависит ли реализация гласных [а], [и], [ы], [у] (именно таков набор реализаций гласных фонем в 1-м предударном слоге) от качества гласного под ударением?

2. Как она зависит от позиции слова во фразе?

3. Есть ли различие между мужской и женской речью в этом отношении<sup>3</sup>?

Имеющиеся в литературе данные по количественным характеристикам гласных 1-го предударного слога не дают исчерпывающего ответа на эти вопросы (см., например [Болла 1968; Златоустова и др. 1968; de Silva 1999]).

Для выяснения всех этих вопросов было предпринято исследование синхронного состояния московского предударного вокализма с учетом названных факторов. Были составлены тексты, в которых двусложные логотомы типа *та́тан*, *та́тин*, *та́бн*, *та́ен*, *та́эн*, *ти́тан*, *ты́тан*, *ту́тан*, *ту́тин*, *тэ́тан* и т.п. были включены в рамочные конструкции, где эти квази-слова оказывались в разных фразовых позициях. Различия фразовых позиций были линейными (начало, середина, конец высказывания: например, *Та́тан – это слово. Слово та́тан повтори. Это слово – та́тан* и т.д.) и просодическими, т.е. акцентными (проминентными) и безакцентными: *Та́тан – это слово* и *Та́тан – это слово*; *Слово та́тан повтори* и *Слово та́тан повтори*). Варьировались гласные под ударением, а также и в 1-м предударном слоге, менялись фразовые позиции. Неизменным оставался только консонантный “костяк” логотомов – *т*, *т'*, *н*.

Были сделаны компьютерные записи в wav-формате от восьми дикторов-женщин и шестерых мужчин. С помощью программы Speech Analyzer измерялась длительность гласных 1-го предударного слога и слога под ударением. Было получено и измерено 2240 гласных.

В статье приводятся предварительные результаты исследования. Измерения были проведены на всем записанном материале, что уже на этом этапе позволило сделать некоторые выводы общего характера. Для более тщательного анализа к настоящему времени были выбраны только те высказывания, которые включали слова *та́тан*, *та́тин*, *ти́тан*, *ты́тан*, *ты́тин*, *ту́тан*, *ту́тин* и *ти́тун*. Результаты усредненных измерений длительности некоторых гласных в произношении всех дикторов приведены в таблице 1.

<sup>3</sup> На материале русской разговорной речи этому вопросу посвящена работа [Земская, Кийтагородская, Розанова 1993]. Но на статистически представительном материале кодифицированного произношения такого исследования еще не проводилось.



## Средняя длительность гласных в 1-м предударном и ударном слогах

1-й предударный слог			Ударный слог	
а	85	61	а	113
а	101	121	и	83
и	50	40	а	122
и	67	53	у	108
ы	55	46	а	114
ы	65	63	у	102

Примечание: В колонках 2 и 5 указана длительность гласного в мсек, в колонке 3 – отношение длительности предударного гласного к длительности ударного в %.

## Предварительные итоги:

1. Из четырех возможных в 1-м предударном слоге гласных самыми краткими и неинтенсивными являются [и] и [ы]. Модификации по длительности, о которых будет сказано дальше, касаются и их, но именно [и] и [ы] во всех позициях несравненно короче и слабее двух других гласных. По полученным данным, длительность [и] в 1-м предударном слоге в разных контекстных и фразовых позициях составляет от 33 до 65 мсек (с преобладанием кратких реализаций), составляя в среднем 50 мсек (40% к длительности гласного *á* под ударением) для всего корпуса данных. Этот результат можно оценить должным образом, если сравнить его с данными для [а] в 1-м предударном слоге: длительность этого гласного колеблется от 80 до 150 мсек, составляя от 85 до 125% длительности гласного под ударением. Гласный [ы] характеризуется несколько большей длительностью, чем [и]. Еще большей длительностью характеризуется у, но окончательные подсчеты для него на нашем материале еще не проведены<sup>4</sup>.

Наглядное представление о соотношении по длительности обсуждаемых гласных дают осциллограммы, приведенные на рис. 1.

Краткостью предударных [и] и [ы] в потоке речи объясняются некоторые фонетические явления в вокализме русского литературного языка. Прежде всего, с этой квантитативной характеристикой [и] и [ы] связаны многочисленные случаи эллипсиса этих гласных в позиции 1-го предударного слога. Вот несколько примеров из современных радиопередач, зафиксированных автором: и[н']цáтор, о[с']тíнский, [сс]лáясь (=ссылáясь), за[ш'ш']áя (=защищáя), пре[з']дéнт, [т']мáшева (=Тимáшева), [п']сáтели (=писатели), [с']стéма (=систéма), с[с]нáрий (=сценáрий), [ч']чéнцы, [ч']чéнский и чéнский (=чечéнцы, чечéнский). Ср. также разговорную форму *щас* – из *с(ей)чáс*. По-видимому, такое произношение было характерно для носителей литературного языка и раньше. Во всяком случае, оно отмечено в старых транскрипциях (например, у В.А. Богородицкого, О. Брока – *н' кáри* и [Брок 1910: 132]), а также в записях разговорной речи второй половины XX века, например, у Г.А. Бариновой – *присоед(и)нáюсь*, *нап(и)шú*, *прин(е)сú*, *инст(и)тúт*, *универс(и)тет*, *с(е)стрá* (см. также многочисленные примеры, приводимые Бариновой, из В.М. Жирмунского – *об(я)зательнó*,

<sup>4</sup> Наше исследование показало, что объединять данные по трем гласным верхнего подъема, как это сделано в [Златоустова и др. 1968: 90], не следует – их квантитативные характеристики различны. Дальнейшее изложение покажет, что не рекомендуется также объединять в одну группу гласные *а, о, е* под ударением и рассматривать их как единую позицию, влияющую на реализацию предударных гласных.

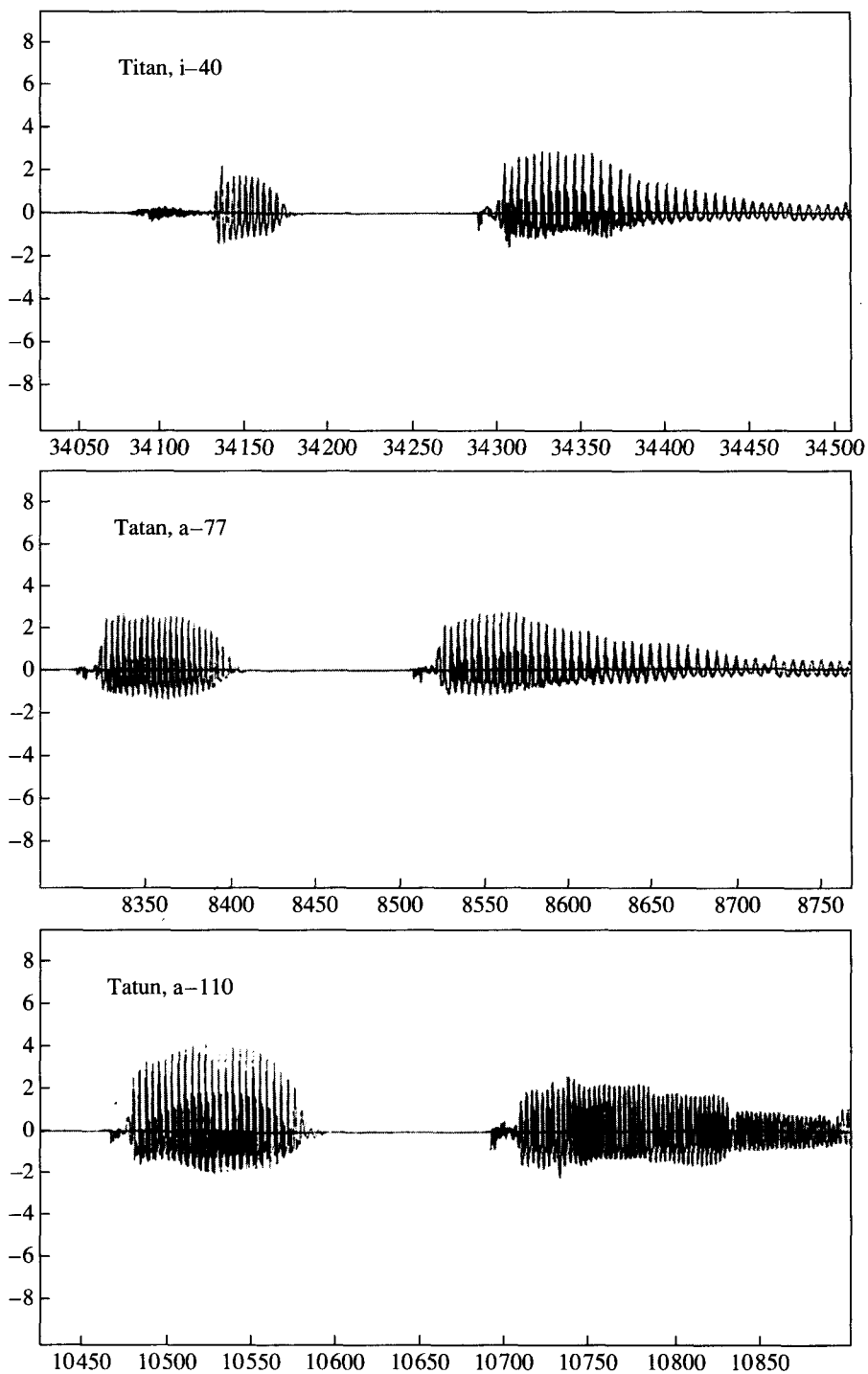


Рис. 1. Осциллограммы логотомов *титán*, *татán*, *татún* (женский голос).

*нап(и)сать, нап(и)шите, поч(и)таем* и др., а также из записей С.М. Волконского – *яц-перь (я теперь), я напъсала (я написала), моя сстра (моя сестра)* и др. [Баринава 1973: 45]. Подобные случаи отмечают и другие исследователи русской разговорной речи, например: *пон(и)маёте, у [м'н'á], б(ы)ва́ют, нач(и)на́я<sup>5</sup>, сэри́енно* [Китайгородская, Розанова 1995: 12, 24, 33, 55]. Авторы указанной монографии фиксируют случаи эллипсиса гласных [и] и [ы] в текстах разговорной речи москвичей старшего поколения, обычно не отражая этого в комментариях. И только в комментариях к записи актрисы – информанта более молодого поколения – эти факты эксплицируются: авторы отмечают, что в ее речи наблюдается "... сильная количественная и качественная редукция первого предударного гласного (встречающаяся преимущественно в слабой фразовой позиции после мягких согласных)" [Там же: 60].

Многочисленны примеры такого рода и в текстах разговорной речи из более поздней монографии тех же авторов (см. [Китайгородская, Розанова 1999]). В подавляющем большинстве случаев эллипсис [и] наблюдается в позиции перед [а].

Имеющийся в нашем распоряжении статистически представительный материал подтверждает это положение, но и позволяет сделать одно уточнение: это справедливо не только для [и], но и для [ы], причем в разных фразовых позициях. Наиболее благоприятная контекстная позиция для этого – позиция перед *á*, что вполне согласуется с приведенными примерами из записей русской разговорной речи. Случаи эллипсиса предударного [у] крайне редки, но отмечаются также и они, например, *де[п<sup>о</sup>]та́ты, о[ш'<sup>и</sup>]ца́ется, про[п<sup>о</sup>]ска́*.

И здесь еще раз следует подчеркнуть, что материал, который позволил нам сделать наши предварительные выводы – это не материал спонтанной речи, а чтение подготовленного текста и магнитофонные записи радио- и телепередач, имеющие целевую установку на официальность.

С рассматриваемой количественной характеристикой предударных [и] и [ы] связана также и возможность стяжения гласных в hiatusх в тех случаях, когда в качестве первого компонента вокалического сочетания выступают именно эти гласные, а в качестве второго – *á, ó*. В разговорной речи постоянно отмечаются случаи произношения, подобные следующим: [аф'ица́л'н'эй, аф'ица́нт(ка), сп'ица́л'н'ьс'т', г'<sup>(б)</sup>бр'на, т'атр] – *официальный, официант(ка), специальность, Георгиевна, театр* [Баринава 1973: 68].

Произношение таких пар, как *Ляна – лиána, Либн – лён, идибт – идёт, оре́л – оре́л, Риáд – ряд* и др. под. может совпадать во многих фразовых позициях, порождая омофонию<sup>6</sup>.

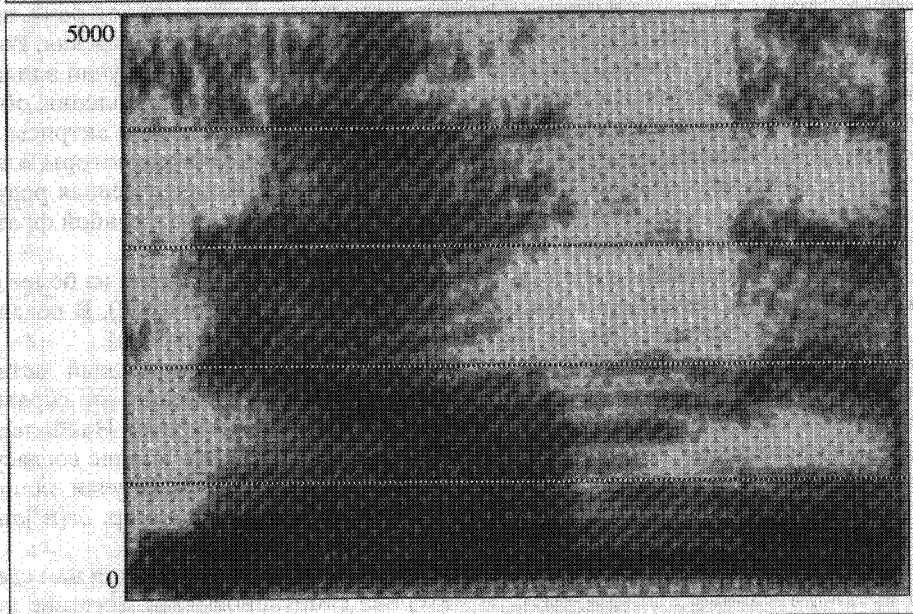
Реализации вокалических сочетаний *-ыá-, -ыó-, иá-, -иó-* с диерезой первого компонента (*спец[á]льный, офиц[á]нт, офиц[á]льный, офиц[ó]зный, традиц[ó]нный, [с'а]нс, [р'á]льный, гран[д'ó]зный* и др. под.), фиксируемое как весьма частотное в современной разговорной речи, также обязано своим появлением повышенной краткости гласных верхнего подъема в 1-м предударном слоге. В некоторых из этих слов и подобных им с вокалическими сочетаниями стяженное произношение уже кодифицировано (см. [Каленчук, Касаткина 1997]). Будучи краткими, гласные [и] и [ы] часто не отличаются по своим квантитативным характеристикам от формантных переходов, соединяющих предшествующие мягкие согласные с гласными *а, о*. Это можно видеть на спектрограммах слов *с лиáной – с Ля́ной* из фраз, прочитанных нашими информантами: *Бороться с лиáной* очень трудно и *Вечером мы с Ля́ной идём в театр* (см. спектрограммы на рис. 2).

<sup>5</sup> Буква в круглых скобках означает эллипсис соответствующего гласного.

<sup>6</sup> Такие производительные казусы обыгрываются поэтами, сравни, например, четверостишие Н. Олейникова:

Я твой! Ласкай меня, тигрица!  
Гори над нами страсти *ореол*!  
Но почему с тобою мы не птицы?  
Тогда б у нас родился маленький *орёл*.  
(Цит. по Л. Чуковская. Дом поэта).

Диктор О.А.Завтра с *Ляной* пойдем в театр.



Диктор О.А.Бороться с *ляной* очень трудно

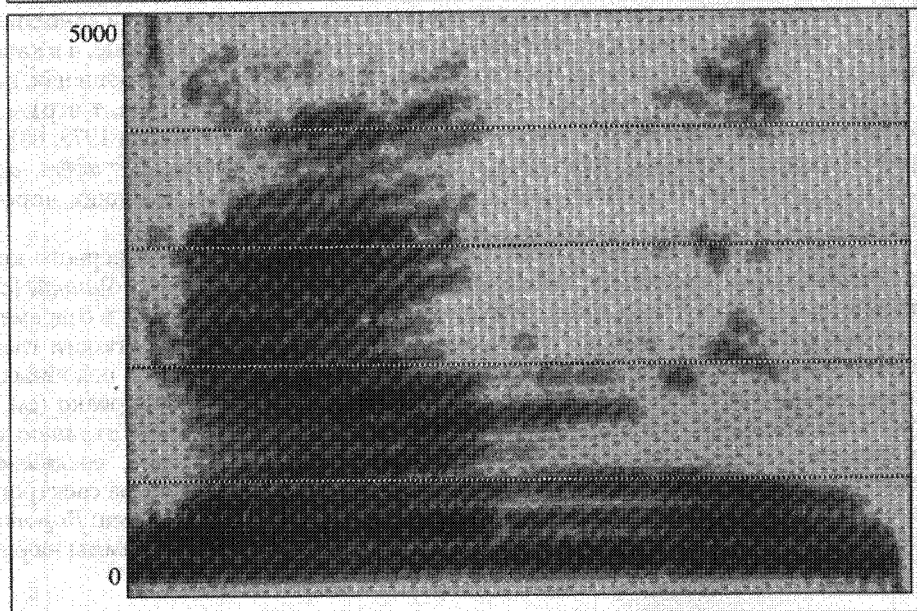


Рис. 2. На спектрограммах можно видеть сближение по длительности *и*-сегментов: в слове с *ляной* – реализации фонемы  $\text{л}'$ , в слове *С Ляной* – *и*-образного перехода от палатализованного  $[\text{л}']$  к  $[\text{а}]$ .

Перед ударными гласными верхнего подъема и перед [e] наблюдается увеличение длительности предударного [и]. Длительность предударного гласного в таких сочетаниях обычно почти приближается к длительности гласного под ударением.

Этим объясняется обычное отсутствие диерезы первого компонента в таких случаях, как *триу́мф* (не \**t[r'ú]mf*), *алеу́т* (не \**a[l'ú]t*), *демиу́рг* (не \**de[m'ú]rg*), *пацеи́нт* (не \**pa[цэ́]nt*), *диéта* (не \**[д'э́]та*) и т.п. Впрочем, в безакцентных фразовых позициях такие стяженные формы все же иногда отмечаются.

Соответственно возрастает также и длительность предударного [у] в этих же позициях. С большей длительностью предударного у перед ударными гласными ненижнего подъема связан тот факт, что вокалические сочетания *уó* не подвергаются стяжению. Ср. произношение *субми́*, *виртуо́з*, *Кубо́ккала*, *Вубо́кса*, где в разных фразовых позициях не отмечается диерезы предударного гласного.

2. Исследование показало, что длительность и интенсивность гласных 1-го предударного слога определяется качеством гласного под ударением: перед ударным *a* гласный [a] несколько сокращается и ослабляется, а в позициях перед другими гласными реализации *a* более длительны и интенсивны. Наиболее растянуты и усилены реализации *a* перед ударными гласными верхнего подъема. Тем самым можно сказать, что здесь действует принцип количественной диссимиляции<sup>7</sup>. Это утверждение справедливо не только по отношению к предударному [a], но и по отношению к другим предударным гласным: [и], [ы], [у] в позиции перед *á* также сокращаются и ослабляются, как было показано выше. Более длительные и интенсивные реализации этих гласных наблюдаются перед гласными верхнего подъема. Полученный результат свидетельствует о том, что п р о с о д и ч е с к и й ц е н т р слова (под просодическим центром имеется в виду стержневая и наиболее устойчивая в фонетическом слове двучленная вокалическая структура, состоящая из ударного и 1-го предударного гласного)<sup>8</sup> в литературном языке (в его московском варианте) устроен как бы по принципу аптекарских весов – чем “весомее” (т.е. длительнее и интенсивнее) гласный в слоге под ударением, тем “легче” (короче и слабее) гласный 1-го предударного слога и наоборот.

Следует заметить, что в этом пункте наши данные несколько расходятся с результатами исследования предударного вокализма разговорной речи Н.Н. Розановой. Она пишет: “Данные спонтанной речи показывают, что в словах, реализующихся по модели типа *тэ́та:та́*, наличие в ударном слоге “узкого” или “широкого” гласного может и не оказывать воздействия на распределение предударных гласных по длительности” [Розанова 1988: 215]. Это расхождение объясняется различиями в использованном материале: в спонтанной речи участвует значительно большее количество интонационных составляющих, чем в чтении подготовленного текста, где слова определенной ритмической структуры заключены в рамочные конструкции: интонационный репертуар в таком жанре речи оказывается более скудным (С.С. Высотский писал по этому поводу: “Более постоянный вид фонетического слова обычно наблюдается в контексте без яркой эмоциональной окраски, в речи повествовательного стиля” [Высотский 1973: 34]).

Однако и в текстах русской разговорной речи наибольшее количество случаев вокалического эллипсиса и [э]-образных реализаций предударного гласного на месте фонем /a/ и /o/ наблюдается именно в позиции перед [á]: *к(а)ка́я*, *ск(а)за́л*, *пэ́кэ́зывает*; *кэ́да э́т* [Китайгородская, Розанова 1995: 13, 26]. Приведенные выше случаи эллипсиса предударных [и], [ы] из упомянутой монографии также наблюдаются не перед гласными верхнего подъема.

<sup>7</sup> Подобное предположение было ранее высказано В.Н. Чекмонасом [Чекмонас 1987: 337].

<sup>8</sup> Термин “просодический центр” употреблен в [Пауфощима 1980], чему предшествовал термин Л.В. Златоустовой “центральная часть слова” с несколько иным смысловым наполнением.

Можно было бы предположить, что мы здесь имеем дело с некоторым универсальным правилом для русского предударного вокализма, однако данные диалектологии говорят о другом: имеются вокалические системы, основанные на ассимилятивном принципе, где наблюдается не только тембровое, но и количественное уподобление предударного *a* гласному [á] (см., например [Касаткина, Щигель 1995]), а также системы со слабо выраженной двуступенчатой редуцией, например, севернорусские говоры с полным оканьем, в которых соотношения предударного слога и ударного иные, чем в говорах остальных ареалов [Высотский 1973: 36; Альмухамедова, Кульшарипова 1980: 47].

Итак, московский тип предударного вокализма можно с определенной долей осторожности определить как диссимилятивное аканье, основанное на количественной диссимиляции. При этом наше исследование показало, что не только предударное *a* вовлечено в компенсаторные количественные отношения с гласным слога под ударением, что обычно отмечается для диалектных систем с подобным типом вокализма. В системе московского предударного вокализма в компенсаторных отношениях участвуют и все остальные гласные, возможные в 1-м предударном слоге.

В диалектных системах с диссимилятивным аканьем количественные характеристики предударных гласных верхнего подъема не исследовались. По косвенным данным можно судить о вовлеченности в диссимилятивные квантитативные отношения лишь одного из них, а именно гласного *ы*: так, О. Брок, обследовавший в начале XX века калужские говоры с диссимилятивным аканьем, приводит случаи качественной редуции гласного *ы*, например, *бала*, *слаха́л*, *на́ря́ть*, *за́снáть* и т.п. [Брок 1916: 61]. Качественная редуция гласного в системах с диссимилятивным предударным вокализмом обычно сопровождается также и редуцией количественной. Подобные примеры из тех же говоров приводит и Л.Л. Касаткин, основываясь на слуховом анализе магнитофонных записей: *бэ́а́ить*, *на́ бэ́а́х*, *аткрэ́а́ть*, *бэ́а́*<sup>9</sup> и др. [Касаткин 1999: 435]. Факт вовлеченности гласного *ы* в диссимилятивные отношения позволяет сделать предположение о том, что в диссимилятивно акающих говорах и другие гласные верхнего подъема могут испытывать количественную редуцию в позиции перед *á* подобно тому, как это было нами отмечено для московского предударного вокализма.

Московское аканье в современном его виде – результат эволюции предударного вокализма от тембрового диссимилятивного аканья к количественному диссимилятивному аканью. Подобный путь проделали и вокалические системы многих других региональных идиомов (см., например [Белая 1974; Войтович 1972; Чекмонас 1987]). О неустойчивости систем с диссимилятивным аканьем можно судить также по их трансформациям в последние годы, иногда дающим другие результаты, чем в системе русского литературного языка, что нашло отражение в работах Д.М. Савинова [Савинов 2003а; 2003б].

Подводя итог этому разделу, можно сказать, что как данные спонтанной (и квазиспонтанной) речи, так и наши данные, полученные в лабораторных условиях, свидетельствуют о следах диссимилятивного аканья в современном литературном языке.

3. Полученные нами количественные характеристики гласных свидетельствуют о том, что в речи женщин диссимилятивный принцип организации просодического центра слова выдержан более последовательно, в то время как в речи мужчин наблюдается большая независимость длительности и энергии предударного гласного от качества гласного под ударением. Сопоставление усредненных данных по квантитативным характеристикам предударных и ударных гласных в квази-словах *та́а́н*, *ти́а́н*, *та́и́н*, *ти́у́н* для двух гендерных групп приведены в табл. 2.

<sup>9</sup> Примеры приведены в упрощенной кириллической транскрипции. – Р.К.

## Гендерные различия в длительности гласных

Женщины					Мужчины				
1-й предударный слог			ударный слог		1-й предударный слог			ударный слог	
а	83	64	а	130	а	87	92	а	95
и	50	38	а	130	и	50	43	а	115
а	110	122	и	90	а	92	123	и	75
и	63	57	у	107	и	49	47	у	102

Примечание: В колонке 2 указана длительность гласного в *мсек*, в колонке 3 – отношение длительности предударного гласного к длительности ударного в %.

Из приведенных в таблице данных видно, что более яркое проявление диссимилятивного принципа в строении просодического центра слова в речи женщин, нежели в речи мужчин, достигается не удлинением предударного гласного в речи первых, а сокращением длительности гласного под ударением в речи вторых.

Полученные данные свидетельствуют также о том, что позиция начала фразы благоприятна для реализации всех гласных, как ударных, так и безударных. Поэтому здесь более заметно влияние ударного гласного на гласный предударного слога. В безакцентных позициях середины фразы количественные соотношения предударных и ударных гласных оказываются более сглаженными. В позиции конца фразы, где обычно реализуется рема, длительность обоих гласных возрастает.

Таким образом, согласно приведенным данным, общее впечатление о продленном предударном гласном в московской речи фактически создается благодаря продлению гласного *a* перед гласными верхнего подъема в женской речи<sup>10</sup> и преимущественно в позиции конца фразы.

Обнаруженные гендерные различия интересны не столько сами по себе, сколько применительно к обсуждаемому положению о диалектной основе фонетики литературного языка. Женщины – хранительницы традиций – более устойчиво сохраняют в своей речи следы более раннего состояния языковой системы, о чем свидетельствуют и полученные нами данные о количественных характеристиках гласных.

4. Ниже будут рассмотрены соотношения между длительностью предударных гласных и их мелодическими характеристиками. В проанализированных нами примерах случаи произношения акцентно выделенных слов (например, *Тати́н – это слово; Слово тати́н повтори; Слово тати́н уже было*) обычно сопровождалось реализацией сверхдолгого предударного гласного, например, [a:] –от 120 до 150 *мсек*, [и:] – от 80 до 100 *мсек*. Длительность предударного гласного в таких примерах могла превышать длительность гласного под ударением. При этом привычная ритмическая схема реализации фонетического слова, а вместе с ней и диссимилятивный принцип количественных соотношений предударного и ударного гласных могли нарушаться. Такое произношение обычно сопровождалось повышением тона на предударном гласном, в то время как на ударном гласном тон понижался. См. осциллограммы и интонограммы на рис. 3.

<sup>10</sup> Такое произношение отмечается изредка и в речи мужчин, но подобная мужская речь воспринимается как нетипичная для представителей этого пола, женственная.

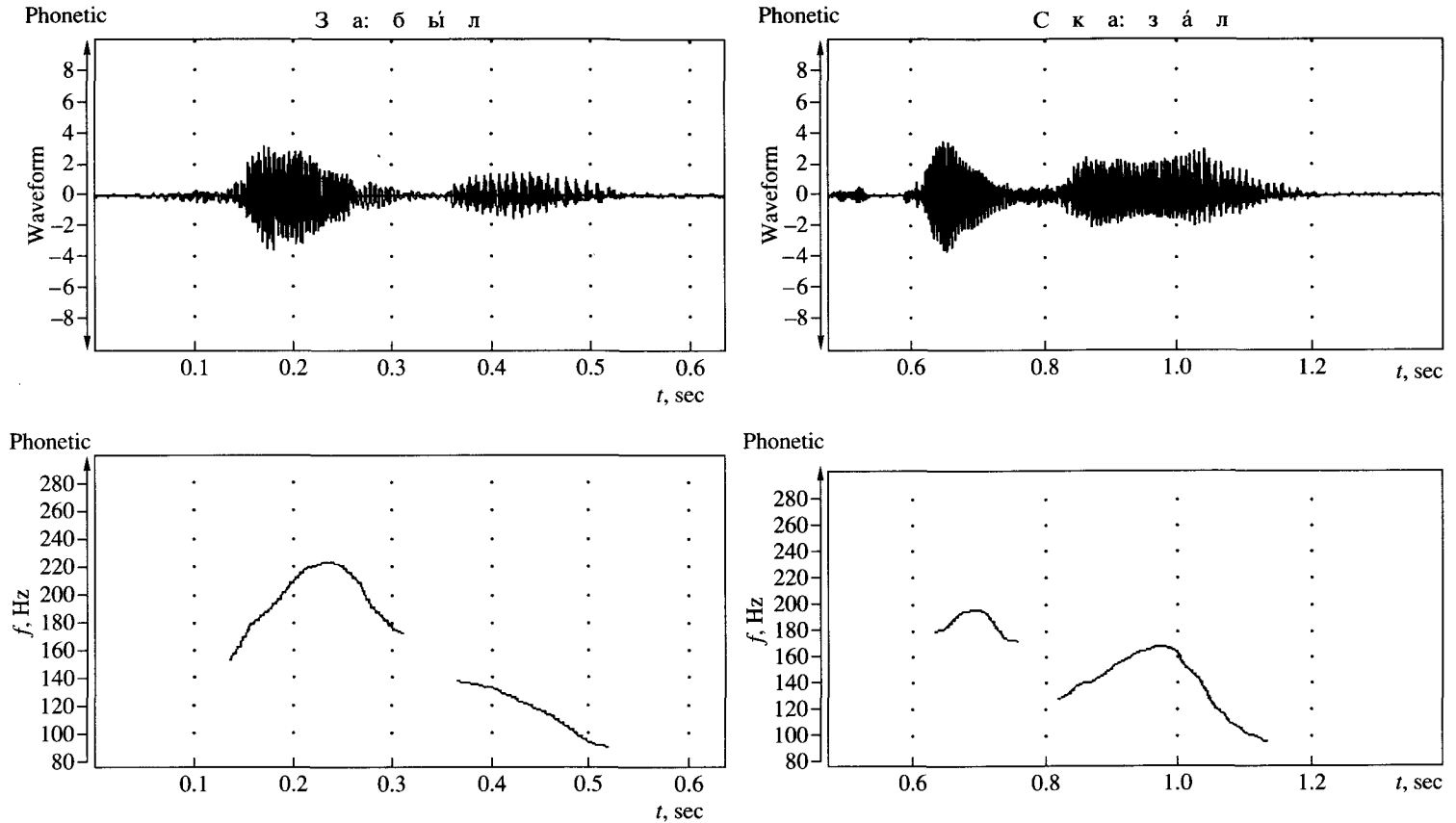


Рис. 3. Осциллограммы и интограммы в репликах-ответах *За:был* и *Ска:зál* (мужской голос). Можно видеть увеличенную длительность, интенсивность и повышение тона на гласном [a:] 1-го предупредного слога.



Впервые на возможность такого мелодического оформления отдельных слов в высказываниях на материале нескольких калужских говоров с диссимилативным аканьем обратил внимание О. Брок. Он писал: "...если ударение лежит не на первом слоге, – типичная форма интонации такая, что слог *перед* ударяемым имеет высокий тон, между тем как ударяемый слог выговаривается на значительный интервал ниже... при этом образе речи удлинение слога предударного очень сильно (подчеркнуто мною. – Р.К.)" [Брок 1916: 8]. Норвежский лингвист связывал такой тип интонирования с сохранением в говорах архаической ("старомодной", по Броку) "интонации слова", обращая внимание на то, что в более традиционном говоре такой тип интонации сохраняется лучше. Он же отметил такую возможность и в речи его современников-москвичей: «...столь характерную интонацию слова можно сравнить с движением тона, напр., в московском подтвердительном "была" как ответ на вопрос... Эта старомодная интонация – вместе с удлинением известных предударных слогов... сохраняется особенно у старых людей» [Там же: 8].

Согласно нашим наблюдениям, в говорах с диссимилативным аканьем слова *a*-модели и слова *э*-модели под акцентом имеют разные мелодические оформления: реализация слов *a*-модели связана с высоким нисходящим тоном на предударном гласном и низким на гласном под ударением, в то время как слова *э*-модели произносятся с низким восходящим тоном на предударном гласном и с дальнейшим повышением тона или сохранением высокого ровного тона на гласном под ударением.

О связи удлинения предударного гласного с повышением тона на нем в русской разговорной речи писала Т.М. Николаева [Николаева 1969], а позднее Н.Н. Розанова [Розанова 1988: 214]. Она же отметила, что эта особенность характеризует женскую речь в большей степени, чем мужскую [Там же: 213], и встречается это просодическое явление преимущественно в завершении синтагмы или фразы. На нашем материале это наблюдение в общих чертах подтвердилось, но оказалось, что в этом отношении гендерные различия отсутствуют. Нарушение ритмической схемы фонетического слова с продлением предударного гласного в указанных фразовых позициях наблюдается в эмоционально нейтральных текстах, в речи как женщин, так и мужчин.

Это обращает на себя внимание, например, в новостных программах радио, см. примеры (в скобках отмечена гендерная принадлежность диктора): *Теперь слово* Б[а:]дáду (м.); *Рейтинг губернатора упал почти на 20 пр[а:]цэ́нтов* (м.); *В этом случае государство понесет существенные* [у:]бýтки (ж.); *На Камчатку вновь обрушился мощный ц[ы:]клóн* (м.); *Передаем обзор российской и зарубежной п[и:]чáти* (ж.); *Этот сквер увековечил в своем романе* Б[у:]лгáков (м.); *В столице Великобритании проходит конкурс п[а:]жáрных* (ж.); *Команда вновь стала чемпионом* Р[а:]ссíи (м.); *Надвинутся циклоны, а из-за них* [а:]сáдки (м.); *84 человека по-прежнему находятся под з[а:]вáлами* (м.); *Теперь хотят повысить налоги на ф[и:]зических лиц* (ж.); *4-го мая будет проводиться очередной митинг оппозиции в* Б[а:]кú (ж.); *Один человек п[а:]гýб, и четверо получили ранения* (м.); *Экстренное сообщение о гибели семидесяти человек на китайской п[а:]длóдке* (м). Во всех этих случаях наблюдалось не только продление предударного гласного, но и повышение тона на нем. При этом из приведенных примеров видно, что возможно удлинение не только [а], но и гласных верхнего подъема, а также то обстоятельство, что это удлинение не зависит от качества гласного под ударением.

То же наблюдается и в жанре интервью с различными политическими деятелями, писателями и людьми искусства, передаваемых по радио, где эмоциональная окраска речи выражена более ярко, чем в примерах, приведенных в предыдущем абзаце. Ниже приводятся фрагменты записи радиointerview с композитором А. Королевым: *Я стал к этому подх[а:]дýть потихонечку..., поигрывать; Ну да, это понятие св[а:]бóды; Это звучит не только кр[а:]сíво, это звучит напряженно; Музыка – это проявление тех состояний д[у:]ши́, которые могут также быть выражены цветом.*

Примеры из интервью с актером А. Баталовым: *Это все было п[а:]нýтно; Как бы они ни сделали к[а:]рвэ́ру, это уже не имеет значения. Но избираться можно*

беск[а:]нечно. Впрочем, один существенный м[а:]мэнт...надо отпр[а:]звить. Это было такое послание из Питера в М[а:]скову.

Примеры из интервью с Б.Е. Немцовым: Это был первый московский пр[а:]цэсс; Когда-нибудь в России будут х[а:]рбише дороги.

Следует отметить, что приведенный способ оформления тональных акцентов не является обязательным – скорее его можно определить как факультативный. В речи одних говорящих подобный способ акцентирования преобладает, в речи других он полностью отсутствует. И в этом последнем случае у слушающего не создается впечатления о слишком сильном (не в терминологическом смысле) аканье говорящего. Сильное аканье московского типа связано со специфическим тональным и темпоральным оформлением фразовых акцентов – с высоким тоном на гласном 1-го предударного слога<sup>11</sup>, и с его значительным продлением. Заметим, что такие сегменты представлены не в каждом высказывании, а в тех высказываниях, где они имеются, их количество невелико – один, два. Однако именно они создают общий колорит акающей речи.

В наших предшествующих работах неоднократно приводились примеры ослышек, когда предударный слог воспринимался как ударный и наоборот. В ходе настоящего исследования выяснилось, что ослышки возникают именно при продлении и повышении тона на гласном предударного слога – в таких случаях этот гласный воспринимается как слог, несущий ударение. См. примеры:

В горáх – в Гáграх (Это мы были в г[а:]рáх). С сы́ром – сыръím (Этот салат с с[ы]́ром надо есть). С вйнными – свинными (Его готовят с в[й]нными ягодами). Ранения получили – рание не получили (Несколько человек все-таки р[а:]нения получили). Порыв – пáры (Надо было унять п[а:]рыв). Олэг – Алик – постоянная ослышка. Главй госудáрства – глáv госудáрств (Обращение гл[а:]вй госудáрства). Граждáнских – грáждан. Отцй – áкции (И вот тогда начали а:]тцй).

Ранее во многих работах неоднократно отмечалось, что реализация предударных гласных с удлинением и повышением тона характерна и для речи уличных зазывал и торговцев. Добавим к этому наблюдению, что гендерная принадлежность в таких случаях не играет роли. Вот некоторые примеры:

Экскурсия по М[а:]скове (ж.)! Т[а:]ксий! Т[а:]ксий! Кому т[а:]ксий (м.)! Пирожки г[а:]рйчие! С к[а:]пистой! С к[а:]птойшкой (ж.)! Подх[а:]ди, нал[и:]тáй! (м.)

Во всех этих случаях представлено тонально-темпоральное акцентирование 1-го предударного слога, не связанное с семантикой. Оно скорее выполняет функцию ритмической организации текста.

Другое положение наблюдается в эмоционально окрашенных высказываниях. По наблюдению Е.А. Брызгуновой, “эмоциональные реализации регулярно изменяют ритмическую структуру слова”, что отражается и на длительности гласных, и на мелодике [Брызгунова 1984: 28]. Акцентное оформление таких высказываний, как Она с[а:]всем не умеет готовить! Это т[а:]кая умница! Он т[и:]пичный бездельник! свидетельствует о том, что тональное и темпоральное выделение 1-го предударного слога в этих случаях связано с семантикой. Акцентом выражается усиление высокой степени признака, выраженной лексически – словами *совсем, такая, типичный*. В таких высказываниях, как Это Н[а:]тáша пришла (а не кто-то другой); Он ведь работает в т[и:]áмпе! (а не где-то еще), тонально-темпоральный акцент на 1-м предударном слоге выполняет контрастивную роль. Прослушивание текстов спонтанной речи создает впечатление, что семантически нагруженное акцентирование 1-го предударного слога больше свойственно эмоциональной речи женщин, чем мужчин. Для проверки этого впечатления был проведен небольшой эксперимент.

<sup>11</sup> Т.е. с *заносом* – этот термин был введен в интонологию в работе [Всеволодский-Гернгросс 1922: 47] и используется вплоть до настоящего времени, например, в работах нидерландской русистики С. Оде (см., например [Ode 1989]).

Были записаны следующие высказывания с различными модальными установками, включающие слово *Степан*, поскольку было важно проверить произношение [и<sup>е</sup>] в 1-м предударном слоге перед *а* под ударением: *Степан Иванович, сделайте хоть что-нибудь!* (просьба); *Степан Иванович, вы опять не позвонили!* (упрек); *Степан Иванович не мог так поступить!* (удивление); *Его зовут Степан* (а не Михаил, Семен, Петр – отношение контраста). Записи были сделаны в женском и мужском произношении.

Анализ тонального оформления этих высказываний позволил определить, что для женского произношения характерно наряду с акцентом на ударном гласном появление еще и дополнительного тонального акцента на гласном [и<sup>е</sup>] 1-го предударного слога, т.е. двойное акцентирование. Длительность этого гласного при таком типе акцентирования всегда была увеличенной: от 80 до 95 мсек. Высказывания, содержащие просьбу и упрек, были произнесены однотипно – с двумя падающими акцентами (HL\*–HL\*<sup>12</sup>), высказывание, выражающее удивление, было оформлено сочетанием падающего и восходящего акцентов (HL\*–LH\*), а выражение скрытого контраста нашло отражение в сочетании восходящего акцента с ровным тоном (LH\*–LL\*).

В мужском произношении во всех высказываниях, кроме контрастивного, наблюдалось акцентирование только ударного гласного и не отмечалось удлинения гласного 1-го предударного слога. Высказывание с контрастивным значением, выраженным акцентированием конечного слова, в мужском произношении было оформлено падающим терминальным тоном, начинающимся на предударном гласном. Удлинения предударного гласного при этом также не наблюдалось.

Таким образом, в современной московской речи отмечаются следующие виды интонационно-обусловленного продления предударных гласных: 1) семантически не нагруженное, обусловленное определенной фразовой позицией и 2) семантически нагруженное, связанное с реализацией фразовых акцентов, размещение которых в высказывании определяется прагматической установкой.

Первое не связано с гендерными различиями и относится к сфере фразовой просодики. Возможно, что в этом случае мы имеем дело с сохранением архаической словесной просодики, отмеченной еще в начале века на диалектном (южнорусском) материале, а также и в московской речи того времени О. Брокком.

Второе, как кажется, имеет выраженную гендерную прикреплённость.

В заключение отметим, что наши данные, полученные “в лабораторных условиях” (in vitro), то есть на материале чтения подготовленных текстов, по большей части согласуются с данными исследований разговорной речи. Однако на существование в системе московского предударного вокализма диссимильтивного принципа организации его просодического центра до сих пор не было обращено внимания, хотя анализ некоторых текстов русской разговорной речи показал, что имплицитно сведения об этом присутствуют и в них.

Ранее в статье [Пауфошима 1980] было показано, что предударная (кроме 1-го предударного слога) и заударная части многосложных слов в литературном языке подчиняются ассимильтивному принципу – настройке на последующий гласный. Исследование, результаты которого приведены в статье, показало, что этот принцип сочетается в рамках той же системы с диссимильтивным, которому подчиняется длительность гласного 1-го предударного слога. Из этого можно сделать вывод, который на первый взгляд может показаться парадоксальным: разные части слова подчиняются разнонаправленным закономерностям. Однако в данном исследовании имелась в виду только количественная диссимильция – не исключено, что обнаруженные квантитативные отношения в пределах просодического центра не препятствуют тембровой настройке 1-го предудар-

<sup>12</sup> Используются элементы интонационной транскрипции, принятой в системе ToBI, основывающейся на работе [Pierrehumbert 1980]: L – низкий тон, H – высокий тон, \* – акцент.

ного гласного на гласный ударного слога, и тенденция к “предвосхищению” качества последующего гласного распространяется и на эту часть фонетического слова.

Были также обнаружены некоторые гендерные различия в интонационном оформлении отдельных высказываний с определенной семантикой или определенными коммуникативными целеустановками. Продолжение работы в этом направлении поможет сделать картину социофонетических различий в области предупредительного вокализма более полной.

Однако уже сейчас становится понятным, что сегментные характеристики предупредительных гласных неотделимы от суперсегментного (просодического) уровня высказывания, связанного самым тесным образом с семантикой высказывания, с размещением в нем акцентов и с характером этих акцентов.

Поэтому о характере русского предупредительного вокализма и аканья в частности невозможно рассуждать в отрыве от просодических характеристик фразы и слова, системы фразовых акцентов и фокусирования, характера таймирования акцентов и ряда других интонологических феноменов.

Показанная в статье связь реализации в высказываниях широкорастворного *a* с определенными тональными характеристиками не является единой для всего русского диалектного пространства – узкорастворное *a* связано с совершенно иными мелодическими характеристиками, чем рассмотренные в рамках настоящего исследования. Анализ связей узкорастворного *a* с особенностями просодики фразы требует специального дополнительного исследования.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Альмухамедова, Кульшарипова 1980 – З.М. Альмухамедова, Р.Э. Кульшарипова. Редукция гласных и просодия слова в окающих русских говорах. Казань, 1980.
- Барина 1973 – Г.А. Барина. Фонетика // Русская разговорная речь / Под ред. Е.А. Земская. М., 1973.
- Белая 1974 – А.С. Белая. К характеристике количественно-просодических различий в надсневских говорах на Черниговщине // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1971. М., 1974.
- Болла 1968 – К. Болла. Некоторые вопросы соотношения длительности гласных звуков русской речи // Вестник МГУ. 1968. № 3.
- Брок 1910 – О. Брок. Очерк физиологии славянской речи // Энциклопедия славянской филологии. Т. 5. СПб., 1910.
- Брок 1916 – О. Брок. Говоры к западу от Мосальска. Петроград, 1916.
- Брызгунова 1984 – Е.А. Брызгунова. Эмоционально-стилистические различия русской звучащей речи. М., 1984.
- Войтович 1972 – Н.Т. Войтович. К вопросу о путях развития аканья в восточнославянских языках // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1970. М., 1972.
- Всеволодский-Гернгросс 1922 – В. Всеволодский-Гернгросс. Теория русской речевой интонации. Петербург, 1922.
- Высотский 1973 – С.С. Высотский. О звуковой структуре слова в русских говорах // Исследования по русской диалектологии. М., 1973.
- Высотский 1984 – С.С. Высотский. О московском народном говоре // Городское просторечие. Проблемы изучения. М., 1984.
- ДАРЯ 1986 – Диалектологический атлас русского языка. Вып. 1. Фонетика. М., 1986.
- Земская, Китайгородская, Розанова 1993 – Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова. Особенности мужской и женской речи // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.
- Златоустова и др. 1968 – Л.В. Златоустова, И.Г. Фролова, Е.В. Ленина, И.П. Овсянникова, И.Ф. Бышева. Исследование длительности неударных гласных в зависимости от фразовых условий // Семантические и фонологические проблемы прикладной лингвистики / Под ред. В.А. Звегинцева. М., 1968.
- Каленчук, Касаткина 1997 – М.Л. Каленчук, Р.Ф. Касаткина. Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.

- Касаткин 1982 – Л.Л. Касаткин. Фонетика // Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта. М., 1982.
- Касаткин 1999 – Л.Л. Касаткин. Современная русская и диалектная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.
- Касаткин 2002 – Л.Л. Касаткин. Фонетика современного русского литературного языка. М., 2002.
- Касаткина 1996 – Р.Ф. Касаткина. Среднерусские говоры и ритмика слова // Просодический строй русской речи / Под ред. Т.М. Николаева. М., 1996.
- Касаткина 1997 – Р.Ф. Касаткина. Некоторые наблюдения над ударением в говорах Гдовского района Псковской области // Псковские говоры. История и диалектология русского языка / Ed. J.I. Bjornflaten. Oslo, 1997.
- Касаткина, Щигель 1995 – Р.Ф. Касаткина, Е.В. Щигель. Ассимилятивно-диссимилятивное аканье // Проблемы фонетики II. М., 1995.
- Китайгородская, Розанова 1995 – М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова. Русский речевой портрет. Фонохрестоматия. М., 1995.
- Китайгородская, Розанова 1999 – М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова. Речь москвичей: коммуникативно-культурологический аспект. М., 1999.
- Николаева 1969 – Т.М. Николаева. Фонетика сложного предложения в славянских языках. М., 1969.
- Панов 1967 – М.В. Панов. Русская фонетика. М., 1967.
- Пауфошима 1978 – Р.Ф. Пауфошима. Перестройка системы предупредного вокализма в одном вологодском говоре // Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах. М., 1978.
- Пауфошима 1980 – Р.Ф. Пауфошима. Активные процессы в современном русском литературном языке (ассимилятивные изменения безударных гласных) // ИАН СЛЯ. 1980. № 1.
- Розанова 1984 – Н.Н. Розанова. Современное московское просторечие и литературный язык (на материале фонетики) // Городское просторечие. Проблемы изучения. М., 1984.
- Розанова 1988 – Н.Н. Розанова. Об одной особенности старомосковского произношения в современной речи москвичей // Разновидности городской устной речи. М., 1988.
- Савинов 2003а – Д.М. Савинов. К вопросу о происхождении умеренного яканья в говорах Тульской области // Русский язык сегодня. 2. Активные языковые процессы конца XX века / Под ред. Л.П. Крысина. М., 2003.
- Савинов 2003б – Д.М. Савинов. О диссимилятивной основе предупредного вокализма в говорах Тульской области // Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы. Материалы Международной научной конференции (Москва, 8–10 июня 2002 г.). / Под ред. А.М. Молдована и В.Н. Белоусова. М., 2003.
- Чекмонас 1987 – В.Н. Чекмонас. Территория зарождения и этапы развития восточнославянского аканья в свете данных лингвогеографии // RLing. II, 1987.
- Щерба 1912 – Л.В. Щерба. Русские гласные в качественном и количественном отношении. СПб., 1912.
- de Silva 1999 – V. de Silva. Quantity and quality as universal and specific features of sound systems: Experimental phonetic research on interaction of Russian and Finnish sound systems. Jyvaskyla, 1999.
- Odé 1989 – C. Odé. Russian intonation: a perceptual description. Amsterdam, 1989.
- Pierrehumbert 1980 – J. Pierrehumbert. The phonology and phonetics of English intonation. MIT, 1980.

© 2005 г. Р.К. ПОТАПОВА

**СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВОСПРИЯТИЕ  
ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ**

В статье отражены результаты исследования субъектно-ориентированного слухового восприятия иноязычной для адресата речи, что имеет огромное значение для решения прикладной проблемы идентификации адресанта по голосу и речи. Проведенные эксперименты с целью изучения возможности идентификации говорящего по голосу и речи на материале различных языков [немецкого, шведского, американского варианта английского языка (по зарубежным источникам) и британского варианта английского языка, а также французского языка (на базе наших экспериментально-фонетических исследований)] позволили прийти к ряду конкретных выводов. Задача отождествления и атрибуции адресанта по признакам иноязычной устной речи является одной из приоритетных задач прикладного речеведения, требующей дальнейших исследований с опорой на концептуальную базу фундаментальной науки о языке и речи.

Одним из приоритетных направлений современной прикладной лингвистики является *речеведение*, объединяющее различные аспекты изучения звучащей речи в целом и речевого сигнала, в частности. В число этих аспектов входит фоноскопия [фонография, криминалистическая или судебная фонетика (*forensic phonetics*)], основным объектом которой является идентификация говорящего по голосу и речи [Potapova 1999; Потапова 1994; 2000a]. Известно, что голоса различных людей характеризуются большой индивидуальностью. Кроме того, помимо лингвистического своеобразия человеческий голос несет информацию о возрасте и поле говорящего, его географической и социальной принадлежности, эмоциональном и физическом состоянии, отношении к высказыванию и партнеру по коммуникации, физиологических и психологических особенностях и т.д. Традиционно процесс распознавания говорящего по голосу и речи включает две разновидности: идентификацию говорящего и его верификацию [Nolan 1983; 1997]. Согласно правилам фоноскопии *идентификация* говорящего по речи на замкнутом множестве эталонов – это опознание говорящего по речевым характеристикам по принципу “один из многих”, в то время как задачей *верификации* говорящего по речи является определение принадлежности данного образца голоса конкретному говорящему (по принципу “он(она) – не он(она)”). На практике идентификация голоса на открытом множестве эталонов подразумевает возможность отрицательного решения (т.е. отклонения всех эталонов) в том случае, если имеющийся образец голоса не принадлежит ни одному из эталонных дикторов (дикторов, голоса которых подлежат сравнению с распознаваемым голосом). Верификация говорящего, в свою очередь, подразумевает выбор из двух альтернатив. В обоих случаях основной проблемой является определение адекватного критерия сходства между голосами и речью говорящих, который обеспечит надежный процесс классификации. При принятии решения важным моментом является также создание соответствующей стратегии отклонения эталонов.

Традиционные подходы к задаче идентификации говорящего опираются на субъективные методы: слуховое опознание и сравнение акустических представлений [Künzel 1985]. Что касается слухового опознания, то здесь существуют различные способы оценки способности человека опознать голос. При этом исходными являются ситуации, когда слушающий хорошо знает говорящего и запомнил его/ее голос с учетом

информации, заложенной в долговременной памяти, и когда слушающий исходит из сравнения образцов голоса, используя кратковременную память. Второй субъективный метод идентификации говорящего основывается на визуальном сравнении речевой волны и спектрограмм. Оба метода являются субъективными, и правильность окончательного решения зависит от профессионального уровня экспертов.

Совокупность различных сторон речевой деятельности составляет единый по сути и целостный по форме психологический объект, в который можно включить следующие компоненты:

- механизм, образованный специализированными психофизиологическими структурами и динамическими процессами, протекающими в этих структурах;
- непосредственные функции, осуществляемые этим механизмом (психологические и лингвистические феномены);
- функционирование этого механизма в условиях социального взаимодействия людей, т.е. коммуникации.

Лингвистика, использующая в качестве основного объекта анализа речевой продукт (в данном случае имеется в виду устная речь), включает описание различных речевых проявлений, соотносит анализируемый материал с источником речевой деятельности (индивидуумом), определяет характер функционирования той или иной языковой системы [Потапова 1994; 1999].

Проблемы описания особенностей речепроизводства и голосообразования, латентного периода принятия решения и др. приобретают особое значение для решения ряда прикладных задач: например, при профессиональном отборе, получении психологического и интеллектуального портрета говорящего, идентификации и верификации личности по голосу и речи.

В настоящее время судебная фонетика переживает эпоху бурного развития, что объясняется, с одной стороны, объективными причинами (например, повсеместным ростом преступности), с другой стороны, научным уровнем судебной фонетики, накопившей к концу столетия достаточно результирующих данных, позволяющих их успешно использовать в различного рода автоматизированных и полуавтоматизированных системах идентификации личности по речи, базах данных, системах информационного поиска.

Изучение современного состояния судебной фонетики за рубежом позволяет выделить основные направления, характеризующие развитие данной отрасли знаний. К приоритетным направлениям могут быть причислены знания, связанные с профессиональной слуховой оценкой речевого сигнала в целях идентификации говорящего и инструментальной обработкой данных с ориентацией на новые технологии. В рамках вышеуказанных направлений к числу активно разрабатываемых могут быть отнесены, например, следующие проблемы: различные виды произносительной маскировки и имитации речи; обнаружение и определение речевых расстройств; речь в состоянии интоксикации (алкогольной, наркотической, медикаментозной); идентификация артикуляторной базы родного языка говорящего; поиск голосовых стереотипов; идентификация эмоций (главным образом, эмоции страха и напряжения [Potarova, Potarov 2003a]); определение обликовых характеристик говорящего; повышение качества предъявляемых аудиоматериалов; обнаружение фактов монтажа фонограммы (определения ее аутентичности); эффект влияния фактора "разновременной" записи фонограммы на слуховую идентификацию говорящего; паралингвистические характеристики речи [Potarova 1998]; эффект влияния физической нагрузки на процесс голосообразования (фонации); влияние курения на идентифицируемый по голосу возраст говорящего; коартикуляторные характеристики говорящего и тип высшей нервной деятельности; зависимость между голосом и жестами в их вербально-коммуникативном взаимодействии; просодия и кинесика; экстралингвистическая информация в речевом сигнале; влияние родной языковой базы эксперта на возможность идентификации говорящего на не известном для эксперта иностранном языке; возможность идентификации говорящего при его переключении с родного языка на иностранный; соотнесение речевого сигнала

на уровне слухового восприятия со зрительным образом идентифицируемого говорящего в процессе свидетельского опознания (line-up-methods); межэкспертная вариативность при восприятии качества голоса; влияние различных степеней физического и психического напряжения на модификацию речевого сигнала; формирование фонетической базы данных голосов лиц, связанных с криминогенной средой; разработка автоматизированных и полуавтоматизированных систем идентификации личности по голосу и речи.

Проблема перцептивного отождествления адресанта и его атрибуции по признакам иноязычной устной речи, иными словами проблема идентификации иноязычного говорящего с позиций эксперта в области фоноскопии, не являющегося носителем языка, на котором говорит идентифицируемая личность, в настоящее время находится в центре внимания лингвистов, психологов, психолингвистов, а также экспертов в области идентификации говорящего по голосу и речи [Потапова 2000б; 2000в; 2000г]. Вместе с тем однозначного и обоснованного ответа на вопрос – может ли эксперт, *не являющийся носителем языка*, на котором имеется запись на фонограмме, идентифицировать говорящего, – в настоящее время не существует. Первые исследования в данной области были проведены за рубежом [Köster, Schiller 1997] и основывались на методиках криминалистической идентификации говорящего, принятых в США, Германии, Англии. В нашей стране первые исследования с учетом нужд лингвокриминалистики, посвященные данной проблеме, проводились на материале английского, немецкого и французского языков [Потапов 1994; Potapov 2003а; 2003б; Потапова 1999; 2000а; 2000б; 2000в; 2000г; 2002а; 2002а; Potapov, Potapov 2001; 2003б], где анализировались особенности восприятия носителями русского языка, не владеющими вышеперечисленными языками, сегментных и супraseгментных, а также ритмо-мелодических характеристик речи указанных языков. Намного раньше проблема восприятия сегментации иноязычной речи разрабатывалась на материале русско-немецких и русско-английских соответствий [Потапова 1986].

Согласно зарубежным методикам при идентификации говорящего по голосу и речи основное внимание уделяется аппаратным средствам исследования речевого сигнала, а также перцептивному анализу применительно к сегментному и супraseгментному уровням языка (т.е. исследуются различные диалектные, социолектные и психофизиологические особенности произнесения отдельных звуков и реализации просодии), тогда как индивидуальные признаки, связанные с высшими лингвистическими уровнями, как правило, учитываются не в полной мере. В России в экспертной практике лингвистическому анализу речи с учетом всех языковых уровней (от фонетики до прагматики) уделяется особое внимание. В работах по исследованию спонтанного звучащего дискурса в судебной фонетике [Потапова, Хитина 2001] отмечаются некоторые общие для разных европейских языков особенности его организации, что позволяет надеяться на возможность применения полученных данных при решении задачи идентификации иноязычного говорящего.

В связи с разработкой данной проблемы в судебной фонетике следует обратиться к некоторым зарубежным исследованиям. Так, например, А. Гольдштейн [Goldstein et al. 1981: 217–220] провел ряд перцептивно-слуховых экспериментов, задача которых заключалась в идентификации говорящих на иностранных языках с учетом наличия-отсутствия иноязычного акцента.

В первом эксперименте группа auditors, говорящих на General American English, слушала фонограмму на английском языке. В качестве дикторов выступали китайцы, афро-американцы и белые американцы. Предъявленное для слухового анализа предложение состояло из 15 слов. В тесте по идентификации участники слушали одно и то же предложение на английском языке, произнесенное разноязычными дикторами, один из которых и являлся объектом идентификации. Соотношение правильных идентификаций для трех групп дикторов существенно не различалось. Однако наблюдалась тенденция к худшей идентификации дикторов-носителей китайского языка. Во втором эксперименте была уменьшена лексическая длина произносимого материала. Тест-предло-



жение, состоящее из одного слова, является показателем значительного уменьшения правильной идентификации голосов, особенно в случае идентификации диктора-китайца, который был опознан значительно реже, чем афро- и белые американцы. Результаты экспериментов позволили сделать следующий вывод: *уменьшение объема предъявляемого эксперту материала имеет большее значение для идентификации говорящего с акцентом, нежели для идентификации говорящего на иностранном языке без акцента.*

Заслуживают внимания также эксперименты, проведенные К. Томпсоном [Thompson 1987: 121–131]. Для проведения первого эксперимента он пригласил испытуемых ( $n = 6$ ), владеющих как английским, так и испанским языками. Дикторам были предложены фрагменты текста, каждый из которых начитывался трижды (а) на английском языке; б) на испанском языке; в) на английском языке, но с сильным испанским акцентом. В качестве аудиторов выступали англичане, не владеющими какими-либо иностранными языками. На первом этапе им был предъявлен первый фрагмент текста соответственно в трех вариантах. Спустя неделю они прослушали второй фрагмент текста также в трех вариантах, но на этот раз текст был произнесен шестью разными дикторами, включая того, опознание которого было целью эксперимента. Итак, задача заключалась в идентификации говорящего на материале группы предъявляемых голосов. Результаты эксперимента продемонстрировали довольно сильное влияние фактора языка. Если учитывать количество правильных ответов, то можно сделать следующий вывод: испытуемые, которые говорили на английском языке без испанского акцента, были опознаны лучше, чем испытуемые с иноязычным акцентом. Последние, в свою очередь, были опознаны лучше, чем испытуемые, говорящие на испанском языке. Второй эксперимент можно назвать частичным повторением первого, но на этот раз голос “подозреваемого” (человека, чей голос являлся предметом опознания) отсутствовал в группе, предъявленной на опознание. Уровень неправильных ответов возрос. В ходе вышеописанных экспериментов установлено, что испытуемые распознают говорящих на их родном языке или диалекте намного лучше, чем в том случае, когда иноязычная речь им совершенно не знакома или мало знакома.

Результаты экспериментов, проведенных Томпсоном, послужили отправной точкой для дальнейшего изучения идентификации иноязычной речи в области судебной фонетики. Как подчеркивал Томпсон, безотносительно к тому факту, владеет аудитор иностранным языком или нет, могут возникнуть две проблемы:

1. Существует ли разница в процессе идентификации говорящего по голосу и речи между носителем языка и человеком, который владеет этим языком как иностранным?

2. Если язык “адресанта” с целью его идентификации не известен слушающему (“адресату”), то насколько разница между языками (родным языком слушающего и иностранным языком) влияет на процесс идентификации? (“Например, для англичанина, не говорящего на японском и немецком языках, вероятно, легче будет распознать говорящего на немецком языке, так как английский и немецкий входят в одну языковую группу”) [Thompson 1987: 125].

Проведено незначительное число экспериментов, посвященных проблеме соотношения родного языка эксперта и языка идентифицируемого говорящего. К ним можно отнести описанные выше эксперименты, проведенные Гольдштейном и Томпсоном.

Известны результаты также некоторых других экспериментов. Например, Дж. Гоггин в 1991 г. высказал идею, согласно которой качество идентификации увеличивается по меньшей мере в два раза, если человек знает язык, на котором реализуется идентификация [Goggin et al. 1991: 449].

Принимая во внимание вышеописанные исследования можно предположить, что *слушающий (в данном случае эксперт) может опознать говорящего с большей степенью вероятности в том случае, если он понимает язык, на котором реализуется речь идентифицируемого говорящего.*

Владение языком и его диалектами облегчает эксперту решение задачи, связанной с определением национальной принадлежности идентифицируемого говорящего.

В качестве примера рассмотрим опыт идентификации личности по речи для последующего определения места происхождения переселенцев с Африканского континента в Европу [Vodba et al. 1999: 300]. В частности, речь пойдет о выходцах из Африки, для которых английский язык является вторым языком.

Как указывают авторы, в спорах о том, может ли речь использоваться для установления регионального и национального происхождения африканцев, говорящих на английском языке, не следует напрямую ориентироваться на первое же отклонение от стандартного английского языка и утверждать, что именно это отклонение и является отличительным признаком языка данной страны или данного региона, например, для кенийского, намибийского или нигерийского языков. Высказано предположение, что многие (не только выходцы из Африки), не являющиеся носителями английского языка, скорее всего произнесут *b* в словах *bombing* или *plumber*, *g* в словах *singer*, *singing*, *i* в слове *parliament*, *w* в *Greenwich*. Так же велика вероятность того, что будет произноситься *oi* в слове *tortoise* как /ɔi/, одинаково *says* и *pays*, а подчеркнутый звук *a* в словах *Czechoslovakia*, *Yugoslavia* будет произноситься так же, как и в слове *pay*. Скорее всего ударение в словах *Arabic* и *spiritual* будет ставиться следующим образом – *A`rabic* и *spi`ritual*. Большинство африканцев произносят / i:/ и /ɪ/ как [i], /u:/ и /ʊ/ как [u]; /θ/ как [t]; /ð/ как [d]. Нейтральный гласный, представленный на письме сочетанием *er* произносится как [a], слово *asks* – как / aks/. Взаимозаменяемость / l / и / r / прослеживается по всей территории африканского континента. Все эти характеристики, тем не менее, не являются определяющими и не могут использоваться в экспертизе при установлении страны или региона происхождения индивидуума – выходца из Африки.

Однако существуют некоторые признаки, которые действительно являются релевантными для успешного решения задачи идентификации.

Выходцы из Восточной Африки (Танзании, Кении, Уганды, Замбии, а также Судана и Сомали) легко опознаются по тому, как они реализуют нормативное произношение (НП) английского языка применительно к / z:/, /ʌ/; L – вокализации; произнесению конечных безударных *our*, *ur*, *ure*, *or*; стремлению к упрощению скопления звуков; специфическому произнесению некоторых слов и реализации просодических признаков. То, что звук / z:/ в НП часто реализуется в речи как [a], отделяя тем самым восточных африканцев от других, которые произносят все или некоторые звуки, среди которых [ɔ, ɛ, a], чаще всего обусловлено орфографическими особенностями. Так, выходцы из Восточной Африки произносят *p[a]rson* (*person*), *t[a]m* (*term*), *l[a]rn* (*learn*), *th[a]rd* (*third*), *f[a]st* (*first*), *ʃ[a]rney* (*journey*), *m[a]rder* (*murder*), *p[a]rpose* (*purpose*), *w[a]rk* (*work*), *w[a]rm* (*worm*). Звук /ʌ/ также заменяется на [a]. Эта черта также свойственна и выходцам из Южной Африки, что противопоставляется звуку /ɔ/, произносимому в большинстве частей Западной Африки. Таким образом, в Восточной Африке слова *cut*, *hut*, *country*, *mother*, *some* произносятся как / kat, hat, kantri, mada, sam/.

L-вокализация применительно к английскому языку Восточной Африки является процессом, когда последний в слове постсогласный звук / l / заменяется на звук /ɔ/. Этот процесс можно зафиксировать следующим образом:  $l \rightarrow /ɔ/ \mid / C \rightarrow \# \#$ . Данный процесс затрагивает, например, такие слова как *tropical*, *local*, *single*, *wrinkle*, которые, как известно, при полном типе произнесения имеют в НП перед / l / нейтральный гласный: /trɒpɪk(e)l, lɒv(k)(e)l, sɪŋɡ(ə)l, rɪŋk(e)l/. Жители Восточной Африки произнесут эти слова как / trɒpɪkɔ, lɒkɔ, sɪŋɡɔ, rɪŋkɔ/.

Большинство говорящих в других частях Африки добавляют к этим формам / l/: /trɒpɪkəl, lɒkəl, sɪŋɡəl, rɪŋkəl/. Многие жители произносят /-al / в словах *tropical* и *local*. В *single* и *wrinkle*, а также в похожих на них словах, жители Нигерии, Сьерра Лионе и Гамбии в Западной Африке имеют другую схему L-вокализации – /sɪŋɡu(l), rɪŋku(l)/.

Последние безударные *our*, *ur*, *ure*, *or* произносятся как [a] вместо [ə], контрастируя со звуком [ɔ] в большинстве других частей африканского континента. Таким образом, говорящий на восточно-африканском английском будет произносить слова *colour*, *murmur*, *future*, *sector* как / kala, mama, fjuɫa, saktə/. Иногда *ous* также подвержено дан-

ному эффекту и отсюда вытекает следующее произнесение слов *generous, voluminous* – *gener[a]s, volumin[a]s*.

Способы кластерной симплификации, многие из которых присущи также южноафриканскому английскому языку, скорее всего, являются наиболее яркими идентификационными признаками английского языка жителей Восточной Африки. Наиболее общий признак – гласная эпентеза, т.е. вставка звуков /i/ или /ə/ для разделения согласных в группе, вследствие чего возникает слоговая структура СГСГ.

Менее заметны признаки кластерной симплификации в произнесении, например, /tod as / вместо *told us*, где /-ld / упрощается до /d/; в Западной Африке, например, *told us* в большинстве случаев будет произноситься как /tol əs/. Последним примером симплификации будет переход постсогласного /w / в /u/, как, например, в /blues/ (*always*) и в /tuin/ (*twin*). Отдельные слова, необязательно характеризующиеся общим фонологическим процессом, имеют восточноафриканское произношение. Так, например, слово *bury*, произносимое во многих частях Африки как *b[e]ri*, в Восточной Африке произносится как /bari / согласно той же схеме, что и *curry*. *Parent* звучит как *p[e]rent* везде, кроме Восточной Африки, где это произносится, как *p[a]rent*. Некоторые модели постановки ударения могут также указывать на происхождение идентифицируемой личности из Восточной Африки. Например, в словах заканчивающихся на *-ism*, ударение чаще всего ставится на последний слог (то есть на тот, где присутствует суффикс *-ism*). Для Западной Африки характерно то, что ударение ставится на предпоследний слог (ср. *albi'nism* – *al'binism*, *commu'nism* – *com'munism* и др.).

Другим отличительным признаком является интонационная модель. В восточноафриканском английском варианте тональные группы намного короче, чем в нормативном английском. При переходе от одного слова к последующему, а иногда и от слога к слогу, появляется нисходящий тон. Данная отличительная характеристика английского произношения жителей Восточной Африки наблюдается также и у жителей Южной части континента.

Вышеперечисленные особенности произношения дают возможность экспертам в области фоноскопии идентифицировать говорящего из Африки на базе английского языка с ориентацией на место его рождения и проживания, что имеет большое значение для соответствующих экспертных служб Европы и других стран.

Далее следует остановиться на специальных исследованиях, в которых требовалось различить два так называемых “похожих” голоса, а именно, профессионально имитируемого голоса и “исходного аутентичного” голоса. В исследовании [Schlichting, Sullivan 1996: 103–108; 1997: 148–165] была поставлена задача – определить, насколько успешно носители языка справляются с заданиями такого высокого уровня сложности. Техника слухового опознания по голосу, использованная в исследованиях Шлихтинга и Салливана, получила название “парад фонограмм”, что можно сравнить по аналогии с визуальным опознанием, неразрывно связанным с внешними признаками идентифицируемой личности.

В судебной фонетике техника идентификации голоса говорящего на материале предъявления группы голосов являлась и является важным аспектом в судебной практике в тех случаях, когда существует доказательство, полученное с помощью слухового опознания подозреваемого лицом, случайно услышавшим голос последнего в момент совершения преступления. Необходимость применения данного и некоторых других перцептивных методов в судебной фонетике была обоснована ранее [Hollien, Schwartz 2000; Hollien et al. 1995].

Значительное число фонограмм, с которыми приходится работать лицам, случайно услышавшим голос преступника, содержат материал на неродном языке. Количество исследований влияния иностранного языка на процесс опознания говорящего именно на этом языке чрезвычайно мало. Например, О. Кёстер [Köster 1995: 306–309; Köster, Schiller 1997] исследовал влияние необходимой языковой компетенции эксперта на возможность идентификации говорящего. Проводился эксперимент, задачей которого являлось опознание говорящего на немецком языке. До начала эксперимента для

участников проводилось ознакомительное прослушивание. В группы аудиторов были включены носители немецкого языка; носители английского языка, не знающие немецкого языка; а также носители английского языка со знанием немецкого языка. В основу эксперимента была положена гипотеза о более надежном опознании личности лицами, говорящими на одном и том же языке. Однако при проведении повторного эксперимента О. Кёстером и Н. Шиллером в 1997 г. [Köster, Schiller 1997: 18–28] с участием лиц-носителей китайского и испанского языков как со знанием, так и без знания немецкого языка были получены не столь однородные результаты. Таким образом, прямой связи между степенью владения языком и использованием вышеупомянутой методики “парада фонограмм” установить не удалось. Именно поэтому К. Салливан и Ф. Шлихтинг [Sullivan, Schlichting 2000: 95–111] провели ряд экспериментов также с использованием методики “парада фонограмм” (voice line-up). В экспериментах участвовали три группы студентов-аудиторов Британских университетов, изучающих шведский язык, и группа старшеклассников колледжа, не знающих шведского языка. Все три вышеупомянутые группы студентов находились на разных стадиях изучения шведского языка: от незнания языка до полного владения шведским языком. Результаты экспериментов Салливана и Шлихтинга показали, что возможность идентификации говорящего слушающим значительно увеличивается с началом изучения языка, но существенно не продвигается на последующих этапах.

Главным ограничением в исследовании Салливана и Шлихтинга является выбор контрольных групп. Контрольная группа для лиц, не изучающих шведский язык состояла из: (а) испытуемых, не являющихся студентами университета; (б) испытуемых, отличающихся по возрасту от университетских студентов. Следующий эксперимент было решено провести с привлечением группы студентов университета без знания языка, то есть тех, кто вообще не изучал скандинавских языков. Данный эксперимент являлся идентичным эксперименту, проведенному Салливаном и Шлихтингом в 1997 г. и использованному ими в 2000 г. [Sullivan, Schlichting 2000].

“Парад фонограмм”, используемый в работах Салливана и Шлихтинга и приведенный в данном эксперименте, включал 10 голосов. “Идентифицируемым” голосом, то есть голосом, который испытуемые должны были опознать при предъявлении фонограмм, являлся голос известного шведского политика К. Бильдта – бывшего премьер-министра Швеции. В “парад фонограмм” входили также голос Г. Габриельсона, профессионально имитирующего голос К. Бильдта; “нормальный” голос Г. Габриельсона; три любительских имитации голоса премьер-министра и три “нормальных” голоса данных имитаторов-любителей.

Процедура выбора фрагмента текста, состоящего из двух фраз, произносимого “идентифицируемым” и представленного в “параде фонограмм”, описана в более ранней работе Шлихтинга и Салливана [Schlichting, Sullivan 1997]. Каждая фонограмма включала голоса шести дикторов, произносящих фразы, отделенные друг от друга паузой длительностью менее одной секунды ( $t = 80$  мс). Идентифицируемый голос Карла Бильдта как входил, так и не входил в “парад фонограмм”. Всего было подготовлено восемь демонстрационных фонограмм голосов для каждой из тестовых фраз. Соответственно было смонтировано 16 различных блоков фонограмм. В исследовании принимали участие 18 носителей английского языка в возрасте от 20 до 25 лет. Какие-либо нарушения слухового аппарата у участников эксперимента отсутствовали. Все информанты являлись студентами университета и не владели ни одним из скандинавских языков. Результаты данного эксперимента должны были быть сопоставлены с результатами экспериментов, проведенных Салливаном и Шлихтингом позже [Sullivan, Schlichting 2000] с привлечением ранее описанных четырех групп испытуемых. Задание на опознание, поставленное перед участниками эксперимента, было идентичным тому, которым пользовались Салливан и Шлихтинг ранее. Первоначально участникам опыта давалась на прослушивание минутная запись голоса, который должен был быть ими идентифицирован. Данная запись давалась на прослушивание группе дважды: первый – в виде тренировочного блока, состоящего из четырех различных

вариантов “парада фонограмм”, и второй раз перед экспериментальным блоком с 16 различными вариантами “парада фонограмм”. Перед началом прослушивания участникам было сказано, что они должны запомнить и впоследствии идентифицировать данный голос в представленном варианте “парада фонограмм”, который они услышат. После прослушивания всех голосов участники эксперимента должны были сделать свой выбор, указав на номер идентифицируемого голоса. Если, по их мнению, данный голос не присутствовал в представленной группе, то нужно было указать – “отсутствует”.

Правильным ответом говорящего считалось распознавание, когда голос Карла Бильдта присутствовал в “параде фонограмм”, или же наоборот, при указании на отсутствие его голоса (выбор варианта “отсутствует”) в случае действительного отсутствия голоса Карла Бильдта в “параде фонограмм”. Неправильной идентификацией считаются противоположные вышеуказанным варианты, а именно неправильное указание на голос, не являющийся голосом Карла Бильдта, или отсутствие указания на голос в случае его присутствия.

Салливан и Шлихтинг сделали вывод, что, несмотря на тот факт, что длительность звуковых отрезков в “демонстрационных фонограммах голосов” была примерно 2 с., в них содержалось достаточное количество лингвистической идентификационной информации для людей, знающих шведский язык, в отличие от не знающих данного языка. Салливан и Шлихтинг не увидели значительного улучшения в возможности опознания говорящего по мере овладения языком. Они настаивали на том, что идентификация личности по голосу не улучшается по мере изучения языка.

Вышеописанные результаты показали неоднозначность в решении данной проблемы, что послужило основанием для проведения собственного эксперимента на материале британского варианта английского языка [Potapova, Yakovlev 2002].

Методика исследования включала следующие этапы:

1. отбор дикторов: для эксперимента было отобрано пять дикторов-мужчин ( $n = 5$ ) и пять дикторов-женщин ( $n = 5$ ). При отборе учитывался следующий фактор – все дикторы не должны были читать заранее подготовленный текст, а проговаривать его так, как если бы этот текст являлся частью диалога в нормальной ситуации общения.

2. акустические условия эксперимента:

– отсутствие посторонних помех и шума;

– постоянный уровень записи;

– длительность звучащего фрагмента составляла не более 15 с.

3. подбор материала: эксперименты проводились на иноязычном материале из фонотеки учебно-научного Центра “Лингва-Интерфейс” МГЛУ, а также из различных других источников (радиопередач, новостных программ, программ для обучения и т.д.).

4. монтаж экспериментального материала:

Монтаж осуществлялся по схеме, указанной ниже (“подозреваемый” – “контрольная группа”). Рассматривалось два типа экспериментального материала:

а) “подозреваемый” (диктор-мужчина) – “контрольная группа”, состоящая из 5 дикторов-мужчин ( $n = 5$ ).

б) “подозреваемый” (диктор-женщина) – “контрольная группа”, состоящая из 5 дикторов-женщин ( $n = 5$ ).

Все варианты комбинаторики материала “подозреваемого” и “контрольной группы” были сгруппированы следующим образом:

#### **"ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ"**

**B**

**D**

**F**

**A**

#### **КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА**

**№ 1. A, B, D, G, C**

**№ 2. C, F, E, B, D**

**№ 3. G, A, F, B, H**

**№ 4. B, C, A, D, E**

На первом этапе в эксперименте в качестве “экспертов” участвовали испытуемые, не владеющие английским языком. Группа состояла из четырех человек. После предварительного инструктажа, включающего постановку задачи эксперимента, и разъяснения специфики исследования прослушивалась фонограмма с последующим заполнением соответствующих протоколов. По завершению эксперимента был составлен общий интегративный протокол, в котором сопоставлялись и суммировались результаты на базе всех индивидуальных протоколов.

На втором этапе эксперимент проводился с участием “экспертов”-испытуемых, владеющих английским языком, но не являющихся носителями данного языка.

Эксперимент с привлечением носителей английского языка проводился на третьем этапе исследования.

Предварительно определялись характерные признаки речи голосов дикторов, использованных в качестве “подозреваемых”:

диктор А – слабый, глухой, бесцветный голос; диктор В – глухой тембр голоса, быстрая речь, четкая артикуляция; диктор D – мягкий тембр голоса, отчетливая артикуляция, незаполненная паузация, сдержанная, спокойная манера говорения; диктор F – сильная эмоциональная окрашенность речи, отчетливая артикуляция, голос звонкий, слегка дребезжащий, непринужденная манера говорения.

Сравнение данных, характеризующих идентифицируемого (“подозреваемого”) и “контрольную группу” показало следующее:

- Все дикторы в контрольной группе № 1 отличались друг от друга по тем или иным признакам.

- В контрольной группе № 2 маркировалась речь диктора Е, которая по своим характеристикам (манере говорения, артикуляции и т.д.) была схожа с речью идентифицируемого (“подозреваемого”).

- В контрольной группе № 3 голос “подозреваемого” характеризовался эмоциональной окрашенностью и индивидуальными интонационными признаками.

В ходе исследования дифференцировались два подхода к интерпретации результатов эксперимента:

- с учетом точности идентификации голоса и речи “подозреваемого”;
- с опорой на идентификационные признаки “подозреваемых”.

Следует подчеркнуть, что при проведении эксперимента рассматривались три степени точности опознания:

1. **Верное соответствие** (аудитор **правильно** выделил в группе неизвестных голосов голос, соответствующий голосу “подозреваемого” или правильно указал его отсутствие в группе);

2. **Ложное отсутствие соответствий** (аудитор указал на **отсутствие** голоса “подозреваемого” в контрольной группе в то время, как он там **присутствовал**);

3. **Неверное соответствие** (аудитор неверно идентифицировал голос и речь “подозреваемого”).

В результате было установлено, что носители английского языка являются наилучшим вариантом для работы в качестве экспертов по идентификации говорящего на иноязычном (в данном случае, англоязычном) материале: 87% верной идентификации, 13% ложного отсутствия соответствий и 0% процентов неверного соответствия. У владеющих иностранным языком, но не являющихся носителями данного языка, ложное отсутствие соответствий составляет 31%.

Прослеживается тенденция, свидетельствующая о возможности привлечения эксперта, владеющего иностранным языком, на котором представлена фонограмма, проводить идентификацию говорящего на иноязычном материале.

Для группы аудиторов, владеющих иностранным языком, правильная идентификация составила 63%, что несколько уступает результатам верной идентификации, применительно к носителям английского языка. Вместе с тем для данной группы испытуемых появляются результаты, классифицирующиеся как “неверная” идентификация говорящего (6%), что практически отсутствует для группы носителей языка (0%).

Что касается результатов эксперимента, применительно к группе “экспертов”, не владеющих английским языком, то в данном случае были получены весьма интересные результаты, свидетельствующие о том, что идентификация говорящего распределяется по двум признакам: верное соответствие (69%) – неверное соответствие (31%). “Ложное отсутствие соответствий” для данной группы не представлено вообще (0%). Логичным представляется резкое увеличение данных по неправильной идентификации говорящего по сравнению с результатами двух вышеописанных групп испытуемых. Данные, свидетельствующие о присутствии фактора “верного соответствия” (69%), могут быть интерпретированы с позиции гипотезы, согласно которой испытуемые, не владеющие английским языком, могут при идентификации говорящего, по всей видимости, ориентироваться не на особенности сегментных и супraseгментных характеристик английского языка, а на специфику тембральной окраски голоса говорящих (на присутствие или отсутствие эмоциональной окрашенности речи, особые просодические маркеры и т.д.)

При проведении повторного исследования, направленного на проверку устойчивости ранее полученных результатов, удалось установить, что все три группы auditors (носителей английского языка ( $n = 2$ ), владеющих английским языком ( $n = 5$ ) и не знающих английского языка ( $n = 5$ )) провели опознание идентифицируемых лиц с достаточно высокой степенью точности.

Наилучшие результаты соотносятся с группой носителей английского языка (верное соответствие – 87%, неверное соответствие – 13%, ложное отсутствие соответствий – 0%).

Для группы auditors, владеющих английским языком, характерно некоторое снижение степени корректной идентификации говорящего (по сравнению с результатами, полученными в ходе анализа данных применительно к группе носителей языка) до 80%. Соответственно возрастает число неправильной идентификации (20%). Степень ложного отсутствия соответствия (auditors указали на отсутствие голоса идентифицируемого в контрольной группе) также совпала (0%). Auditors, не владеющие английским языком, продемонстрировали еще большую степень снижения правильных решений (75%), те же характеристики присущи неверному отождествлению соответствий (20%). Вместе с тем зафиксирован рост числа ложного отсутствия соответствий (5%). Таким образом, повторное проведение эксперимента с привлечением других испытуемых показало наличие общей тенденции, сформулированной выше.

Аналогичные эксперименты проводились на материале французского языка [Потапова, Добрякова 2003]. В качестве исходного материала для предварительного эксперимента использовались фонограммы с записью интервью, взятого одним и тем же корреспондентом Radio France у разных лиц. Длительность первого интервью составляла 5 мин. 50 с., длительность второго – 7 мин. 15 с.

Предлагалось ответить на следующие вопросы:

– Способен ли исследователь-лингвист, владеющий французским языком как иностранным, установить дословное содержание разговоров, зафиксированных на исследуемых фонограммах?

– Может ли он выявить и описать присущие дикторам – участникам эксперимента индивидуальные особенности голоса и речи?

– Если да, то каковы индивидуальные особенности голоса и речи каждого из дикторов – участников эксперимента?

В результате установлено следующее:

1. При фиксации дословного содержания звучащего дискурса остались нераспознанными не более 1–1.5% слов (предположительно либо по причине недостаточного владения языком и реалиями; либо при нечетком произнесении). Общее число нераспознанных слов не превышает обычной величины для фонограмм русской речи достаточно высокого качества, на которых зафиксированы спонтанные диалоги (1–5% по материалам экспертиз, проводившихся за последний год в Лаборатории судебных видеофонографических экспертиз Российского Федерального Центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Российской Федерации /РФЦ СЭ при МЮ РФ/). Это

позволяет сделать вывод о том, что некоторое незначительное количество нераспознанных слов не влияет на возможность исследования индивидуальных особенностей голоса и речи.

2. Спонтанная речь, близкая к произносительной норме, обладает, тем не менее, значительным числом особенностей, относящихся к междикторской вариативности, которые поддаются фиксации даже в данном случае, когда исследователь владеет языком, на котором говорят информанты, как иностранным.

На основании результатов предварительного исследования индивидуальных признаков речи дикторов на материале двух интервью представлялось целесообразным сравнение некоторых признаков литературной разговорной речи и кодифицированного литературного языка на материале фонограмм французской и русской речи.

Известно, что звуки французского языка, в отличие от русского, характеризуются в потоке речи устойчивостью ряда дифференциальных признаков: напряженной артикуляцией, четкостью произнесения и т.д. В слитной речи группы слов объединены в единое фонетическое слово под общим ударением – ритмическую группу. Синтаксис французского языка характеризуется тенденцией к двусоставности предложения, глагольности сказуемого, широкому использованию прямо переходных конструкций, стяжению синтаксических групп, фиксированному и прогрессивному порядку слов.

Особенности французской разговорной речи по сравнению с кодифицированным литературным языком характеризуются наличием большей междикторской вариативности. Эти особенности для каждого конкретного диктора, их сочетание и другие индивидуальные признаки голоса и речи создают многообразие идентификационных признаков говорящего.

На этапе предварительного эксперимента решалась задача – присутствуют ли в речи дикторов следующие особенности разговорной речи по сравнению с кодифицированным литературным языком:

- паузы хезитации во всевозможных вариантах (например, сопровождаемые э-образным звуком, вздохами, с пролонгацией во времени слогов и слов, повторами слогов, слов и их сочетаний) [Ладыженская 1985];
- использование наиболее частотных индивидуальных слов и словосочетаний, а также “слов-паразитов”;
- сращение составляющих в общеупотребительных словах;
- наличие различных грамматических несогласований и оговорок;
- употребление синтаксического “принципа нанизывания” [Лаптева 1976].

Для сравнения в качестве русскоязычного материала использованы материалы экспертиз М.В. Добряковой, проводившихся в Лаборатории судебных видеофонографических экспертиз РФЦ СЭ при МЮ РФ за последнее время.

Результаты сравнения представлены ниже:

Таблица 1

### Некоторые особенности сравнения разговорной речи для французского и русского языков

а) паузы хезитации, заполненные а-э-образным звуком

Французская речь	Русская речь
<p>...et je crois que ça, c'est aussi bien sûr :-:.-:.-:.  un plus :-:.-:.-: énorme pour :-:.-:.-: pour la région  :-:.-:.-: pour la région Alsace et pour la ville de  Strasbourg.  ...d' ailleur э-э-э on peut...</p>	<p>...э-э в должностях э-э в начале э-э-а-а-а стажер...  Работал а-э-э-а в нескольких коммерческих фирмах...  Я в общем-то э-э-э это э-э-э, ну, наверное, может, одного кабана и застрелил...</p>



б) повторы слов и словосочетаний

Французская речь	Русская речь
<i>... quoi... quoi de nouveau...</i> <i>Vous avez l'espoir de retrouver</i> <i>des... des Français vivants encore</i>	<i>...ты понимаешь, вот ... вот здесь...</i> <i>...на-а по-по-по длине проволоки...</i> <i>...Иначе, иначе и бытовая.</i>

в) использование в речи так называемых "слов-паразитов"<sup>1</sup>

Французская речь <sup>2</sup>	Русская речь
<i>... qui m'ont permis d'ailleurs...</i> <i>... c'est pourquoi d'ailleurs...</i>	<i>Не, я просто не владею, так сказать...</i> <i>... несколько нюансов, так сказать...</i>

г) наличие в речи компрессии общеупотребительных слов

Французская речь	Русская речь
<i>Parce qu'il y en a</i> как [pavskjɛāna] <i>si bien que ça</i> как [sibjeksa].	<i>тока (только)</i> <i>щас (сейчас)</i>

д) наличие в речи различных грамматических несогласований и оговорок

Французский материал	Русский материал
<i>... elles ne sont pas toutes morts...</i>	<i>...или предприятие малое, которое</i> <i>готовили бизнес-планы.</i>

Исследование индивидуальных особенностей речи каждого из участников анализируемых интервью показало, что речи всех участников присущ ряд признаков, характерных для литературной разговорной речи и отличающих ее от кодифицированного литературного языка.

Показательно то, что упомянутые отличия присутствуют как в русском, так и во французском языках. Это подтверждает мнение некоторых авторов о том, что многие отличия разговорной речи от кодифицированного литературного языка имеют универсальный характер [Сиротинина 1997]. Ряд признаков, характерных для разговорной речи, имеет значительную междикторскую вариативность и формирует индивидуализирующие признаки лингвистической группы.

Для последующего эксперимента было выбрано шесть фонограмм – интервью, записанных на Radio France, где в качестве интервьюируемых лиц выступали дикторы-мужчины. С помощью аппаратно-программного комплекса SIS при формировании корпуса экспериментального материала проводилась предварительная разметка ис-

<sup>1</sup> По мнению некоторых авторов, такие определения данного явления, как “слово-сорняк” или “слово-паразит” не вполне корректно, так как в рамках конкретной речевой ситуации они, наряду с другими заполнителями пауз хезитации, проявляют себя как ритмообразующие элементы, элементы паузации, элементы, поддерживающие определенное мелодическое оформление. С учетом смысла они могут нести оценочное значение, а также принимать некоторое дополнительное значение в рамках коммуникативной ситуации [Ладьженская 1985]. Употребление в речи подобных слов в определенных условиях, определенном контексте и с определенной функцией в рамках конкретной ситуации является сильным индивидуализирующим признаком. Так, во французском языке в этой роли могут выступать такие выражения, как: *je dois dire, c'est vrai que, je dirais, on va dire* и др.

<sup>2</sup> В приведенных примерах слово *d'ailleurs* является именно “словом-сорняком”, поскольку не несет значения “с другой стороны”.

следуемых фонограмм с учетом длительности реплик интервьюируемых лиц. Фрагменты звучащего материала были подобраны таким образом, чтобы они были сопоставимы по длительности ( $\approx 1$  мин  $\pm 3$  с.), принадлежали только интервьюируемым лицам, являлись законченным смысловым целым.

В качестве основы для инструкции, предъявляемой аудиторам, был использован материал “Портрет говорящего” [Потапова 1986; 1998; 2001; 2002а], а также методика криминалистической идентификации говорящего по голосу и речи, применяемая в России.

В эксперименте участвовала группа аудиторов – специалистов по французскому языку, не являющихся носителями французского языка. Перед аудиторами были поставлены следующие задачи:

1. Прослушать каждую из предъявленных фонограмм желаемое число раз и передать дословное содержание каждой из них в орфографии;
2. Дать подробный “речевой портрет” диктора [Потапова 2002а] с опорой на каждую из фонограмм в соответствии с инструкцией;
3. Определить, имеются ли среди фонограмм такие, которые произнесены одним и тем же диктором, определить эти фонограммы и обосновать свой вывод.

Помимо основной группы аудиторов экспериментальный материал предъявлялся для прослушивания трем опытным экспертам – специалистам в области идентификации говорящего по голосу и речи, владеющим иностранными языками, но не владеющим французским языком, перед которыми была поставлена одна единственная задача: определить, имеются ли среди девяти фонограмм такие, которые произнесены одним и тем же диктором, и отметить их номера.

При анализе полноты и точности установления дословного содержания представленных в качестве экспериментального материала фонограмм и описания аудиторами “портрета говорящего” обнаружилась прямая зависимость между образовательным уровнем аудитора, полнотой и точностью как установления дословного содержания фонограмм, так и описания “портрета говорящего” [Потапова 2002а]. Такая же тенденция наблюдалась и в ходе анализа аудиторами индивидуальных особенностей голоса и речи говорящих, включая лингвистические признаки.

Дальнейший анализ материала позволил обнаружить наличие следующих тенденций: оценка пола говорящего на представленном экспериментальном материале затруднений у аудиторов не вызывала. Оценка возраста дикторов, их образовательного уровня и социального статуса оказалась более трудной задачей. При оценке аудиторами возраста дикторов обнаруживается тенденция к значительному занижению аудиторами возраста дикторов. Этот факт подтверждает выводы ряда исследователей о затруднительности адекватной оценки возраста говорящего.

При оценке индивидуальных признаков<sup>3</sup> голоса и речи дикторов было выявлено, что эмоциональная окраска речи, с одной стороны, распознается аудиторами с достаточной точностью при незначительных вариациях, как, например, “расслабленность-вялость” или “волнение-возбуждение”. Показательно то, что определение речи как эмоционально нейтральной является следствием затруднений аудитора в определении тонких оттенков эмоционального состояния диктора. В целом же можно говорить о том, что при тонкой дифференциации эмоций живая разговорная речь является всегда эмоционально окрашенной, хотя эмоции в речи могут быть выражены неярко. С другой стороны, определение эмоциональной окраски вызывает сбой при опознавании говорящего, как, например, в случае, когда при существенном изменении эмоционального оттенка речи (от расслабленного и спокойного к эмоциональному подъему) речь одного и того же диктора опознавалась как речь разных дикторов.

<sup>3</sup> Представляется удачным определение С.В. Кодзасовым *встроенных свойств голоса* с учетом пола, возраста и индивидуальных особенностей говорящего [Кодзасов 2000].

Признак “заполнение пауз хезитации” показал наличие у всех говорящих варианта заполнения пауз хезитации э-образным звуком. Прочие виды заполнения пауз хезитации для одних и тех же дикторов определялись аудитором в разной степени.

Известно, что идентификационную значимость имеют не способы заполнения пауз хезитации говорящими сами по себе, а их сочетание, частота встречаемости, положение в синтагме, сочетание с типами интонации и особенностями лексики, синтаксиса, стилистики, семантики. Прочие индивидуальные признаки голоса и речи, такие, как высота голоса, относительная громкость голоса, его тембральная специфика, темп речи, речевое дыхание, паузация, мелодический диапазон, степень изрезанности мелодического контура, четкость артикуляции, разборчивость и манера речи и т.д., на нашем экспериментальном материале имеют заметный, хотя и невысокий уровень индивидуализации говорящего. В судебно-экспертной практике эту группу признаков обычно относят к общеаудитивным групповым признакам, что подтверждается данными настоящего эксперимента. Вместе с тем эксперимент показал, что определение того или иного признака находится в существенной зависимости от так называемых внутренних “ментальных эталонов” аудитора. Поэтому при оценке признаков данной группы разными аудиторами расхождения не только возможны, но и вероятны. Следует отметить также тесную взаимосвязь между признаками речевого потока. Так, например, более высокие голоса со звонкой тембральной окраской воспринимаются как более громкие, а реализация сильной степени изрезанности мелодического контура затруднительна при широком мелодическом диапазоне [Потапова 2001; Потапова, Добрякова 2003].

Практически все лингвистические признаки имеют тот или иной уровень информативности. Наиболее информативными оказались следующие особенности: грамматические несогласования; синтаксическое оформление высказывания; грамматическое и фонетическое оформление темы и ремы; присутствие в речи так называемых “слов-паразитов”; реализация интонационных компонентов; произнесение отдельных звуков.

Данный эксперимент еще раз подтвердил положение о том, что наибольшую информативность имеют не отдельные признаки сами по себе, а их *комбинаторика*, что имеет важное значение при совершенствовании методик лингвистического анализа в экспертно-криминалистических целях.

При решении идентификационной задачи имела место следующая тенденция. В том случае, когда эмоциональное состояние диктора оставалось неизменным во всех трех фрагментах экспериментального корпуса фонограмм, речь искомого диктора опознавалась с высокой степенью точности. В том случае, когда эмоциональная насыщенность речи одного и того же диктора различалась, имели место ошибки: как ложное отсутствие соответствия, так и неверное соответствие. Иных случаев ошибок не наблюдалось. При представлении того же самого экспериментального корпуса фонограмм опытным экспертам-специалистам в области криминалистической идентификации говорящего по голосу и речи все фонограммы, где речь принадлежит одному лицу, и фонограммы, где речь принадлежит разным лицам, были определены с высокой степенью точности.

Таким образом, в ходе экспериментов удалось обнаружить следующее:

- Полнота и точность установления дословного содержания речевого фрагмента на фонограмме зависит от уровня владения аудитором тем языком, на котором говорят дикторы, и его индивидуального опыта.
- Установление возраста говорящего представляет для аудитора определенные трудности.
- Определение образовательного уровня и социального положения дикторов зависит от опыта эксперта.
- Полнота и точность описания “портрета говорящего” [Потапова 2002а] зависит от опыта аудитора и уровня владения языком.
- Наибольшую степень информативности имеет сочетание признаков, тогда как информативность каждого признака в отдельности невысока. Данное утверждение ка-

сается как индивидуальных признаков голоса и речи, так и лингвистических признаков.

- Эмоциональность, хотя и не всегда ярко выраженная, является неотъемлемой частью разговорной речи.
- Оттенки эмоциональной окрашенности в речи дикторов способны претерпевать изменения на относительно коротких отрезках речи.
- Эмоциональная окраска речи имеет сильную интраиндивидуальную вариативность, что оказывает существенное влияние на индивидуальные особенности голоса и речи дикторов и является серьезной помехой при идентификации говорящего по голосу и речи.
- Зависимость между полнотой и точностью описания индивидуальных характеристик голоса и речи говорящего и его правильной идентификацией нуждается в специальном изучении и не всегда проявляется однонаправленно.
- Владение иностранными языками (например, в нашем эксперименте английским и немецким) и опыт судебно-экспертной работы позволяют аудитору-эксперту корректно установить случаи тождества и различия говорящих на представленном франкофонном экспериментальном материале.
- Речевой отрезок длительностью  $\approx 1$  мин.  $\pm 3$  с. достаточен для формирования общеаудитивного гештальт-концепта, но недостаточен для проведения исчерпывающего лингвистического анализа. Для удовлетворительного лингвистического анализа вполне достаточен отрезок диалогической речи длительностью  $\approx 5-7$  мин. ( $7 \pm 2$ ).

Проведенные и вышеописанные эксперименты с целью изучения возможности идентификации говорящего по голосу и речи на материале различных языков [немецкого, шведского, американского варианта английского языка (по зарубежным источникам) и британского варианта английского языка, а также французского языка (на базе наших экспериментально-фонетических исследований)] позволили прийти к следующим выводам:

1. Слуховая идентификация иноязычного говорящего является на сегодня проблемой, актуальность которой не требует специального обоснования и разработка которой может быть отнесена к приоритетным направлениям прикладного речеведения в целом и судебного речеведения в частности [Потапова, Потапов 2002].

2. Решение поставленной задачи включает:

- формирование электронной БД звучащего материала на необходимом иностранном языке (отдельных высказываний, текстов, диалогов, полилогов);
- формирование системы лингвистических правил функционирования звучащего материала;
- определение фонетической специфики интерференции речевых признаков на сегментном и супraseгментном уровнях для родного и неродного языков применительно к идентифицируемому говорящему и идентифицирующему субъекту;

3. В ходе исследования специфики слухового восприятия иноязычной речи с целью идентификации говорящего выявлено, что стратегия перцепиента (потенциального эксперта) характеризуется наличием различных декодирующих поведенческих программ:

- программы, соотносящейся с анализируемым языком (т.е. с лингвистической структурой фонетико-фонологического и синтактико-семантического плана), на котором говорит идентифицируемый;
- программы, соотносящейся с характеристиками голосового источника и фильтрующей полости говорящего (высота тона, тембр, jitter-эффект, shimmer-эффект и др.);
- программы, соотносящейся с общей просодикой речевой деятельности говорящего (темп, паузация, ритмические особенности и др.);
- программы, соотносящейся с особенностями речевого дыхания;
- программы, соотносящейся с различного рода речевой патологией (гнусавость, заикание, пришепетывание и др.);
- программы, соотносящейся с общей патологией (болезнь Альцгеймера, шизофрения, аутизм и др.);

- программы, соотносящейся с наличием дифференциальных признаков эмоционально окрашенной речи;
- программы, соотносящейся с общей моторикой поведения идентифицируемого, например, “запыхавшись” (после бега, подъема по ступеням лестницы и др.), после приема алкоголя, медикаментозных средств, наркотических средств и т.д. [Потапова, Потапов 2004].

4. Как показало наше исследование, перципиенты-носители языка, на котором говорит идентифицируемый, при принятии решения ориентируются на:

а) лингвистическую (фонетико-фонологическую и синтактико-семантическую) компоненту (имеется возможность транскрибирования анализируемого материала);

б) голосовую компоненту речи;

в) просодическую компоненту речи.

5. Перципиенты, имеющие опыт экспертной работы и при этом владеющие языком, на котором говорит идентифицируемый, при принятии решения ориентируются на:

а) лингвистическую компоненту;

б) голосовую компоненту;

в) просодическую компоненту;

г) дыхательную компоненту;

д) рече-патологическую компоненту;

е) эмотивную компоненту;

ж) общемоторную компоненту.

6. Перципиенты, не владеющие языком, на котором говорит идентифицируемый, при принятии решения ориентируются *избирательно* на некоторые признаки (за исключением чисто лингвистических, т.е. связанных со структурой языка, и частично просодических). Доминирует ориентация на общие тембральные характеристики (голоса, общую речевую моторику и др.).

7. Следует предположить, что перципиенты-эксперты с большим опытом работы, но не владеющие языком, на котором говорит идентифицируемый, в целом могут активно использовать все вышеупомянутые программы стратегии принятия решения. Однако в данном случае для большей корректности выводов необходим консультант-лингвист, владеющий анализируемым языком и навыком транскрибирования.

8. Особо следует выделить проведение экспертизы на материале интерферированной речи.

В данном случае решение задачи для эксперта в определенной степени облегчается наличием перцептивной опоры на родной язык в его интерферированном варианте.

Однако для успешного решения задачи требуется репрезентативная база данных фонетических, синтаксических и семантических “ошибок-ловушек” интерференционного типа для родного и неродного языков, а также звучащих образцов интерферированной речи.

Таким образом, в судебно-фонетических исследованиях слуховое опознание говорящего по голосу и речи занимает значительное место. Почти каждый человек с нормальным слухом в состоянии опознать человека по его голосу, вследствие чего слуховое распознавание говорящего воспринимается зачастую как более-менее простая задача. Более глубокий подход к проблеме слуховой идентификации включает работу специалистов, которые могут руководствоваться следующей процедурой: приглашается группа слушающих, обладающих нормальным слухом и уже продемонстрировавших свою способность правильно идентифицировать личность по речи на слух. Сами специалисты также дают свои перцептивные оценки относительно личности говорящего. При этом они должны придерживаться некоторых установленных критериев. Может применяться метод двумерного шкалирования для анализа частоты основного тона, голосового спектра, диапазона интенсивности, диалекта, идиолекта, сегментных признаков, просодических признаков и аномалий речи. Эти данные организуются в виде количественных шкал, и результаты сопровождаются оценкой их надежности.

Слуховое опознание является одним из методов установления личности говорящего. В процессе слухового опознания должен учитываться ряд факторов, в том числе природа и качество используемых образцов голосов (эталонов). На качество голосовых образцов заметно влияет использование телефонных каналов, которые сложным образом ограничивают ширину полосы частот. Поскольку в слуховом опознании реальной речи часто используется телефон, полезным представляется исследовать влияние способа, с помощью которого записываются образцы голоса (например, прямая запись на пленку и запись через телефонные тракты), на точность идентификации говорящего. Предварительные эксперименты свидетельствуют о том, что в том случае, когда идентифицируемый голос записан с применением телефонного канала, идентификация слушающими оказывается более точной при применении голосовых образцов, записанных таким же способом. Точность понижается, когда идентифицируемый голос и голосовые образцы записаны разными способами (например, первый записан через телефонный тракт, а последние – непосредственно на аудио пленку в лабораторных условиях).

Проведено много исследований, оценивающих полезность в судебных расследованиях процедуры слухового опознания. В основном, в них уделяется внимание таким перцептивным факторам, как число отвлекающих моментов, длительность голосового образца, способность к запоминанию голоса и т.д. Но немногие исследователи обращались к проблеме, как оценивать сходство голосов, задействованных в слуховом опознании, и надежность результатов слушающего, участвующего в процессе опознания. В недавно проведенных исследованиях предлагается использовать двойную процедуру сравнения для адекватной оценки сходства голосов при слуховом опознании. Дальнейшие испытания в данной области прикладного речеведения помогут дать оценку надежности субъектно-ориентированной идентификации.

Вышеуказанные задачи могут решаться с привлечением информации в области акустики речевого сигнала, тактики построения более сложного речевого продукта – звучащего текста (а также дискурса) и восприятия последнего [Потапова, Потапов 2002].

Специфика речевого сигнала обусловлена нейрофизиологическими и психическими особенностями процесса фонации (голосообразования) и артикуляции, реализация которых в речи находится под контролем центральной и вегетативной нервных систем говорящего, а также спецификой языка (родного / неродного), на котором актуализируется речь. Крайне важным является разграничение *двух видов вариативности* речевого сигнала: а) *интериндивидуальной вариативности*, обусловленной индивидуальными анатомо-физиологическими, психологическими, лингвистическими, этническими и социальными особенностями говорящего, и представляющей собой основу информационной области индивидуально-значимых признаков; б) *интраиндивидуальной вариативности*, вызванной воздействием целого ряда не относящихся к семантическому содержанию высказывания факторов и выражающейся в самопроизвольном варьировании голоса и речи даже в рамках неизменного речевого отрезка в зависимости от различных неконтролируемых факторов функционирования многокомпонентного речевого аппарата.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что задача отождествления и атрибуции адресанта по признакам иноязычной устной речи является одной из приоритетных задач прикладного речеведения, требующей дальнейших изысканий с опорой на концептуальную базу фундаментальной науки о языке и речи.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кодзасов 2000 – С.В. Кодзасов. Голос в телевизионной рекламе // Рекламный текст: семиотика и лингвистика. М., 2000.
- Ладыженская 1985 – Б.Я. Ладыженская. Особенности организации устной спонтанной речи (Вставные элементы в речевом потоке): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.
- Лаптева 1976 – О.А. Лаптева. Русский разговорный синтаксис. М., 1976.

- Потапов 1994 – *В.В. Потапов*. Опыт лингвоконтрастивного исследования фонетических систем английского и русского языков // ФН. 1994. № 2.
- Потапова 1986 – *Р.К. Потапова*. Слоговая фонетика германских языков. М., 1986.
- Потапова 1994 – *Р.К. Потапова*. Акустико-лингвистическое декодирование речевого сигнала как базовая составляющая фоноскопического анализа в криминалистике // Сб. трудов Межд. конф. “Информатизация правоохранительных систем”. М., 1994.
- Потапова 1998 – *Р.К. Потапова*. Коннотативная паралингвистика. М., 1998.
- Потапова 1999 – *Р.К. Потапова*. Об опыте специальной подготовки экспертов-криминалистов по фоноскопии // Материалы VIII Межд. конф.: “Информатизация правоохранительных систем”. М., 1999.
- Потапова 2000а – *Р.К. Потапова*. Приоритетные направления развития современного прикладного речеведения // Сб. трудов X Сессии Рос. акуст. общества РАН. 2000. Т. 2.
- Потапова 2000б – *Р.К. Потапова*. Категории субъективного и объективного в прикладной лингвистике (применительно к фоноскопии) // Коммуникативная лингвистика и коммуникативно-деятельностный подход к обучению языкам. М., 2000.
- Потапова 2000в – *Р.К. Потапова*. Принцип изоморфизма в речевой экспертологии // IX Межд. конф. “Информатизация правоохранительных систем”. М., 2000.
- Потапова 2000г – *Р.К. Потапова*. На какие вопросы отвечает судебно-фонетическая экспертиза // Российская юстиция. 2000. № 10.
- Потапова 2001 – *Р.К. Потапова*. Речь: Коммуникация, информация, кибернетика. Изд. 2-е. доп. М., 2001.
- Потапова 2002а – *Р.К. Потапова*. Реконструкция “портрета” говорящего по его фонетическим характеристикам // Языкознание в теории и эксперименте. М., 2002.
- Потапова 2002б – *Р.К. Потапова*. Новые информационные технологии и лингвистика. М., 2002.
- Потапова 2002в – *Р.К. Потапова*. Некоторые наблюдения над искусственно модифицированной речью // XI Межд. науч. конф. “Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов”. М., 2002.
- Потапова, Потапов 2002 – *Р.К. Потапова, В.В. Потапов*. Звучащая речь как объект исследования в фундаментальной и прикладной лингвистике // Ежегодник Рос. акуст. общества РАН “Акустика речи и прикладная лингвистика”. М., 2002.
- Потапова, Потапов 2004 – *Р.К. Потапова, В.В. Потапов*. Семантическое поле “Наркотики” (Дискурс как объект прикладной лингвистики). М., 2004.
- Потапова, Добрякова 2003 – *Р.К. Потапова, М.В. Добрякова*. Идентификация иноязычного говорящего (русско-французские соответствия) // Труды XII Межд. конференции “Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов”. М., 2003.
- Потапова, Хитина 2001 – *Р.К. Потапова, М.В. Хитина*. Исследование и моделирование просодико-семантической вариативности многоуровневых вербальных компонентов в устном речевом дискурсе с целью оптимизации процесса идентификации личности по конечному речевому продукту // Материалы X Межд. конференции “Информатизация правоохранительных систем”. М., 2001.
- Сиротинина 1997 – *О.Б. Сиротинина*. Язык бытового общения в аспекте его преподавания // Материалы конф. “Теория и практика русистики в мировом контексте”. М., 1997.
- Bodba et al. 1999 – *A. S. Bodba, H.-G. Wolf, P. Lothar*. Identifying regional and national origin of English-speaking Africans seeking asylum in Germany // Forensic linguistics. 1999. V. 6. № 2.
- Goggin et al. 1991 – *J.P. Goggin, C.P. Thompson, G. Strube, L.R. Simental*. The role of language familiarity in voice identification // Memory and cognition. 1991. № 19.
- Goldstein et al. 1981 – *A. Goldstein, P. Knight, K. Bailis, G. Conover*. Recognition memory for accented and unaccented voices // Bulletin of the psychonomic society. 1981. № 17.
- Hollien et al. 1995 – *H. Hollien, R. Huntley, H. Künzel, P.A. Hollien*. Criteria for earwitness lineups // Forensic linguistics. 1995. № 2(1).
- Hollien, Schwartz 2000 – *H. Hollien, R. Schwartz*. Aural-perceptual speaker identification: problems with noncontemporary samples // Forensic linguistics. 2000. № 7(2).
- Köster, Schiller 1997 – *O. Köster, N.O. Schiller*. Different influences of the native language of a listener on speaker recognition // Forensic linguistics. 1997. № 4(1).
- Köster et al. 1995 – *O. Köster, N.O. Schiller, H.J. Künzel*. The influence of native-language background on speaker recognition // Proceedings of the XIII International congress of phonetic sciences. Stockholm, 1995. № 3.

- Künzel 1985 – *H. Künzel*. Sprechererkennung. Grundsätze forensischer Sprachverarbeitung. Heidelberg, 1985.
- Nolan 1983 – *F. Nolan*. The phonetic bases of speaker recognition. Cambridge, 1983.
- Nolan 1997 – *F. Nolan*. Speaker recognition and forensic phonetics // A handbook of phonetic sciences / J. Gibbons (ed.). Oxford, 1997.
- Potapov 2003a – *V.V. Potapov*. On language contrastive-comparative analysis of English and Russian phonetic systems // Proceedings of International workshop “Speech and computer” (SPECOM’2003). Moscow, 2003.
- Potapov 2003b – *V.V. Potapov*. The American English interference in Russian on the segmental level // Proceedings of International workshop “Speech and Computer” (SPECOM’2003). Moscow, 2003.
- Potapova 1998 – *R.K. Potapova*. Some aspects of forensic phonetics experts learning (on the basis of Russian) // Proceedings of International workshop “Speech and Computer” (SPECOM’99). Moscow, 1998.
- Potapova, Potapov 1999 – *R.K. Potapova, V.V. Potapov*. Interactive expert system for forensic speaker identification used in Russia // Proceedings of International workshop “Speech and computer” (SPECOM’99). Moscow, 1999.
- Potapova, Potapov 2001 – *R.K. Potapova, V.V. Potapov*. Auditory perception of speech by non-native speakers // Proceedings of International workshop “Speech and computer” (SPECOM’2001). Moscow, 2001.
- Potapova, Potapov 2003a – *R.K. Potapova, V.V. Potapov*. Temporal correlates of emotions as a speaker-state specific parameters for forensic speaker identification (speech temporal correlates of fear / anxiety for Russian native speakers) // Proceedings of International workshop “Speech and computer” (SPECOM’2003). Moscow, 2003.
- Potapova, Potapov 2003b – *R.K. Potapova, V.V. Potapov*. The profile of forensic phonetics experts corpus in Russia today // Proceedings of International workshop “Speech and computer” (SPECOM’2003). Moscow, 2003.
- Potapova, Yakovlev 2002 – *R.K. Potapova, F.I. Yakovlev*. Some problems of influence of a native language of a listener on speaker identification // Abstracts of IAFP&ENFSI annual conference. Moscow, 2002.
- Schlichting, Sullivan 1996 – *F. Schlichting, K.P.H. Sullivan*. Discrimination of imitated voices // Proceedings of the VI<sup>th</sup> Australian International conference on speech science and technology / P. McCormack and A. Russell (eds.). Adelaide, 1996.
- Schlichting, Sullivan 1997 – *F. Schlichting, K.P.H. Sullivan*. The imitated voice – a problem for voice line-ups? // Forensic linguistics. 1997. № 4 (1).
- Sullivan, Schlichting 2000 – *K.P.H. Sullivan, F. Schlichting*. Speaker discrimination in a foreign language: first language environment, second language learners // Forensic linguistics. 2000. № 7(1).
- Tompson 1987 – *C. Tompson*. A language effect in voice identification // Applied cognitive psychology. 1987. № 1.



© 2005 г. В.Ю. ГУСЕВ

**ТИПОЛОГИЯ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ИМПЕРАТИВНЫХ ФОРМ\***

В статье на материале большого количества языков рассматриваются случаи нерегулярных форм императива. Показывается, что нерегулярно в разных языках выражаются в основном одни и те же значения – это, прежде всего, ‘иди сюда’, ‘уйди’, ‘дай мне’ и ‘на, возьми’ во 2-м лице и ‘пойдем’ в 1-м лице мн. ч. Помимо того, что этот список значений постоянен, он специфичен только для императива. Наконец, те же значения характерны для императивных междометий. Объяснять нерегулярность этих значений в императиве предлагается исходя из того, что они представляют собой элементарные способы взаимодействия между двумя людьми: установление контакта, прекращение контакта и передачу некоторого предмета от говорящего к слушающему или наоборот.

**1. ВВЕДЕНИЕ**

Наша статья посвящена встречающимся во многих языках нерегулярным (в широком смысле слова – вплоть до супплетивизма и дефективности) формам императива. Сама по себе формальная нерегулярность, т.е. образование тех или иных форм не по стандартным для данного языка правилам, разумеется, не является чем-то необычным или, тем более, специфичным для императива – нерегулярные (в учебниках чаще называемые “неправильными”) формы можно найти едва ли не в любом языке (хотя языки, очевидно, сильно различаются по количеству имеющихся в них нерегулярных форм). В общем, известны и значения, чаще других использующие нерегулярные формы в своих парадигмах; так, из существительных среди наиболее типичных можно назвать значение ‘человек’, множественное число которого часто бывает супплетивным (ср. хотя бы русское *люди*), а среди глаголов лидером по количеству языков, в которых оно имеет нерегулярную парадигму, по-видимому, окажется значение ‘быть’ (см. [Hippisley et al. 2004: 412–414]), а также, с некоторым отставанием, ‘иметь’, ‘идти’ и др.

Нам известна только одна работа, специально посвященная нерегулярным императивам (в афразийских языках), – это статья Д. Коэна [Cohen 1984] (как мы увидим ниже, результаты Коэна полностью совпадают с нашими, полученными на более широком материале). Между тем, императив в данном отношении интересен в двух – разумеется, связанных – аспектах. Во-первых, формы императива часто бывают единственными нерегулярными формами в парадигме либо (в нерегулярных парадигмах) более нерегулярными, чем прочие формы. Во-вторых, императив имеет свой, особый список значений, которые в разных языках выражаются нерегулярно (отметим, к примеру, что значение ‘быть’ в этот список не входит).

Демонстрации этих двух тезисов и посвящена настоящая работа. Кратко проиллюстрируем их здесь.

\* Статья написана при поддержке гранта РГНФ № 04-04-00111а. Мы выражаем здесь свою благодарность всем, кто помогал нам консультациями по отдельным языкам, – А. Гаспаряну, И. Границу, А.Д. Луцкову, М.Э. Чумакиной.

А. Особое положение императива в парадигме. В венгерском языке значение ‘venige’ (‘идти к говорящему’, ‘идти сюда’)<sup>1</sup> выражается глаголом *jön*, который сам по себе нерегулярен: ср. основы 1 и 2 л. настоящего времени *jöv-*, всех лиц прошедшего времени *jö-tt*, императива/конъюнктива *jöj-j-*. Одновременно с этим во 2 л. и в 1 л. множественного числа императива употребляется супплетивная основа *gyer-*. Как видно, даже в нерегулярной парадигме венгерского глагола *jön* императив выделяется своей “еще большей” нерегулярностью (см. о “большей” или “меньшей” нерегулярности в разделе 2; более подробно о венгерском языке в разделе 3).

Б. Особый список значений, нерегулярно выражаемых в императиве в разных языках. Мы не знаем других граммем (ни глагольных, ни именных), которые типологически были бы похожи в этом отношении на императив, т.е. формировали бы особый типологически устойчивый список значений, для которых они выражаются нерегулярно. Для примера приведем данные из Базы данных по супплетивизму, созданной в университете Суррея ([www.smg.surrey.ac.uk/Suppletion](http://www.smg.surrey.ac.uk/Suppletion); см. об этом проекте [Hippisley et al. 2004: 389–392]). Мы проверили, для каких значений выражаются супплетивно несколько самых распространенных глагольных граммем; результаты приведены в табл. 1 (цифры в скобках указывают количество языков, если их больше одного):

Таблица 1

Прошедшее время	Будущее время	Настоящее время	Отрицание	Императив
быть (5)	быть (4)	быть (7)	быть (4)	venige (5)
идти (2)	давать	venige (2)	находиться/иметь	идти (2)
говорить	говорить	идти	быть тяжелым	быть
делать	приходить	давать		находиться/иметь
намереваться	сидеть	говорить		давать
		сидеть		есть
		смотреть		говорить
				протыкать
				слышать
				пить

В этой базе данных учитываются только супплетивные формы, рассмотренные на материале около 30 языков (причем супплетивизм понимается несколько иначе, чем у нас; см. раздел 2). Тем не менее уже здесь видны различия между императивом и остальными грамматическими значениями, хотя бы на примере “лидеров” – ‘venige’ в императиве vs. ‘быть’ во всех прочих формах.

В разделе 2 мы уточним необходимые понятия и критерии, которыми мы пользовались при отборе материала (в частности, понятия “нерегулярности”, “супплетивизма” и др.). В разделе 3 будет представлен имеющийся у нас материал, полученный на выборке из примерно 200 языков (выборка основана на списке, используемомся в проекте “World atlas of linguistic structures” [Dryer et al. (eds.) 2003], с некоторыми заменами). В разделе 4 мы сведем этот материал воедино и попытаемся дать объяснение полученным результатам.

<sup>1</sup> Здесь и ниже мы пользуемся латинскими глоссами “venige” и “ige” для различения глаголов, означающих движение к говорящему и от говорящего соответственно (как будет видно ниже, их противопоставление важно для нашей темы). Русскую глоссу “идти” мы используем, если рассматриваемый глагол не различает направления движения.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

**2.1. Императивы.** Говоря об императивах, кратко объясним, что именно мы имеем в виду (в более подробном объяснении нет необходимости, поскольку формы, которые будут упоминаться здесь, трактуются как императивные практически всеми исследователями).

Значение императива мы толкуем следующим образом: “говорящий, фактом своего высказывания, пытается каузировать выполнение искомого действия”. Мы оставляем здесь в стороне дискуссионный вопрос о том, следует ли включать в понятие императива формы 3 л., не включающие собеседника в число исполнителей искомого действия (см. дискуссию об этом в [Храковский, Володин 1986: 13–16]); в нашем материале встретились только нерегулярные формы императива 2 л. и 1PI. Более подробно о теории императива и связанных с ним проблемах см. прежде всего [Храковский, Володин 1986; Бирюлин, 1992: 115], а также многие другие работы.

**2.2. Виды нерегулярности.** Под нерегулярностью (неправильностью) в широком смысле мы понимаем любые случаи, когда форма той или иной лексемы образуется не по стандартным для данного языка правилам – вне зависимости от того, уникальна ли в этом отношении данная лексема или существует небольшой и закрытый список других лексем, сходных с данной. (Соответственно, существуют нерегулярные лексемы – те, которые содержат в своих парадигмах нерегулярные формы.) Нерегулярными, например, являются русские глаголы *сесть* (с настоящим временем *сяду*); существуют другие глаголы с таким же чередованием гласной в корне: *лечь – лягу*), *взять* (с настоящим временем *возьму*), *идти* (с прошедшим временем *шел*) и т.д. Строго говоря, нерегулярность, разумеется, – это не свойство формы, а отношение между формами (например, основы *сед-* [*сесть, сел* и т.д.] и *сяд-* [*сяду, сядь* и т.д.] соотносятся между собой нерегулярным образом), т.к. нет разумного способа установить, какую из этих основ следует на синхронном уровне считать исходной, а какую – нерегулярно от нее образованной. Именно такая, более корректная терминология принята, в частности, в упомянутом выше проекте по типологии супплетивности. Однако в случаях, когда форм, образуемых от одной основы или по одному типу, существенно больше, чем форм, образуемых от другой основы или по другому типу, появляется искушение называть нерегулярными только вторые. Так, у русских существительных мужского рода, имеющих нулевое окончание в родительном падеже множественного числа (типа *солдат, ботинок* и др.), только эта последняя форма обычно считается нестандартной<sup>2</sup>. Поскольку, как будет сказано ниже, в этой работе мы рассматриваем только те случаи, когда именно императив отличается от всей остальной парадигмы, подобное не вполне точное, но зато интуитивно очень понятное словоупотребление кажется нам вполне уместным, и мы будем говорить ниже именно о нерегулярных императивах.

Мы различаем три подтипа нерегулярности: собственно нерегулярность (в узком смысле), супплетивность и дефектность.

О нерегулярности в узком смысле (в дальнейшем мы в основном будем употреблять этот термин именно так) мы будем говорить, если основы рассматриваемых форм сохраняют какое-то сходство друг с другом; на деле – когда эти основы этимологически родственны (если, конечно, их этимология вообще известна). Супплетивными мы будем называть этимологические разные основы, “втянутые” в одну парадигму. (О дефектности будет сказано ниже.)

Легко заметить, что наше понимание нерегулярности и супплетивности отличается от принятого – в частности, от классического определения И.А. Мельчука (см., напри-

<sup>2</sup> Для так называемых разносклоняемых глаголов (типа *хотеть*), у которых половина форм настоящего времени образуется по первому спряжению, а половина – по второму, аналогичного решения по понятным причинам не принимается, и нерегулярной считается “вся” лексема.

мер, [Мельчук 2001: 419–445]), который называет супплетивными те формы, соотношение между означающими которых абсолютно уникально для данного языка (а соотношение между означаемыми, напротив, полностью регулярно). Мельчук, последовательно применяя свое определение, считает супплетивными и этимологически родственные формы, фонетическое соотношение между которыми с течением времени стало уникальным [Там же: 423–424]. Для нас здесь, однако, представляют особый интерес случаи выражения императива этимологически неродственными основами; поэтому соотношение между этимологически тождественными, но разошедшимися корнями мы будем считать не супплетивизмом, но “простой” нерегулярностью.

Возвращаясь к приведенному выше венгерскому примеру, заметим, что Мельчук, по-видимому, счел бы в равной степени супплетивными и основу *jöjj-*, и основу *gyer-*. Однако даже если не знать их этимологии, очевидно, что вторая “более нерегулярна”, чем первая, сильнее противопоставлена всем прочим основам этого глагола, чем те противопоставлены между собой. (Можно было бы, разумеется, называть это “большей” и “меньшей” или “сильной” и “слабой” супплетивностью, как делается, например, в [Carstairs-McCarthy 1994: 441].)

Нерегулярность (в узком смысле) может быть очень разной; помимо отличий в основе или нестандартных окончаний это может быть нестандартное чередование, дополнительный аффикс или необычное употребление частиц – любое отличие от стандартных способов образования рассматриваемой формы (в нашем случае – императива), принятых в данном языке. В испанском языке, например, форма императива 1P1 обычно совпадает с 1P1 конъюнктива, и только у глагола *ir* ‘идти’ эта форма совпадает с индикативной – этот случай мы также считаем примером нерегулярности.

Третий подтип нерегулярности – это дефектность. В нашем случае речь идет о глагольных основах, имеющих только императивные формы. Так, например, в корейском языке существует корень *тал-* ‘давать’, образующий регулярные императивные формы *та-о*, *тал-ла*, *та-го* (см. подробнее ниже), но не употребляющийся нигде более; при этом нет другого корня, с которым *тал-* находился бы в дополнительной дистрибуции (в противном случае мы говорили бы о супплетивизме). Такие дефектные основы также достаточно характерны для императива.

Мы считаем, что нерегулярность возрастает – от просто нерегулярных (в узком смысле) форм к супплетивным и от супплетивных к дефектным.

**2.3. Глагольные императивы и императивные междометия.** В связи с дефектными основами возникает проблема разграничения подобных дефектных основ и разного рода междометий с императивной семантикой. Из приведенного выше определения императива никак не следует, что императивы могут быть только глагольными. Междометия типа *вон!* или *на!* также имеют императивную семантику, поскольку произносятся с целью каузировать слушающего совершить определенное действие (в данном случае – уйти или взять что-либо). Часто такие междометия имеют и глагольные черты. Так, *на* имеет множественное число *нате* и может управлять прямым объектом (*на ложку*); с другой стороны, *на* не может, например, сочетаться с субъектным местоимением (\**ты на* в отличие от *ты возьми*).

Отсюда видно, что четкой грани между дефектными глагольными императивами и императивными междометиями провести невозможно. С другой стороны, проводить ее и не следовало бы, поскольку – что очень важно – список возможных значений императивных междометий в общем совпадает со списком возможных значений нерегулярных (в широком смысле, в том числе и дефектных) императивов; достаточно сравнить значения русских императивных междометий со списком значений нерегулярных императивов, приведенным в разделе 4 этой статьи. Императивные междометия можно рассматривать как крайний случай нерегулярности, как дефектные императивы, у которых нет не только остальной части парадигмы, но и большинства или вообще никаких глагольных признаков.

Однако не для всех языков у нас есть полный список императивных междометий. В основном по этой причине здесь мы ограничиваемся рассмотрением только гла-

гольных императивов, отделяя их от междометий по наличию специфически глагольных черт – таких, как изменение по лицам и числам или способность сочетаться с прямым дополнением. Так, мы исключаем из рассмотрения русское *эй!*, однако включаем форму со сходным значением в языке лахота (см. в разделе 3). Повторимся, что подобные решения всегда в большой степени условны.

**2.4. Принципы отбора материала.** При отборе материала мы руководствовались следующим основным принципом: императивные формы, которые мы включаем в наш список, должны быть более нерегулярны, чем все прочие формы того же глагола; иными словами, они должны быть формально противопоставлены всей остальной парадигме. Это могут быть единственные нерегулярные формы во всей парадигме; либо, если другие формы также нерегулярны, императивные должны отличаться от них каким-либо дополнительным свойством (например, дополнительным чередованием) или быть единственными супплетивными; наконец, они могут иметь какие-то отличия в употреблении (в разделе 3 есть примеры на все эти типы). Поэтому, например, мы не рассматриваем здесь формы типа русского *сядь* или венгерского *jöjj* ‘иди сюда’: они, несомненно, нерегулярны, но не в большей степени, чем другие формы тех же глаголов. Напротив, венгерские формы от основы *gyer-* включаются нами в рассмотрение, потому что они противопоставлены всей остальной парадигме.

### 3. НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ФОРМЫ ИМПЕРАТИВА

Нерегулярные (в широком смысле) формы императива настолько разнородны в различных языках, что представляется интересным привести целиком весь имеющийся у нас материал.

**Арабский (Марокко)** [Caubet 1993: 89]: глагол *ža* ‘venire’ имеет нерегулярные императивные формы 2Sg.m *āži*, 2Sg.f *āži*, 2Pl *āžiw*. Про две другие основы (2Sg.m *āra*, 2Sg.f *āre*, 2Pl *āraw* ‘давать, передавать’ и 2Sg.m *sir*, 2Sg.f *siri*, 2Pl *siru* ‘уходить’) говорится, что они не имеют не-императивных форм. Показатели рода и числа во всех случаях регулярны.

**Армянский** ([Козинцева 1992: 131] и А. Гаспарян, личн. сообщ.): основа *gal-* ‘venire’ образует супплетивные формы 2Sg императива *ari* и *ek* (вторая – диалектная). 2Pl имеет только один вариант – *ekək* (с регулярным суффиксом 2Pl императива *-ek*). Регулярного императива от основы *gal-* не образуется. Помимо этого, не вполне регулярным образом образуются императивы от глаголов ‘взять’, ‘положить’, ‘встать’, ‘есть’, ‘оставить, пустить’, ‘идти’, ‘смотреть’ и др.

**Бразильский** [W. Jones, P. Jones 1991: 39]: существует форма *ita* (помещенная самими авторами в раздел, посвященный междометиям): “*Ita!* ‘let’s go!’ is an imperative interjection used when the speaker expects the hearer to begin to go before him”.

**Буршаски** [Lorimer 1935: 291]: имеется несколько дефектных императивных основ: а) *ga*, мн. ч. *gai.in* ‘возьми’; б) *ya*, *yaiye*, мн. ч. *ya<sup>∇</sup>.in*, *yai.in* ‘замолчи’; в) *lčo*, мн. ч. *lčo.in*, *ačo<sup>∇</sup>.in* ‘подожди’ (на самом деле это основа существительного со значением ‘delay, time’, которая в этом значении может присоединять суффикс императива мн. ч. *-in*); г) *go<sup>∇</sup>.n*, *go<sup>∇</sup>.in*, *gun*, *go<sup>∇</sup>.na* с не вполне ясным значением; употребляется только во множественном числе, в примерах переводится как ‘идите’ или ‘пойдемте’.

**Вардман** [Merlan 1994: 181–183]: глагол со значением ‘дать’ – единственный, который при наличии адресата не-третьего лица не имеет особой формы императива; вместо нее употребляется настоящее время (т.е. не существует формы ‘дай мне’; вместо нее используется ‘ты мне даешь’).

**Вари** [Everett, Kern 1997: 38]: нормально глагольная форма образуется сочетанием основы и показателя лица-числа-времени. Единственный случай, когда основа и суффикс стягиваются, – это форма *taji* (из основы *tama* ‘идти + мн. ч. субъекта’ и суффикса *-xi* ‘1Pl.incl, “реальное будущее время”’). Форма означает ‘пойдем’.

**Венгерский** [Lotz, 1939: 142; Балашша, 1951: 273, 279]: глагол *jön* ‘venire’, наряду с императивной основой *jöj-j-*, имеет супплетивные формы 2Sg *gyere*, 2Pl *gyer-tek*,

1PI *gyer-ünk*. Окончания 2PI и 1PI регулярны. Конечное *-e* в 2Sg *gyere*, по-видимому, является частью основы, которая выпадает в других формах (такое выпадение уникально для императивных форм; впрочем, существует устаревшая или диалектная форма *jer* без конечного *-e*). Эти формы также не имеют обычного суффикса императива *-j*.

Й. Лотц приводит еще несколько “диалектных или детских” нерегулярных императивных форм: *no-sza* ‘давай!, вперед!’, *ad-sza* ‘дай ему!, врежь!’, *ne-sze* ‘на!, возьми!; ешь!’, *ne-sz-tek* “то же” для мн. ч., *jer-sze* ‘иди сюда!’, *jöszte* ‘иди сюда!’, *ládd* ‘смотри!’. Формы на *-szal/-sze* образованы от междометий *no* ‘ну’ и *ne* ‘на’, глагольного корня *ad-* ‘давать’ и упоминавшейся выше основы *jer-/gyer-*. Суффикс *-szal/-sze* восходит к показателю 2Sg индикатива *-sz* + указательное местоимение *e(z)* ‘этот’, с дальнейшей сингармонизацией (см. [Benkő 1993, s. v. *ne, noszal*]; там же упоминаются еще некоторые глаголы, употребляющиеся с этим суффиксом). *Jöszte* образовано из 2Sg индикатива *jössz* ‘ты идешь сюда’ плюс *-te* – вероятно, также указательная частица. *Ládd* – просто ассимиляция из регулярной формы 2Sg объектного спряжения *lás-d* ‘посмотри на это’.

Й. Балашша упоминает формы *ered-j* ‘иди, убирайся!’, *ered-je-tek* то же для мн. ч.; эти две формы сами по себе полностью регулярны, но основа не употребляется нигде более.

Г р у з и н с к и й [Vogt 1971: 196]: у всех глаголов императив равен 2 л. аориста или субъюнктива, отличаясь только интонацией: *dač'ere* ‘ты написал это; напиши это’. Только у корня *ved-/vid-* ‘venire’ есть собственные формы императива, ср. 2Sg аориста *moxvedi* vs. 2Sg императива *modi* (< \**mo-ved-i*); 2PI аориста *moxvedit* vs. 2PI императива *modit* (< \**mo-ved-i-t*). То же у приставочных глаголов с этим корнем: *čamodi* ‘спускайся сюда’, *gamodi* ‘выходи’.

З у л у [Doke 1927: 154; van Eeden 1956: 240]: односложные глаголы образуют императив 2Sg префиксацией *yi-* либо (реже) суффиксацией *-na*; формы 2PI добавляют суффикс *-ni*. Глагол *-za* ‘venire’, наряду с правильными, но неупотребляемыми формами *yiza, zana*, имеет нерегулярные формы 2Sg *woza*, 2PI *wozani* ‘иди(те) сюда!’. С отрицанием эта основа не используется – прохибитивная конструкция образуется, как и от прочих глаголов, вспомогательным глаголом *musa* + инфинитив: *musa(ni) ukuza* ‘не приходи(те)’<sup>3</sup>.

И г б о [Green, Igwe 1963: 68–73]: специализированные императивные формы без суффиксов и без объектных местоимений звучат грубо; исключения составляют несколько глаголов: ‘ire’, ‘venire’, ‘сказать’, ‘показать’, ‘смотреть’, ‘входить; схватывать’.

И р а к в [Mous 1992: 165]: две основы имеют особенности в образовании императива. Основа *qwal-* дефектная, употребляется только в императиве 2 л. и 1PI и означает ‘иди(те) сюда’ и ‘пойдем’. Основа *xaw-* ‘venire’ образует императив 2Sg нерегулярно, с показателем прямого объекта *-eek*: *xaweeek*, хотя сам глагол, разумеется, непереходный.

И с п а н с к и й: императив 1PI всегда совпадает с соответствующей формой настоящего времени конъюнктива (*presente de subjuntivo*). Единственное исключение – глагол *ir* ‘идти’, 1PI императива от которого равно настоящему времени индикатива: *vamos!*

К а н н а д а [Sridhar 1990: 31–32, 238]: глаголы *bar-* ‘venire’, *tar-* ‘принести’ и некоторые другие (к сожалению, не перечисленные в грамматике) имеют нерегулярные императивы: *ba:* (2Sg), *banni* (2PI) ‘иди(те) сюда’, *ta:*, *tanni* ‘принеси(те)’.

К а п а у [W. Oates, O. Oates 1968: 47–50]: есть небольшие нерегулярности в образовании императивных основ от глаголов ‘come’, ‘put bark cape on’, ‘come by going level’, ‘come by going up’ и ‘come by going down’.

<sup>3</sup> В зулу есть еще глагол *-fika*, также означающий движение к собеседнику; императив от него регулярен (*fika!*) и менее употребителен, чем от *-za*. Последнее, вероятно, объясняется разницей в значении: *fika* имеет более общее значение ‘прибывать’, ‘приезжать’ и т.д., в то время как *-za* значит скорее ‘подходить’ (А.Д. Луцков, личн. сообщ.).

Ко а с а т и [Kimball 1991: 292, прим. 2]: глагол *há:lon* 'to hear, to listen' имеет супплетивный императив *máh* 'listen!'; последняя форма не имеет показателей лица.

К о б о н [Davies 1981: 23]: два глагола образуют императив не вполне обычным образом: *ar* 'go' всегда употребляется с указательным маркером *-u* 'there', а *au* 'come' требует звательной частицы *-e*. Мы не видим здесь неправильной или супплетивной основы, или особого показателя императива, но отклонения в образовании императивных форм у этих двух глаголов очевидны.

К о р е й с к и й [Холодович 1954: 132–133]: “интимный”<sup>4</sup> императив образуется суффиксом *-ra*. Однако шесть глаголов, а именно *ка-да* ‘идти’, *на-да* ‘появляться’, *ча-да* ‘спать’, *ант-та* ‘садиться’, *нуп-та* ‘ложиться’, *ит-та* ‘быть’, а также сложные с ними, образуют эту форму с помощью суффикса *-кэра*<sup>5</sup>: *ка-гэра* ‘иди!’, *ит-кэра* ‘будь!’ и т.д. *Ант-та* ‘садиться’ и *нуп-та* ‘ложиться’ допускают также регулярное образование: *анк-кэра* // *анчжа-ра* ‘садись!’, *нуп-кэра* // *нуэ-ра* ‘ложись!’<sup>6</sup>.

Также нерегулярен глагол *о-да* ‘venire’ (и сложные с ним): он принимает суффикс *-нэра*: *о-нэра* ‘приходи!’.

Хотя регулярный суффикс *-ра* образует как 2 л., так и 3 л. императива, его нерегулярные корреляты используются только во 2 л.; 3 л. образуется регулярно: *ка-ра(го)* ‘скажи, чтобы шел’, *о-ра(го)* ‘скажи, чтобы пришел’ и т.д.

Наконец, существует основа *тал-* ‘дать’, употребляемая только в императиве для 2-й (“вежливой”) и 4-й (“интимной”) ступеней вежливости: *та-о* (2-я ступень), *тал-ла* (4-я ступень).

К р о н г о [Reh 1985: 198]: глагол ‘идти’, нормально имеющий основу *-уа́áw*, по крайней мере в одной из императивных форм выглядит как *-ín*.

К у н а м а [Bender 1996: 34–35]: два глагола, со значениями ‘входить’ (‘enter’) и ‘идти туда’ (‘go there’), имеют супплетивные формы императива. У глагола ‘venire’ императив нерегулярный (но, насколько можно понять, не супплетивный<sup>7</sup>).

Л а х о т а [Boas, Deloria 1941: 112]: основа *ho* употребляется только с императивными показателями для “привлечения внимания” (“in calling attention of someone”). Императивные показатели (частицы) в лахота различаются в зависимости от пола говорящего, числа субъекта и характера повеления (приказ, разрешение, мягкий императив [Там же: 111]). Интересно, что *ho* употребляется и с частицей приказа (*ho' na* ‘very well!’, в женской речи), и с частицей разрешения (*ho' ye* ‘now then!, very well!’, также в женской речи); о различии в значении, если таковое существует, в грамматике ничего не говорится. Сами императивные показатели, употребляемые с *ho*, стандартны, за тем исключением, что показатели разрешения в женской речи, в отличие от сочетаний с прочими глаголами, не различают числа субъекта.

<sup>4</sup> В корейском языке различается пять степеней вежливости: от первой, наиболее почти-тельной, до пятой, допустимой только между детьми, а во взрослой речи оскорбительной (см. [Холодович 1954: 119–120]). “Интимной” называется четвертая, предпоследняя ступень, используемая в семейном кругу при обращении старших к младшим или хозяев к прислуге. Императив именно этой ступени обнаруживает наличие нерегулярных форм; эта же форма используется для образования 3 л. императива [Там же: 132].

<sup>5</sup> Этот суффикс имеет еще одну функцию. Форма прошедшего времени на *-ат* от глаголов *ант-та* ‘садиться’, *нуп-та* ‘ложиться’ и *со-да* ‘вставать’ имеет значение результирующего состояния соответствующего действия (‘сидит’, ‘лежит’ и ‘стоит’ соответственно; см. [Холодович 1954: 96–97]); *-кэра* может присоединяться к форме прошедшего времени от этих глаголов, обозначая ‘сиди!’ (*анчж-ат-кэра* в отличие от *анк-кэра* // *анчжа-ра* ‘садись!’), ‘лежи’, ‘стой’ соответственно.

<sup>6</sup> Различия в основе закономерны.

<sup>7</sup> Если это действительно так, то перед нами едва ли не единственный известный нам случай, когда глагол со значением ‘venire’ менее нерегулярен в императиве, чем другие глаголы.

Лезгинский [Haspelmath 1993: 129]: пять производных глаголов и четыре производных от них имеют супплетивные императивы (слева – форма масдара, от которой у регулярных глаголов образуется императив; справа – форма императива):

(1) лезгинский

<i>atu-n</i>	<i>ša</i>	'come'	<i>xtu-n</i>	<i>q<sup>h</sup>ša</i>	'come back'
<i>awu-n</i>	<i>aja</i>	'do'	<i>q<sup>h</sup>uwu-n</i>	<i>q<sup>h</sup>ija</i>	'do again'
<i>fī-n</i>	<i>alad</i>	'go'	<i>q<sup>h</sup>fī-n</i>	<i>q<sup>h</sup>wač</i>	c'go back, go away'
<i>gu-n</i>	<i>ce</i>	'give'	<i>wugu-n</i>	<i>gece</i>	'give (temporarily)'
<i>t'ü-n</i>	<i>ne?</i>	'eat'			

Еще ряд глаголов имеют разного рода неправильности в образовании императива; это глаголы со значениями 'attach', 'put under', 'leave', 'put', 'see', 'pull', 'take', 'die', 'hold', 'bring', 'bring back', 'say', 'carry', 'throw', 'sprinkle', 'become cold'. Другие времена и наклонения, насколько можно судить по описанию, не имеют такого количества нерегулярных форм.

Лу в а л е [Horton s. a.: 115]: существуют два дефектных императива со значениями 'come' и 'greetings to one who has just been seated'; оба регулярным образом различают ед. и мн. ч., что дает основания трактовать их как морфологические императивы.

Л а т ы ш с к и й [Endzelin 1922: 687]: в диалектах имеется несколько императивов, представляющих собой стяжения собственно глагольной формы и указательной частицы. Это (употребляющееся наряду с регулярной формой *nāc* *nāč* 'иди сюда' из *nāču* < *nāc šu[r]*) (*šur* 'сюда', ср. с. 478 той же работы); *duč(u)* 'дай (сюда)' из \**duoču* < *duod šu[r]*. В памятниках засвидетельствована форма *neš* 'неси сюда' из *nes šī*; на ее основе была образована форма 2Pl *nešet*.

Л е а л о ч и н а н т е к [Rupp 1989: 94]: к основе 1Pl инклюзива присоединяется специализированный префикс. Этот "префикс" может употребляться отдельно и значить 'let's go' или 'let's do it' ("in which case the injunction is to motion or to a known activity").

М о н г о л ь с к и й [Кузьменков 1992: 76]: есть два слова, которые по традиции называют частицами, но которые употребляются как императивы и, в частности, могут сочетаться с прямым дополнением. Это *май* 'на(те), возьми(те)' и *аль* // *алив* 'дай(те) мне'. От регулярных императивов от основ *ав-* 'взять' и *өг-* 'дать' они отличаются, во-первых, "грубостью", а во-вторых, тем, что одним из участников ситуации обязательно должен быть говорящий (т.е. эти формы могут означать только 'возьми у меня' и 'дай мне')<sup>8</sup>.

М у р л е [Arensen 1982: 74]: два глагола, 'venire' и 'ire', имеют супплетивные императивы, ср.:

(2) мурле

а. <i>ija!</i>	vs. <i>k-a-kun</i>
venire.Imp	1Sg-Imperf-venire
'иди сюда!'	'я прихожу'
б. <i>bitə</i> // <i>ээтэ</i>	vs. <i>k-a-kə</i>
ire.Imp.Sg // ire.Imp.Pl	1Sg-Imperf-ire
'иди!'	'идите!'
	'я иду (ухожу)'

Как видно, глагол 'ire' также имеет разные основы для единственного и множественного числа субъекта. Из описания не ясно, насколько характерен такой супплетивизм и членятся ли как-нибудь формы *bitə* и *ээтэ*. Форма *ija*, как любой императив 2Sg в этом языке, представляет собой чистую основу.

Н а х у а т л ь [Tuggy 1979: 32, 83, 109–110]: глагол *-уа* 'идти' имеет нерегулярную основу *-wiya* в императиве. Кроме этого, некоторые глаголы могут использовать в каче-

<sup>8</sup> Они могут заменять *ав-* и *өг-* и в составе аналитических глагольных форм, ср. *унишж өг* 'прочти кому-то' и *унишж аль* 'прочти мне' [Там же].



стве императива 2 л. чистую основу (нормально императив 2 л. образуется от основы субъектива префиксом *xi-*). Эти глаголы, к сожалению, не перечислены, указан лишь один – *wala* ‘venire’. Подобные формы используются “especially when somewhat exasperatedly addressing a child” (форма *wala!* переведена как ‘С’т’ере!/С’мон!’).

Н г и й м б а а [Donaldson 1980: 158]: нерегулярно образуются императивы от основ со значением ‘есть’, ‘делать’, ‘ходить’.

Н и в х с к и й ([Панфилов 1962: 133], см. также [Груздева 1992: 62–63]): существуют формы *t’ana* ‘дай’, *t’ana-wə* ‘дайте’. Более нигде основа *t’ana-* не употребляется; *-wə* – регулярный суффикс 2PI императива, однако форма ед. ч. не имеет обычного императивного показателя 2Sg *-ya*. Помимо этого, существует форма *ta* ‘возьми’ (по-видимому, только ед. ч.), также не имеющая императивных показателей. В.З. Панфилов особо отмечает, что все три формы “могут иметь синтаксические связи в составе предложения и выступать в качестве его члена”, чем и отличаются от междометий:

(3) нивхский

а. <i>T’ый</i>	<i>ōla</i>	<i>t’ana.</i>
снова	ребенок	дать.Imp
‘Дай мне (снова) детеныша’.		
б. <i>Zoia!</i>	<i>Tux</i>	<i>ta.</i>
Зоя	топор	взять.Imp
‘Зоя! Топор возьми’.		

[Панфилов 1962: 132]

Новогреческий [Joseph, Philippaki-Warburton 1989: 15–17, 183]: императив 1PI образуется формой индикатива плюс одна из двух частиц – *va* или *as* (эта же конструкция возможна для всех прочих лиц). Единственный глагол, который не требует обязательного наличия частицы, – глагол ‘идти’: индикативная форма *poče* может означать как ‘мы идем’, так и ‘пойдем!’. Частица может отсутствовать только в утвердительных императивных конструкциях; при отрицании она обязательно присутствует, как и у прочих глаголов.

Н у б и й с к и й [Arnbruster 1960: 246]: две основы встречаются только в формах императива – *ǰibéd* ‘идти’ (причем только в сочетании с местоимением *áigonon* ‘со мной’) и *isa* ‘брат’. Обе основы образуют формы 2PI императива с регулярным суффиксом *-we*.

Н у н г г у б у й ю [Heath 1984: 343–344]: специализированный императив в языке вообще отсутствует. Единственное исключение составляют формы со значением ‘venire’, ср.:

The only explicitly Imperative forms in the language are forms with a 2Sg or other 2nd person pronominal prefix plus /=ani-n’/ (Punctual) or /=ani:-na/ (Continuous) ‘come!’. This is a defective root used only in imperative sense, hence only in these (Future Positive) inflected forms. (Outside of the imperative there is no verb ‘to come’, this notion being expressed by the general motion verb /=ya/ and its variants, plus an appropriate adverb.) ...

The dual forms (этого глагола. – В.Г.) are phonologically irregular ... This phonological irregularity highlights the rather frozen status of these ‘come’ imperatives.

With the exception of ‘come’, no verb formally distinguishes its imperatives from ordinary Future forms (подчеркнуто Дж. Хитом).

Эта же основа употребляется в значении императива 1PI и 3 л., а также с отрицанием [Heath 1984: 343–344].

Р а м а [Grinevald, s.a.: гл. 10, с. 2, 4]: глагол *taak* ‘go’<sup>9</sup> имеет супплетивную императивную форму *bang* // *mang* (свободные варианты). Это же касается производного от него глагола *yu-taak* ‘брат’ (букв. ‘идти с’): императив *yu-mang* ‘возьми!’.

<sup>9</sup> В приводимых примерах этот глагол обозначает именно движение от говорящего.

Существуют также две формы: *apai* и *ngarang*; обе могут употребляться изолированно, означая 'пойдем'. Специально отмечается, что *apai* и *ngarang* могут относиться только к 1 л. мн. ч.

Русский литературный язык не имеет нерегулярных императивных форм, однако его диалектные и просторечные варианты демонстрируют как минимум одну такую форму – это *айда* (с более редким множественным числом *айдате*), означающая 'иди сюда' или 'идем'<sup>10</sup>.

Суахили [Loogman 1965: 194]: три глагола имеют неправильные формы императива: *lete* (2Pl *leteni*) 'приносить', *nenda* (2Pl *nendeni*) 'иде', *njoo* (2Pl *njoni*) 'вениге'. Императив в суахили употребляется только для категорического повеления, нормально для выражения повеления используется субъонктив; лишь формы трех перечисленных глаголов широко употребляются и не имеют категорического оттенка (ср. выше про игбо).

Супире [Carlson 1994: 520–521]: некоторые "очень употребительные" глаголы, в том числе 'приходить', в имперфективном императиве могут (хотя не должны) употребляться без показателя имперфективного императива:

(4) супире

*Má!*

come.Impf

'Come!'

Возможно также:

*Ta*

Imp.Impf

'Come here, please!'

*ma*

come.Impf

*náhá!*

here

Какие еще глаголы могут так употребляться, в грамматике не сказано.

Табан [Bowden 1997: 418–425]: язык не имеет особой формы императива; нормальный способ выразить повеление – это просто употребить активную форму глагола. Однако существует один глагол, который употребляется только в императивных конструкциях: это *mo* 'come here!' (ср. выше о нунггубуйю).

Тамазигт [Loubignas 1924: 158–159]: форма 2Pl м. р. императива образуется прибавлением к основе одного из двух суффиксов: *-aï* и *-iu*. Первый употребляется с абсолютным большинством глаголов; второй – лишь с несколькими глаголами и императивными частицами ("termes impératifs"), а именно с глаголами 'вениге', 'вставать', 'снимать лагерь' (с последним – спорадически) и с частицами *đri* 'быстрее!' ('fais vite'; 2Pl.m *đriu*), *arra* 'дай' (из арабского; 2Pl.m *arriu*) и *ïallah* 'пошли' (также из арабского; 2Pl.m *ïallhiu*). Формы женского рода множественного числа образуются в соответствии с мужским: суффиксом *-(e)nn* при *-aï* в мужском и *-inn* при *-iu* в мужском.

Хайда [Swanton 1969 (ed.): 250–251]: примеры на форму *hala'*, которая трактуется как междометие, но используется как императив со значением 'иди сюда'.

Хакалтек [Day 1973: 32]: глагол *tita* 'вениге' имеет супплетивную форму императива *cata*.

Харароромо [Owens 1985: 67]: глагол 'вениге' имеет супплетивную основу *xoot-*: 2Sg *xoot-uu*, 2Pl *xoot-aa* (окончания регулярны).

Хуса [Смирнова, Добронравин 1992: 179, сн. 3]: одним из способов выражения императива, в том числе в 2Sg, является использование субъонктивных форм, включающих показатель времени-наклонения и лица-числа-рода субъекта, например, 2Sg *tafi //*

<sup>10</sup> По М. Фасмеру, это заимствование из татарского *aida*, *äidä* 'понукающий, подгоняющий окрик' ([Фасмер 1986–1987, I: 64], ср. также [Аникин 2000: 78]). Форма *ajda* именно в значении 'пойдем' или 'иди сюда' распространена во многих тюркских и других языках Поволжья и соседних районов, в частности, в чувашском, удмуртском и др.

*ka tafi* (м. р.) // *ki tafi* (ж. р.) ‘иди’. Этот показатель всегда стоит перед глаголом, за одним исключением: с глаголом *je* (форма от основы *za* ‘venire’) порядок может быть нарушен: *je ka* ‘иди’.

Х и ш к а р ь я н а [Derbyshire 1979: 17–18]: существуют дефектные формы для значения ‘пойдем!’: *ipaha* (для одного адресата)/*ipatxowi* (для многих адресатов). Регулярные формы 1PI императива от глагола ‘идти’ также возможны, но употребляются реже.

Ч а л к а т о н г о м и ш т е к [Macaulay 1996: 134–136]: основа *kii*- ‘venire’, наряду с регулярной формой, имеет (только в положительном императиве) супплетивную форму *ñá ÿá*. Также супплетивные формы имеют глаголы ‘брать’ и ‘приносить’. Кроме этого, оба глагола со значением ‘ire’ (‘идти в определенном направлении’ и ‘идти в неопределенном направлении’) в императиве принимают высокий тон; насколько можно судить, нигде больше в глагольной системе такое чередование тонов не засвидетельствовано. Наконец, существует особая форма *čó?o* ‘let’s go’. Она может употребляться отдельно, означая ‘пойдем’ или вместе с другим глаголом, означая, по удачному выражению автора грамматики, “a generic hortative”, и может сокращаться до *čó*.

Э к а р и [Drabbe 1952: 62]: нерегулярный императив имеет глагол ‘venire’ (‘komen’).

Ю ч и [Wagner 1933–1938: 354]: императив 1PI нормально образуется префиксом 1PI инклюзива, основой и суффиксом *-wɔ* (употребляется для императивов 1 и 3 л.), ср. форму *ɔ-la-wɔ* ‘давай поедим’, где *ɔ* – префикс 1PI.incl, *-la-* – основа глагола ‘есть’. Есть, однако, неправильная форма *nɔ-fe’-nə* ‘пойдем’; здесь *-fe-* – регулярная основа глагола ‘идти’ для мн. ч. субъекта; *nɔ-* – префикс 1PI эксклюзива (тем не менее, форма употребляется, насколько можно судить, инклюзивно), суффикс *-nə* автору грамматики неясен.

#### 4. ВЫВОДЫ

**4.1.** Всего нерегулярные императивные формы засвидетельствованы в 46 языках нашей выборки, что составляет 23 процента имеющегося у нас материала. Поскольку разного рода нерегулярные, супплетивные или дефектные формы обычно фиксируются в описаниях, можно предполагать, что эта цифра достаточно близка к действительности. 23% – достаточно большая доля, учитывая, что другие глагольные граммемы не обнаруживают подобной склонности к нерегулярности (во всяком случае, нам неизвестно, чтобы какие-либо временные, аспектуальные или лично-числовые формы в разных языках оказывались нерегулярными с таким же или большим постоянством).

Формальные типы нерегулярности разнообразны. Помимо дефектных и супплетивных основ, собственно нерегулярные формы могут являться результатом стяжения основы и суффикса либо всей формы целиком с указательной частицей; могут требовать особого императивного показателя или допускать его опущение; наконец, отличия могут заключаться в употреблении (как в суахили и игбо, где только некоторые глаголы могут использоваться в императиве для нормального, не слишком категорического повеления). Однако несмотря на формальное разнообразие, значения глаголов, которые в императиве оказываются нерегулярными, оказываются одними и теми же.

В приводимой ниже табл. 2 показано, в каком количестве языков то или иное значение выражается нерегулярной, супплетивной или дефектной формой. Мы не учитываем значения, выражаемые нерегулярными, дефектными или супплетивными формами в одном или в двух языках нашей выборки (т.е. не более, чем в одном проценте языков; такая нерегулярность может быть случайностью). Если в каком-либо языке то или иное значение разбивается на несколько и выражается разными глаголами (как, например, в капау ‘come’, ‘come by going up’, ‘come by going level’ и ‘come by going down’), мы считаем их все за одно значение (‘venire’ в нашем случае). Также не учитываются производные от нерегулярных глаголов, если они сохраняют эту нерегулярность (как *yutaak*, императив *yutang* ‘брать’ в рама, который является производным от *taak*, императив *mang* ‘идти’). Если же нерегулярный глагол имеет несколько значений, он учитывается соответственно несколько раз.

Значения	Нерегулярные формы	Супплетивные формы	Дефектные формы	Всего	В %
'venire'	16	9	6	31	15,5
'ire'	6	3	2	11	5,5
'идти' <sup>11</sup>	2	2		4	2
'давать'	2	1	5	8	4
'брат'	2		5	7	3,5
'принести'	4			4	2
'есть'	2	1	1	4	2
'смотреть'	4			4	2
'пойдем'	3	1	11	14	7

Мы видим, что при всем формальном разнообразии нерегулярных императивов почти в двухстах рассмотренных языках, значений, которым свойственна нерегулярность в императиве, совсем немного.

Несомненным "лидером" является значение 'идти к говорящему'. В 15,5% случаев форма, означающая 'иди сюда', в той или иной степени нерегулярна. При этом во многих языках формы со значением 'иди сюда' – наиболее нерегулярные среди императивных форм: это либо просто единственный нерегулярный императив в языке (как, например, в экари), либо единственный супплетивный (как в харар оромо или в венгерском), либо, как в корейском, он нерегулярен "в той же степени", что другие глаголы, но "по-другому" (подавляющее большинство глаголов образуют императив с суффиксом *-ра*, несколько – с суффиксом *-кэра*, и только глагол со значением 'venire' требует суффикса *-нэра*). В грузинском, нунггубуй и таба 'иди(те) сюда' – вообще единственные специализированные императивные формы в языке.

Прочие значения следуют за 'venire' с большим отрывом. Антонимы 'venire', глаголы со значением 'ire', нерегулярны в 5,5% языков. Есть, кроме этого, глаголы 'идти' (все-го три языка), которые, возможно, на самом деле распределяются между 'venire' и 'ire'.

Значение 'смотреть' оказалось нерегулярным всего в четырех языках (во всех случаях это простая нерегулярность, не супплетивность или дефектность). Однако еще в одном языке (в коасати) есть супплетивная форма глагола 'hear, listen', а в описании лахота говорится про дефектную основу, которая употребляется "in calling attention of someone". Речь идет на самом деле о двух близких значениях – о привлечении внимания слушающего к самому говорящему или к какому-то объекту, на который указывает говорящий. Разумеется, это то же значение, что у русского *эй*, которое по формальным причинам мы считаем междометием, а не императивной формой (см. пункт 2.3), и у подобных частиц в других языках. Объединив эти формы в один класс, мы получим шесть языков (3%), которые используют нерегулярную глагольную форму императива для привлечения внимания собеседника, плюс неизвестное нам число языков, имеющих предназначенные для этой цели междометия<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Напомним, что в значение 'идти' попали глаголы, которые не различают движение к и от говорящего. Сюда же могли попасть и глаголы, различающие направление движения, – вследствие недостатка имеющейся у нас информации.

<sup>12</sup> Сюда же можно добавить и русское *глянь*. Объединение двух указанных значений в одно является на самом деле огрублением реальной картины, но оно основано на общности их основного компонента – привлечения внимания слушающего.

Также близки значения ‘дай’ (4%) и ‘принеси’ (2%) – в некоторых случаях можно предположить, что перед нами просто разные переводы означающих одно и то же форм.

Императив от ‘брать’ выражается нерегулярно в семи языках (3,5%). Однако здесь опять же следует учитывать многочисленные междометия типа русского *на*. Это формы, которые произносятся в момент передачи предмета от говорящего слушающему, как сопровождение жеста передачи.

4.2. Нерегулярные формы 1PI встречаются в 14 языках (7% от выборки). Примечательно, что все эти формы имеют одно и то же значение – ‘пойдем’; кроме того, среди них очень велика доля дефектных основ. Заметим, что мы не включаем сюда устойчивые и идиоматические конструкции с тем же значением – такие, как английское *off we go* или французское *on y va*; такие конструкции также весьма распространены, и общее количество языков, так или иначе выделяющих это значение, существенно больше семи процентов.

Отметим также, что формы со значением ‘пойдем’ часто грамматикализуются как показатели 1PI императива, безотносительно к значению глагола; см. хотя бы в разделе 3 про чалкатонго миштек. Еще один пример мы находим в цахурском: значение императива 1PI (“гортатива”) выражается формой потенциалиса, которая в этом значении часто употребляется с частицей *dora*; та же частица может употребляться самостоятельно в значении ‘пойдем’ и, более того, имеет явное сходство с императивами от глаголов ‘ire’ и ‘venire’ [Кибрик (ред.) 1999: 285].

4.3. Для описания круга значений, нерегулярно выражаемых в императиве, удобно использовать понятие “прототипической ситуации” использования языка – ситуации диалога, в котором участвуют только два человека, говорящий и слушающий, которые переговариваются без применения каких-либо технических средств (т.е. находятся в одном и том же месте). Если верно, что нерегулярными, как принято считать, бывают наиболее частотные формы, то оказывается, что типичными действиями, выполнения которых говорящий может потребовать от слушающего, являются: подойти, уйти, дать что-либо, взять что-либо, обратить внимание на говорящего или на какой-либо объект, указанный говорящим. Учитывая, что в прототипической ситуации говорящий и слушающий должны находиться вместе, приход собеседника равнозначен установлению контакта, а уход означает его прекращение. Получается, что нерегулярные императивы соответствуют самым элементарным типам взаимодействия между двумя людьми: это установление контакта (сюда же относятся формы привлечения внимания), прекращение контакта и передача некоторого объекта от слушающего говорящему или наоборот<sup>13</sup>.

Неожиданным выглядит присутствие в списке нерегулярных императивов значения ‘ешь!’. В качестве гипотезы можно предположить, что если передача чего-либо от говорящего слушающему является одним из типичных случаев их взаимодействия, то эта – это типичный объект передачи. Иными словами, *ешь!* – это частный, но при этом наиболее важный частный случай *на!*, и эта форма сопровождает “угощение” собеседника. Ср. венгерское *nesze*, которое означает и ‘на!’, и, более узко, ‘ешь!’. Это предположение находит подтверждение на совершенно ином материале. Анализируя выражение категории притяжательности в древнеиндийской традиции, В. Н. Топоров приходит к выводу, в частности, что «еда, пища выступает как первый элемент в том ряду “присвоенных ценностей”, где далее появляются недвижимая собственность – дом, земля; движимая собственность – скот, средства передвижения; дети, семья, род, племя, народ; мысли, чувства, желания и т.д.» [Топоров 2004: 167 и др.]. Если пища – это прототипический объект обладания (поскольку она теснее всего “присваивается” –

<sup>13</sup> Ровно об этих четырех основных значениях – ‘иди сюда’, ‘дай’, ‘возьми’ и ‘уйди’ – в африканских языках говорит Д. Козн в упоминавшейся выше работе, см. [Cohen 1984].

съедается), то 'ешь!' – это прототипический случай 'возьми!'; тогда становится понятно, почему некоторые языки особенно выделяют соответствующую форму<sup>14</sup>.

Обращает на себя внимание высокая частота нерегулярных форм со значением 'иди сюда!'. Она объяснима, если предположить, что повеление подойти на самом деле означает призыв к установлению контакта. Эти же формы часто десемантизируются, употребляясь вместе с полнозначным императивным глаголом.

Единственным прототипическим случаем совместного действия говорящего и слушающего оказывается совместное движение куда-либо. В 7% языков значение 'пойдем' выражается нерегулярной формой, причем в 5,5% – это дефектная форма. Часто подобные формы десемантизируются, начиная употребляться вместе с полнозначным глаголом и превращаясь в показатель императива 1PI.

4.4. Из сказанного в предыдущем пункте следует, что нерегулярные императивы и близкие к ним императивные междометия должны употребляться прежде всего или исключительно "здесь и сейчас", в ситуации непосредственного взаимодействия говорящего и слушающего. Это хорошо видно на примере междометий типа *на*: *на* и его соответствия в других языках употребляются только как сопровождение жеста давания.

Для императивов от 'давать' также наиболее типична ситуация передачи чего-либо говорящему. В вардаман именно форма 'дай мне' оказывается нерегулярной. В печорском диалекте коми глагол 'давать' имеет регулярный императив 2Sg *š'et*, который, однако, может употребляться только с адресатом 3 л. В значении 'дай мне' используется форма *vaj* (императив от 'принести'<sup>15</sup>; М.Э. Чумакина, личн. сообщ.):

(5) коми

а. <i>š'et</i> /* <i>vaj</i>	<i>syly</i>
дать.Impr.2Sg	он.Dat
'дай ему'	
б. * <i>š'et</i> / <i>vaj</i>	<i>menym</i>
дать.Impr.2Sg	я.Dat
'дай мне'	

Ср. также упоминавшиеся выше монгольские императивы *май* и *аль* // *алив*, которые подразумевают, что одним из участников должен быть говорящий. Употребление разных основ в зависимости от лица адресата достаточно характерно для глагола 'дать' [Комри 2004], однако в упомянутых случаях супплетивизм имеет место только в императиве<sup>16</sup>.

Существуют, разумеется, случаи, когда нерегулярные императивы расширяют свое значение. Венгерскую супплетивную форму *gyere* 'иди сюда', наряду с регулярной *jöjj*, можно использовать и когда собеседник находится на значительном расстоянии (при-

<sup>14</sup> Ср. еще: "Процесс еды – наиболее наглядный пример притяжания-усвоения, самый органический способ пресуществления ее в тело, исходную собственность человека" [Топоров 2004: 191]. Для нас естественно понимание обладания как состояния. В этом случае еда действительно не выделяется из ряда прочих предметов, которыми можно обладать: если она еще не съедена, она легко может быть отчуждена; если же она уже съедена, то она больше не представляет собой отдельный объект, и говорить об обладании ею бессмысленно. При динамическом же понимании притяжательности (по-видимому, более архаичном – см. указанную работу В.Н. Топорова), при котором подчеркивается момент присвоения, выделение пищи как того, что присваивается наиболее тесно, вполне естественно (ср. хотя бы упомянутое русское *усваивать* о пище, а также о знаниях). Очевидно, что в контексте императива важен именно момент передачи некоего объекта, т.е. динамический аспект.

<sup>15</sup> Ср. выше о том, что 'принеси' можно рассматривать как разновидность 'дай'.

<sup>16</sup> Еще один пример различения лица адресата у глагола 'дать' только в императиве приводится в этой же работе Б. Комри – из языка ао [Комри 2004: 197].

мер ба), и в весьма отвлеченном смысле (6б), хотя в последнем случае призыв будет звучать комично из-за очевидно разговорного оттенка *gyere*. В общем, допустимо даже употребление *gyere* в идиомах (6в)<sup>17</sup>.

(6) венгерский

- a. *Jöj-j-Ø*            *el* // *gyere*                            *hozzá-nk Budapest-re.*  
*venire-Imp-2Sg.s* Prev // *venire.Imp.2Sg*    к-1Pl    Будапешт-Superlat  
 ‘Приезжай к нам в Будапешт’.
- б. *Jöj-j-Ø*            *el* // *gyere,*                            *szabadság!*  
*venire-Imp-2Sg.s* Prev // *venire.Imp.2Sg*    свобода  
 ‘Приди, свобода!’ (вариант с *jöjj* – из стихотворения А. Йожефа).
- в. *Jöj-j-Ø*            // *gyere*                            *hozzá-m feleség-ül.*  
*venire-Imp-2Sg.s* // *venire.Imp.2Sg* к-1Sg    жена-Ess  
 ‘Выходи за меня замуж’.

4.5. С формальной точки зрения нерегулярные императивы делятся на два больших класса. С одной стороны, это регулярные по своему происхождению глагольные формы, которые стали нерегулярными – например, в результате стяжения основы и суффикса, как *táji* из *tata* + *xi* в вари, или в результате иных процессов, вплоть до сдвига в употреблении, как в игбо или суахили. С другой – это междометия или частицы, которые приобретают некоторые глагольные свойства – например, сочетаются с личными показателями (ср. статью Козна [Cohen 1984], который говорит о дейктическом происхождении афразийских супплетивных императивов).

Вряд ли эти два процесса можно свести к общему знаменателю. Скорее наоборот – перед нами встречные процессы.

На одном из полюсов находятся полностью регулярные глагольные формы; на другом – чисто дейктические междометия, не имеющие никаких глагольных черт. Известно, что наиболее употребительные формы чаще всего оказываются неправильными. С другой стороны, иметь в языке особые междометия или частицы, строго ограниченные ситуацией “здесь и сейчас”, видимо, оказывается нецелесообразным. В результате этих двух факторов формы с интересующими нас значениями стремятся от двух полюсов к некоторому промежуточному состоянию, которое, видимо, и является наиболее устойчивым, – состоянию, среднему между междометием и глаголом.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аникин 2000 – А.Е. Аникин. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. М.; Новосибирск, 2000.
- Балашша 1951 – Й. Балашша. Венгерский язык. М., 1951.
- Бирюлин, Храковский 1992 – Л.А. Бирюлин, В.С. Храковский. Повелительные предложения: проблемы теории // В.С. Храковский (ред.). Типология императивных конструкций. СПб., 1992.
- Груздева 1992 – Е.Ю. Груздева. Повелительные предложения в нивхском языке // В.С. Храковский (ред.). Типология императивных конструкций. СПб., 1992.
- Кибрик (ред.) 1999 – А.Е. Кибрик (ред.) Элементы цахурского языка в типологическом освещении. М., 1999.
- Козинцева 1992 – Н.А. Козинцева. Повелительные предложения в армянском языке // В.С. Храковский (ред.). Типология императивных конструкций. СПб., 1992.
- Комри 2004 – Б. Комри. Супплетивизм по отношению к грамматическому лицу реципиента при глаголе ‘дать’ // 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе. М., 2004.
- Кузьменков 1992 – Е.А. Кузьменков. Императив в монгольском языке // В.С. Храковский (ред.). Типология императивных конструкций. СПб., 1992.

<sup>17</sup> Приводимыми здесь венгерскими примерами мы обязаны И. Границу.

- Мельчук 2001 – *И.А. Мельчук*. Курс общей морфологии. Т. IV. М.; Вена, 2001.
- Панфилов 1962 – *В.З. Панфилов*. Грамматика нивхского языка. М.; Л., 1962.
- Смирнова, Добронравин 1992 – *М.А. Смирнова, Н.А. Добронравин*. Повелительные конструкции в языке хауса // В.С. Храковский (ред.). Типология императивных конструкций. СПб., 1992.
- Топоров 2004 – *В.Н. Топоров*. О категории притяжательности. I. К проблеме становления. II. Древнеиндийский ракурс // В.Н. Топоров. Исследования по этимологии и семантике. I. М., 2004. С. 119–195.
- Фасмер 1986–1987 – *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1986–1987.
- Холодович 1954 – *А.А. Холодович*. Очерк грамматики корейского языка. М., 1954.
- Храковский, Володин 1986 – *В.С. Храковский, А.П. Володин*. Семантика и типология императива: Русский императив. Л., 1986.
- Arensen 1982 – *J. Arensen*. Murle Grammar. 2. Juba (Sudan), 1982.
- Armbruster 1960 – *C.H. Armbruster*. Dongolese Nubian. Cambridge, 1960.
- Bender 1996 – *L.M. Bender*. Kunama. München; Newcastle, 1996.
- Benkő 1993 – *L. Benkő* (Hrsg.). Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Budapest, 1993.
- Boas, Deloria 1941 – *F. Boas, E. Deloria*. Dakota grammar. Washington, 1941.
- Bowden 1997 – *J. Bowden*. Taba (Makian Dalam): Description of an Austronesian Language of Eastern Indonesia. Ph. Diss. University of Melbourne, 1997.
- Carlson 1994 – *R. Carlson*. A grammar of Supyire. Berlin; New York, 1994.
- Carstairs-McCarthy 1994 – *A. Carstairs-McCarthy*. Suppletion // R.E. Asher (Ed.). Encyclopedia of Language and Linguistics 8. Oxford, 1994.
- Caubet 1993 – *D. Caubet*. L'arabe marocain. Paris; Louvain, 1993.
- Cohen 1984 – *D. Cohen*. "Viens!", "Donne!" etc.: impératifs deictiques // Études chamito-sémitiques. XXVIII. 1984.
- Davies 1981 – *J. Davies*. Kobon. Amsterdam, 1981.
- Day 1973 – *C. Day*. The Jacaltec language. The Hague, 1973.
- Derbyshire 1979 – *D.C. Derbyshire*. Hixkaryana. Amsterdam, 1979.
- Doke 1927 – *C.M. Doke*. Text Book of Zulu Grammar. Johannesburg, 1927.
- Donaldson 1980 – *T. Donaldson*. Ngiyambaa: The language of the Wangaaybuwan. Cambridge; London, 1980.
- Drabbe 1952 – *P. Drabbe*. Spraakkunst van het Ekagi. Den Haag, 1952.
- Dryer et al. (eds.) 2003 – *M. Dryer, M. Haspelmath, D. Gil, B. Comrie* (eds.). World Atlas of Linguistic Structures. Oxford, 2003.
- Endzelin 1922 – *J. Endzelin*. Lettische Grammatik. Riga, 1922.
- Everett, Kern 1997 – *D.L. Everett, B. Kern*. Wari'. The Paacas Novos language of Western Brazil. London; New York, 1997.
- Green, Igwe 1963 – *M.M. Green, G.E. Igwe*. A descriptive grammar of Igbo. Berlin; London, 1963.
- Grinevald s. a. – *C. Grinevald*. A grammar of Rama. s. a.
- Haspelmath 1993 – *M. Haspelmath*. A grammar of Lezgian. Berlin; New York, 1993.
- Heath 1984 – *J. Heath*. Functional grammar of Nunggubuyu. Canberra, 1984.
- Hippisley et al. 2004 – *A. Hippisley, M. Chumakina, G. Corbett, D. Brown*. Suppletion: Frequency, categories and distribution of stems // Studies in Language 2004. 28: 2.
- Horton s. a. – *A.E. Horton*. A grammar of Luvale: A Bantu language of the West-Central zone, spoken in the area of the junction of Angola, Northern Rhodesia and the Belgian Congo. Johannesburg, s. a.
- W. Jones, P. Jones 1991 – *W. Jones, P. Jones*. Barasano Syntax. s. l. 1991.
- Joseph, Philippaki-Warburton 1989 – *B.D. Joseph, I. Philippaki-Warburton*. Modern Greek. London; New York, 1989.
- Kimball 1991 – *G. Kimball*. Koasati grammar. Lincoln (Nebraska), 1991.
- Loogman 1965 – *A. Loogman*. Swahili grammar and syntax. Louvain, 1965.
- Lorimer 1935 – *D.L.R. Lorimer*. The Burushaski grammar. V. I: Introduction and grammar. Oslo, 1935.
- Lotz 1939 – *J. Lotz*. Das Ungarische Sprachsystem. Stockholm, 1939.
- Loubignac 1924 – *V. Loubignac*. Étude sur le dialecte berbère des zaïan et Aït Sgougou. 1-re section: Grammaire. s.l., 1924.
- Macaulay 1996 – *M. Macaulay*. A grammar of Chalcatongo Mixtec. Berkeley; Los Angeles; London, 1996.
- Merlan 1994 – *F.C. Merlan*. A grammar of Wardaman, a language of the Northern territory of Australia. Berlin; New York, 1994.



- Mous 1992 – *M.P.G.M. Mous*. A grammar of Iraqw. Proefschrift... Leiden, 1992.
- Oates W., Oates O. 1968 – *W. Oates, O. Oates*. Kapau pedagogical grammar. Canberra, 1968.
- Owens 1985 – *J. Owens*. A grammar of Harar Oromo (Northeastern Ethiopia): Including a text and a glossary. Hamburg, 1985.
- Reh 1985 – *M. Reh*. Die Krongo-Sprache (N̄ino mó-dì). Beschreibung, Texte, Wörterverzeichnis. Berlin, 1985.
- Rupp 1989 – *J.E. Rupp*. Lealao Chinantec syntax. s.l., 1989.
- Sridhar 1990 – *S.N. Sridhar*. Kannada. London, 1990.
- Swanton 1962 – *J.R. Swanton*. Haida // F. Boas (ed.). Handbook of Indian Languages. I. New York, 1969.
- Tuggy 1979 – *D.H. Tuggy*. Tetelcingo Nahuatl // R.W. Langacker (ed.). Studies in Uto-Aztecan grammar. V. II: Modern Aztec Grammatical Sketches. Dallas; Arlington: Summer Institute of Linguistics; University of Texas, 1979.
- van Eeden 1956 – *B.I.C. van Eeden*. Zoeloe-grammatika. Stellenbosch; Grahamstad, 1956.
- Vogt 1971 – *H. Vogt*. Grammaire de la langue géorgienne. Oslo, 1971.
- Wagner 1933–1938 – *G. Wagner*. Yuchi // F. Boas (ed.). Handbook of American Indian Languages. V. III. s. 1, 1933–1938.

© 2005 г. Н.А. КОЖЕВНИКОВА

**СИНТАКСИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ**

В статье рассматривается вариативность выражения определенных смысловых связей в художественном тексте. Варьирующиеся конструкции используются для передачи устойчивых признаков, качеств, действий, для фиксации изменения в характере действий, в степени проявления определенного состояния. Показано соотношение атрибутивных и генитивных конструкций, конструкций с относительным прилагательным и с родительным принадлежности, личных и безличных конструкций, возникновение метафорических и метонимических сочетаний при синтаксическом варьировании, вариации тропов и др.

Для художественного текста характерна повторяемость определенных смысловых связей. В прозе повторы используются прежде всего при характеристике персонажей. Внутренняя определенность и замкнутость образа создается повтором некоторых деталей, повтором устойчивого признака, который используется и как характеристика персонажа вообще, и как характеристика отдельных его черт и принадлежностей. В описательных фрагментах, в частности, в описаниях природы также выделяются определенные повторяющиеся детали и характеристики. Некоторые произведения основаны на сюжетном повторе – повторе определенной ситуации. Кроме того, одна и та же ситуация может изображаться дважды, например, с точки зрения персонажа, но один раз как непосредственно происходящее, другой раз – как воспоминание. Повтор играет существенную роль и в композиционном развертывании текста – например, для многих текстов характерна кольцевая композиция, при которой перекликаются начало и конец произведения.

Повтор имеет в художественном тексте не только широкую сферу применения, но и разнообразные формы выражения. Объем повторяющихся элементов колеблется от слова до сложного синтаксического целого. Повторяемость определенных смысловых связей сопровождается варьированием форм их передачи. В связи с этим в художественных текстах находят широкое применение параллельные синтаксические конструкции, синтаксическая синонимия.

Параллельные конструкции, закрепленные в языке за передачей определенного содержания, в художественном тексте также входят в типовые контексты и появляются в определенных условиях. Варьирующиеся конструкции используются для того, чтобы передавать устойчивые признаки, качества, действия и для того, чтобы фиксировать изменения в характере действий, в степени проявления определенного состояния, образуя при этом сквозной мотив той или иной сцены. Повтор определенной общей темы влечет за собой несколько частных повторов, через которые этот общий повтор и выражается.

Повторяющаяся деталь может быть описана с помощью атрибутивных сочетаний и генитивных сочетаний с разным значением. Соотнесенные словосочетания выражают отношение или принадлежность. Конструкции с родительным отношения соответствует конструкция с относительным прилагательным: *огромные клады хлеба – хлебные клады* (Гоголь. Тарас Бульба), *Он видит грязную, унавоженную площадь, трактирные вывески, зубчатую стену монастыря в тумане... – старик снимает шапку и долго крестится в ту сторону, где в тумане темнеет монастырская стена* (Чехов. Холодная кровь). Так передаются и частные подробности, значимость которых исчер-

пывается в небольшом фрагменте текста, и подробности, которые перерастают в сквозную деталь. В рассказе Чехова “Тина” сквозная деталь *запах жасмина* передается то атрибутивной, то генитивной конструкцией. Ряд, в который включается пять повторов, начинается и кончается генитивной конструкцией, а в середине идут атрибутивные конструкции: *сладковатый, густой до отращения запах жасмина – и поручику казалось, что приторный жасминный запах идет не от цветов, а от постели и ряда туфель*, и т.д.

Повторяющаяся деталь передается и сочетанием с косвенным падежом существительного, которому в других условиях соответствует относительное прилагательное. Такая деталь связывает начало и конец рассказа Бунина “Легкое дыхание”: *На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий – Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру*.

Конструкции с относительным прилагательным соответствует конструкция с родительным принадлежностью. В повести Гоголя “Вий” трижды описывается крик петуха, прерывающий деятельность нечистой силы. В первой сцене присутствуют оба возможные словосочетания: *Но в то время послышался отдаленный крик петуха... ободренный петушиим криком, он дочитывал быстрее листы...* Во второй сцене употребляется соответственно генитивная конструкция: *это был отдаленный крик петуха*, в третьей – атрибутивная: *Раздался петуший крик*. Ср.: *Как нарочно, в нашем дворе раздается вдруг собачий вой... Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или крик сов, но теперь мое сердце мучительно сжимается* (Чехов. Скучная история). Соотнесенные сочетания такого рода могут быть распределены между разными субъектными планами, связывая диалог и повествование: *Петь она будет глинкинский романс – Ей приходилось исполнить романс Глинки* (Тургенев. Клара Милич).

Источником вариативности обозначений могут быть разного рода стяжения, когда прилагательному соответствуют разнотипные словосочетания с прилагательным или причастием: *облитый маслом блин – масляный блин* (Гоголь), *круглые бугры, поросшие зеленым мхом – моховые бугры* (Тургенев. Вешние воды). При этом могут возникать необычные сочетания, понятные только при соотнесении с предшествующим контекстом: *книги, пахнувшие шоколадом – шоколадные книги; погоны... со скрещенными золотыми пушечками – золотые пушечные погоны* (Булгаков. Белая гвардия). В ряде случаев в результате стяжения на основе исходного словосочетания возникает сложное прилагательное: *именные Ивана Федоровича, состоявшее из осьмнадцати душ – осьмнадцатидушное именье* (Гоголь. Иван Федорович Шпонька и его тетушка).

В некоторых случаях синтаксическое варьирование влечет за собой возникновение метафорических сочетаний: *лицо бронзового цвета – бронзовое лицо* (Гоголь. Портрет), *Вокруг каждой чашки свернулась, изредка сверкая золотыми глазками, небольшая змейка медного цвета – медные змейки волнообразно зашевелились* (Тургенев. Песнь торжествующей любви), *темно-васильковые, темно-синие очи его и светом стоящие волосы выражали смутную неизъяснимую грусть, вот – глаза василькового цвета* (А. Белый. Петербург).

Иной круг соотносительных средств обозначения используется, если варьируется обозначение персонажа. Описательному обороту, в состав которого входит существительное с предлогом, соответствует существительное: *Там вдали посиживал праздно потеющий муж с преогромною кучерской бородой... – Но бородатый мужчина вдруг выпалил... – праздно потеющий бородач весело подмигнул* (А. Белый. Петербург). Преобразования такого типа усложняют и преобразования примыкающего к ним непосредственного окружения: *гайдук с усами в три яруса – трехъярусный усач* (Гоголь. Тарас Бульба). Описательный оборот может стать источником сложного прилагательного: *капитан с красным носом – красноносый капитан* (Л. Толстой. Война и мир).

С помощью варьирующихся конструкций описывается один и тот же человек или пейзаж в разные моменты времени. При описании персонажа выделяется деталь внешности, для передачи которой используется то атрибутивная конструкция, то ге-

нитивная конструкция, так называемое “отвлечение эпитета”. Обычно отправной точкой бывает атрибутивное сочетание: *Лицо смуглое... низкий неподвижный, точно каменный лоб... – его в особенности поразила неподвижность этого лица, лба, бровей* (Тургенев. Клара Милич). Ср.: *сотник сидел почти неподвижен в своей светлице – Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность* (Гоголь. Вий), *...сидела она, как потерянная, с совершенно бараньим видом, раскрыв рот и выпуча свои голубые, побледневшие, бездумные глаза – Даже в фотографии чувствовалась их бездумная голубизна* (Л. Андреев. Жертва), *сухо, четко и холодно выступали линии совершенно белого его лица – белизность мраморного лица и божественность волос бело-льняных* (А. Белый. Петербург), *Представь себе: прелестная головка, так называемые “золотые” волосы и черные глаза – и вдруг, подняв лицо, все-таки увидал ее, – впереди всех, в трауре, со свечой в руке, озарившей ее щеку и золотистость волос* (Бунин. Натали). Однако встречаются и такие случаи, когда отвлечение эпитета появляется прежде, чем обозначение признака: *Постучавшись, вошел Броскин приглашать к себе; от него пахло пивом, но в полумраке лампы, где не замечалась помятость его широкого, как солнце, лица, он казался моложе своих двадцати шести лет – У круглого стола стоял человек с широким, как солнце, белым, слегка помятым лицом* (М. Кузмин. Нежный Иосиф).

Отадъективные существительные используются и в речи автора, и в речи персонажей. Например, в рассказе Бунина “Митина любовь” в авторской речи употреблено атрибутивное сочетание *черные волосы: Сонька нежно и зло рванула его черные жесткие волосы, – “чисто у лошади!” – крикнула она...* Во внутренней речи Мити ему соответствует отадъективное существительное: *В доме он на минуту остановился перед зеркалом в зале. “Она права, – подумал он, – глаза у меня, если не византийские, то, во всяком случае, сумасшедшие. А эта худоба, грубая и костлявая нескладность, мрачная угольность бровей, жесткая чернота волос, действительно почти лошадиных, как сказала Сонька?”* Эти фрагменты интересны еще и тем, что в них варьируются и другие конструкции: *чисто у лошади – лошадиные*.

В этот ряд в некоторых случаях включаются и глаголы. В рассказе Бунина “Натали” атрибутивное сочетание *черные глаза* имеет не только повторяющееся именное соответствие: *Натали... с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз... она вскинула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку...; На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсем близко, но и глагольное: ...она остановилась, в упор мне чернея в сумраке глазами*.

Пары глагол – существительное используются и в описаниях природы. В рассказе Бунина “Митина любовь” дважды изображен вид из окна в сад. Повторяющиеся детали передаются то глагольными, то именными сочетаниями: *В пролет комнат, в окно библиотеки, глядела ровная и бесцветная синева вечернего неба с неподвижной розовой звездой над ней; на этой синеве картинно рисовалась зеленая вершина клена и белизна, как бы зимняя, всего того, что цвело в саду – Со странным, как бы прощальным чувством Митя заглянул в пролет растворенных молчаливых комнат – в гостиную, в диванную, в библиотеку, в окно которой по-вечернему синел южный небосклон, зеленела живописная вершина клена и розовой точкой стоял над ней Антарес; ср.: И везде в комнаты празднично глядели приблизившиеся к дому разнообразно зеленые, то светлые, то темные, деревья с яркой синевой между ветвями. Так же варьируется и другая деталь: сад сиял своей снежной белизной – за тенью празднично зеленел и белел в упор освещенный сад*.

С помощью варьирующихся конструкций описываются и некоторые душевные состояния или их внешние проявления в их развитии или в их постоянстве. При изображении внутреннего мира персонажей сменяют друг друга безличная конструкция со словами категории состояния и существительное. Вариативные конструкции концентрируются в определенной замкнутой сцене. В некоторых сценах акцентируется внимание на устойчивом характере определенного душевного состояния: *...теперь же и сре-*

ди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко, и так горько, как будто объелась полыни – ...и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдаёт полынью (Чехов. Душечка).

В сценах другого типа поведение персонажа или его внутреннее состояние рисуется как процесс: *...теперь ему сделалось так жалко ее, что в душе его не было места урку – Еще никогда не испытанное чувство жалости переполнило душу Пьера – и еще большее чувство жалости, нежности и любви охватило Пьера* (Л. Толстой. Война и мир), *Ему стало жаль старика – В нем разгоралось чувство жалости* (Чехов. Письмо). С помощью этих конструкций изображаются сменяющие друг друга контрастные душевные состояния: *И горько ему было на сердце и стыдно – И не было стыда у него на сердце, а напротив: его осенила тихая радость* (Тургенев. Милостыня).

В подобной ситуации соотносятся личный глагол и именное сказуемое: *Смешило ее воспоминанье о случае у скамьи, о глядевшем часовом. Смешны ей были гости...* (Чехов. Несчастье), именное сказуемое и конструкция с существительным: *Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты – Княжна Марья была такая же, как и всегда, но из-за сочувствия брату Пьер видел в ней радость к тому, что свадьба ее брата строилась* (Л. Толстой. Война и мир).

Поведение персонажа, в частности, устойчивые жесты и движения, повторяющиеся на протяжении определенной сцены или более развернутых фрагментов повествования и образующие сквозную характеристику персонажа, изображается личными глаголами и конструкциями с соответствующими отглагольными существительными: *На Пращенской горе... лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном – Он слабо пошевелил ногою и произвел самого его разжалобивший, слабый болезненный стон* (Л. Толстой. Война и мир), *Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно побряхтывал и расправлял воротник сюртука... – Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливание Кутузова* (Л. Толстой. Война и мир), *От избытка чувств и под влиянием только что выпитой наливки Огнев говорил певучим семинарским голосом и был так растроган, что выражал свои чувства не столько словами, сколько морганием глаз и подергиванием плеч – Тем же певучим семинарским голосом, каким он беседовал со стариком, так же моргая и подергивая плечами, стал он благодарить Верочку за гостеприимство, ласки и радушие* (Чехов. Верочка). Так же передаются и некоторые характерные особенности персонажа: *Когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух, то в груди его что-то свистело и пело на разные голоса – В груди спавшего старика раздавались свист и разноголосое пенье* (Чехов. Беглец). В других ситуациях подобными средствами поведение персонажа рисуется как процесс: *Она зарыдала громко – ...рыдания с каждой минутой становились все громче и громче* (Чехов. Именины).

На переходе от глагола к конструкции с отглагольными существительными основано и изображение внешнего мира, в частности, звуков. Появление Вия в одноименной повести Гоголя предшествует констатации факта: *Послышалось вдали волчье завыванье*. Этой же деталью, но в ином словесном выражении, начинается и вся развернутая сцена: *Волки вили вдали целою стаей*. В рассказе Чехова “Шуточка” несколько раз повторяется одна и та же ситуация. Исходная сцена распадается на два фрагмента. Первый начинается словами: *Я сажаю ее, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну*. Вслед за описанием, в котором важную роль играет переключка между глаголом *ревет* (рассекаемый воздух *ревет*) и существительным *рев* (*Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад*), идет отрывок, описывающий исходную ситуацию как бы отраженно: *Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжанье полозьев не так уж страшны, дыхание перестает замирать*. Отрывок, изображающий повторение соответствующей ситуации, складывается из двух частей: первая представляет собой повтор начала исходного фрагмента, вторая – вариацию второго фрагмента: *Опять я сажаю бледную, дрожа-*

ую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья. Сосуществование глагола и отглагольного существительного характерно и для других ситуаций, в которых фигурируют глаголы звучания: Колокольчик по временам звенел под дугою – Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес (Лермонтов. Герой нашего времени), послышалось сухое бормотание бубенчиков – Вдруг бубенчики забормотали (Бунин. Митина любовь). Фрагменты, обрамляющие рассказ Бунина “Легкое дыхание”: *...холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста – Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка.*

Помимо пары личный глагол – отглагольное существительное распространена и пара безличный глагол – отглагольное существительное. Это по преимуществу глагол *пахнуть* и отглагольное существительное *запах*. Например, в разных рассказах Чехова: *Пахло дождем и скошенным сеном – приторный, возбуждающий запах сена чувствовался здесь сильнее, чем в поле* (“Рассказ госпожи NN”), *Во дворе пахло жареным луком – доносился запах жареного лука* (“Ионыч”), *воздух, пахнувший жареным мясом... – запах жареного мяса – все время пахло жареным мясом* (“Тиф”). На протяжении рассказа Чехова “Поцелуй” несколько раз повторяется деталь *запах тополя*. В первом случае глагол и отглагольное существительное находятся в непосредственной близости друг от друга: *Все почувствовали, что в воздухе пахнет молодой листвою тополя, розами и сиренью... и ему уже казалось, что запах роз, тополя и сирени идет не из сада, а от женских лиц и платьев*. Во втором случае используется глагол: *Тут же, как и в зале, окна были открыты настежь и пахло тополем, сиренью и розами...* В третьем вновь используется отглагольное существительное, а в четвертом – глагол.

Одно и то же событие выражается то личной, то безличной конструкцией: *Загремел сердито гром; тотчас же опять загремел гром* – в речи персонажа: *Гремит и гремит, и конца не слышать* (Чехов. Степь). На фоне глаголов могут появляться глагольные междометия. Хотя основная сфера их употребления – сказ или другие способы воспроизведения произнесенной речи, они используются и в повествовании, ориентированном в целом на книжность изложения: *В столовую входит кухарка Анна и – бух хозяйину в ноги!.. Анна тем же порядком подходит к остальным членам семьи, бухает в ноги и просит прощения* (Чехов. Накануне поста).

В повествовании, рисующем однотипные или повторяющиеся поступки и действия персонажа, могут варьироваться глагольные и безглагольные предложения разных типов: *С испугом он кинулся в соседнюю комнату – к письменному столу – через абзац: Он – к другому столу* (А. Белый. Петербург). Безглагольные предложения находят применение не только в повествовательных, но и в описательных фрагментах текста: *будет жарко натоплено и луна и замерзшее окно, – говорила Соня... – И теперь жарко натоплено и луна в замерзшие окна, – повторял Иосиф... – Они открыли дверь... Кровать была пуста, было очень жарко натоплено и луна ударяла в замерзшее окно* (М. Кузмин. Нежный Иосиф).

Для передачи разнообразных качественных характеристик, будь то характеристика внешнего мира или персонажей, используются такие средства синонимического варьирования, как наречие – форма косвенного падежа существительного при глаголе. С помощью этих конструкций в повести Гоголя “Вий” трижды описывается гроб ведьмы: *Гроб стоял неподвижно – Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви – Посередине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы* (Гоголь. Вий). Эти же средства принимают участие в создании сквозных характеристик персонажей: *– Прасковья... притаилась в кухне и замирала от робости – Прасковья, орбева... отвечала – робко жалась в сених* (Чехов. В овраге). Сквозные характеристики создают глаголы – прилагательное с качественным значением: *Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо – Лицо у него было багро-*

во и мокро от пота – Яков тоже вспыхнул и побагровел весь (Чехов. Скрипка Ротшильда).

Часть соотнесенных обозначений основана на том, что синтаксическое преобразование сопровождается преобразованием семантическим, а именно, происходит переход от слова в прямом значении в метонимии или метафоре. Переход от описательного оборота к метонимии появляется тогда, когда варьируется обозначение персонажа. Помимо метонимических обозначений, которые включены в текст без предварительной подготовки, распространены метонимические обозначения, соотнесенные с описательным оборотом. В его составе содержится прямое обозначение, которое становится основой метонимии: *В саях сидел толстый и румяный помещик в волчьей шубе... – А-а! – с укоризной заговорила волчья шуба* (Тургенев. Одино дворец Овсяников), *...спросил проезжий, лежавший под медвежьей шубой на верхней полке; Проезжий из-под медвежьей шубы... выговаривал хозяйну на жестокость; ...отозвался вопрошительно проезжий из-под медвежьей шубы; молвила шуба; отвечала словоохотливая шуба* (Лесков. Запечатленный ангел), *Другой – маленький мужичонко со старческим лицом, тощий, рябой, с жидкими усами и козлиной бородкой, свесил на колени руки... – Я... не сплю... – заикается козлиная бородка* (Чехов. Мертвое тело).

Другая разновидность метонимических обозначений персонажа представляет собой атрибутивное словосочетание, в котором признак части, содержащийся в исходном описательном обороте, приписывается целому: *У этих поводыев стоял немой сирец из Тара, в ярко-красной, до пят его достигавшей длинной одежде – Красный сирец повел красивое животное за поводья* (Лесков. Гора), *какая-то барышня белобрысая, в зеленом платье, криворотая – Старуха сказала слова два по-французски зеленой барышне* (Тургенев. Петр Петрович Каратаев), *Какая-то барышня в сиреновом платье – сиреневая барышня* (Чехов. Поцелуй), *классная дама, в темно-синем платье – синяя дама* (Куприн. Юнкера), ср. *Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешевой серой материи... разговаривал о чем-то с Дымовым и Кирюхой – человек в сером – в малорослом сером человечке... трудно было узнать таинственного, неуловимого Варламова...* (Чехов. Степь).

Соотнесенные пары образуют описательный оборот и субстантивированное прилагательное, также обозначающие персонажей: *Какой-то мещанин в синей поддевке полюбопытствовал, куда едут ребята на лодке... Синий отошел к месту... Тут на известной скамеечке... сел теперь в утренний час Синий... Синий сзади пошел за Сежей... и т.д.* (Пришвин. Кащеева цепь).

Важное место среди варьирующихся конструкций занимают вариации тропов. Одна и та же деталь выражается то сравнением, то метафорой, то метафорическим эпитетом, и т.д. Соотносятся разные способы выражения сравнения (сравнительный оборот и сравнение, выраженное сложным прилагательным): *черные и вечно мокрые, как вареный чернослив глаза – черносливообразные глаза* (Тургенев. Степной король Лир), *Руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков – Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками* (Чехов. Степь). Сравнению одного фрагмента в другом соответствует метафора: *Ее лик Мадонны белел в сумерках как мрамор – светлея мрамором и холодом своего лика* (Л. Андреев. Дневник Сатаны).

В описаниях природы выделяется определенная устойчивая образная характеристика. В “Войне и мире” Л. Толстого две сцены основаны на переходе от сравнения к метафоре *море тумана*. Одна из них отражает точку зрения Наполеона: *Было девять часов утра. Туман сплошным морем расстилался понизу <...> Огромный шар солнца, как огромный пустотелый багровый поплавок, колыхался на поверхности молочно-голубого моря тумана <...> Он (о Наполеоне) молча взглядывался в холмы, которые как бы выступали из моря тумана <...> двигались, блестя штыками, русские колонны и одна за другой скрывались в море тумана*. Эта же картина показана с точки зрения князя Андрея: *Ночной туман к утру оставил на высотах только иней, перехо-*

*дивший в росу, в лощинах же туман расстился еще молочно-белым морем <...> Впереди далеко, на том берегу туманного моря, виднелись выступающие лесистые холмы... налево, за деревней, такие же массы кавалерии подходили и скрывались в море тумана.*

В описательных фрагментах распространены сочетания глагола и наречия, которые соответствуют более обычным атрибутивным конструкциям. Такие построения, хотя и не часто, входят в состав варьирующихся конструкций: *...И этот красивый звук одинокого выстрела и блеск яркого солнца слились в одно бодрое и веселое впечатление – солнце ярко спускалось над Дунаем* (Л. Толстой. *Война и мир*), *Каменно принависла там кариатида подъезда – Лакированная карета с гербом уже более не подлетит к старой каменной кариаде* (А. Белый. *Петербург*).

Итогом синонимического варьирования могут быть и ненормативные конструкции. Такова конструкция, близкая к безличной, в которой вопреки норме субъект действия выражен творительным падежом. В одной из сцен “Петербурга” А. Белого использована такая конструкция: *В углу камин растрецался поленьями*, в другой сцене ей соответствует нормативная конструкция: *В камине растрецались поленья*. Так устанавливаются переключки между началом и концом романа. Любопытно при этом, что первой появляется именно ненормативная конструкция, которую в контексте романа поддерживают другие конструкции такого же типа: *Каркая, вверх стрельнула ворона – в небо вороной стреляющий сад*.

Возможности варьирования обозначений расширяются благодаря использованию окказиональных образований.

Таким образом, варьирующиеся конструкции имеют в художественном тексте широкую сферу употребления. Они используются и в описательных фрагментах, и в собственно повествовании. Им принадлежит важная роль в установлении связей и переключек между тематически и композиционно соотнесенными фрагментами текста. В сочетании с повторами разных типов они участвуют в организации лейтмотивной структуры произведения. При этом художественный эффект извлекается не только из собственно “художественных” средств, но и из взаимодействия обычных языковых конструкций, роль которых особенно велика в русской литературе XIX в.



© 2005 г. В.И. ПОДЛЕССКАЯ

**РУССКИЕ ГЛАГОЛЫ ДАТЬ/ДАВАТЬ: ОТ ПРЯМЫХ УПОТРЕБЛЕНИЙ  
К ГРАММАТИКАЛИЗОВАННЫМ\***

В работе рассматриваются русские пермиссивные конструкции с грамматикализованными глаголами *дать/давать*, представленные примерами типа *Мы дали Пете спеть. Пете долго не давали петь*. Выделяются следующие симптомы грамматикализации глаголов *дать/давать* в конструкциях данного класса: (1) семантический сдвиг – метафоризация прототипического значения “смены собственника”; (2) реакция на грамматические тесты – изменение сферы действия отрицания, запрет на безличный пассив и ряд других; (3) синтаксические ограничения – ограничения на референциальный контроль субъекта зависимого инфинитива; (4) дискурсивные ограничения – ограничения на использование в определенных типах речевых актов и в определенных дискурсивных режимах.

**1. ВВЕДЕНИЕ: А. ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО “НЕПРЯМЫЕ” УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАГОЛОВ  
СО ЗНАЧЕНИЕМ “ДАТЬ” (“ДАВАТЬ”)? Б. ЗАДАЧА РАБОТЫ**

**1.1.** В языках мира глаголы со значением “смены собственника” (далее – *Д*-глаголы) широко используются в составе полностью или частично грамматикализованных конструкций. В качестве наиболее типичного результата грамматикализации *Д*-глаголов обычно приводятся бенефактивные конструкции, конструкции с каузативно-пермиссивной функцией, аппликативы и императивы [Heine et al. 1993: 97–103], [Heine, Kuteva 2002: 149–155].

**1.2.** В русском языке системным результатом грамматикализации *Д*-глаголов являются пермиссивные (1)–(2) и гортативные (3)–(5) конструкции [Храковский, Володин 1986: 129–131; Тоорс 1988; 1991; Грамматика 1970: 364, 416, 582, 613; Грамматика 1980, I: 624–625]. В составе гортативных конструкций возможен только глагол несовершенного вида *давать*, а в составе пермиссивных конструкций возможны как глагол совершенного вида *дать* (1а, 2), так и глагол несовершенного вида *давать* (1б). И в гортативных, и в пермиссивных конструкциях знаменательный глагол может иметь форму инфинитива (1), (3) или форму индикатива будущего времени (2), (4), (5). Пермиссивные конструкции типа (2) и гортативные конструкции типа (5) – со знаменательным глаголом в форме индикатива будущего времени с выраженным подлежащим – образуют минимальную видовую пару по вспомогательному глаголу – *дать* vs. *давать*.

- (1) а. *Мы дали Пете спеть.*  
б. *Пете не давали петь.*
- (2) *Дай я сам всё сделаю!*
- (3) *Давай петь!*
- (4) *Давай споём!*
- (5) *Давай я сам всё сделаю!*

\* Корпусный материал для настоящего исследования собран при поддержке гранта РГНФ 04-04-00220а. Некоторые положения данной статьи обсуждались в более ранней работе автора [Подлесская 2004].

1.3. В лингвистике неоднократно предпринимались попытки объяснить, почему в неродственных языках разных типов непрямые употребления *Д*-глаголов обнаруживают очевидное функциональное сходство. Наибольшего успеха в этом направлении добились те исследователи, которые попытались вывести все значения *Д*-глаголов – в том числе, и в несамостоятельном употреблении – из их прототипического значения “смены владельца” на основе так называемых “базовых когнитивных схем” и стандартных механизмов метафоризации, см. [Newman 1993; 1996; 1997; Shibatani 1994; 2001; Langacker 1995]. Метафоризация значения “смены владельца”, безусловно, является необходимым (но не достаточным!) условием грамматикализации. В принципе, метафоризация базового значения возможна и без грамматикализации, т.е. без существенной редукции грамматических “свобод” *Д*-глаголов:

(6) *Паваротти дал концерт в Лондоне. Здесь операторы дали лицо крупным планом.*

Однако чаще всего метафоризация базового значения, действительно, сопровождается утратой семантических, сочетаемостных и морфосинтаксических “свобод” *Д*-глаголов. Так например, метафоризация значения может привести к возникновению ограничений на использование лексемы в том или ином дискурсивном режиме – интерактивном, т.е. при непосредственном взаимодействии локуторов или в нарративном, т.е. в тех случаях, когда говорящий и слушающий не совмещены в пространстве и времени речевого акта (ср. противопоставление “дейктического” и “нарративного” режимов по терминологии Е.В. Падучевой [Падучева 1996: 265], восходящей к представлению о разграничении “плана речи” и “плана истории” [Бенвенист 1974] и о “канонической речевой ситуации” [Lyons 1978]). Так, предложение (7), в котором *Д*-глагол употреблен в одном из своих метафоризованных значений, возможно только в интерактивном дискурсивном режиме и невозможно в нарративном режиме. Рефлексом этого ограничения является то, что (7) не может быть помещено в позицию сентенциального актанта перцептивных или когнитивных глаголов:

(7) *Ну, Петя даёт!*

(8) а. *\*Я видел, как Петя даёт.*

б. *Я видел, как Петя даёт Васе книгу.*

1.4. Основной предмет рассмотрения в данной работе – семантика русских пермиссивных конструкций с грамматикализованными *Д*-глаголами. Мы постараемся показать, что особенности употребления этих конструкций могут естественно интерпретироваться как рефлексы метафоризации прототипического значения глагола *дать* с его исходной падежной рамкой, проецирующей базовую когнитивную схему “смены владельца”: “старый владелец” = агенс (оформляется как подлежащее в именительном падеже)/“объект, передаваемый от одного владельца другому” = пациенс (оформляется как прямое дополнение в винительном падеже) / “новый владелец” = адресат (оформляется как дополнение в дательном падеже). В нашу задачу входит также продемонстрировать следующие симптомы грамматикализации *Д*-глаголов в русских пермиссивных конструкциях:

- семантический сдвиг,
- реакция на грамматические тесты,
- синтаксические ограничения (контроль субъекта зависимого инфинитивного оборота),
- дискурсивные ограничения (ограничения на использование в определенных типах речевых актов и в определенных дискурсивных режимах).

## 2. СЕМАНТИЧЕСКИЙ СДВИГ: Д-ГЛАГОЛЫ И ПРОТОТИПИЧЕСКИЕ ПЕРМИССИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ (РАЗРЕШИТЬ, ПОЗВОЛИТЬ). ТИПЫ ПЕРМИССИВНОЙ КАУЗАЦИИ

2.1. Значение Д-глаголов в составе пермиссивных конструкций претерпевает сдвиг, который определяется следующей модификацией базовой когнитивной схемы “смены владельца”:

**предоставление физического объекта в собственность → предоставление ресурса (возможности / условий) для осуществления действия (“старый владелец” = “распорядитель”; “новый владелец” = “исполнитель”; действие, которое исполнитель осуществляет при помощи предоставленного ресурса, выражается в знаменательном глаголе).**

Так, в примере (1) распорядитель, предоставляющий возможность осуществления действия, – “мы” (оформляется как подлежащее в именительном падеже), исполнитель “Петя” (оформляется как дополнение в дательном падеже), действие, которое исполнитель осуществляет при помощи предоставленного ресурса – “спать” (знаменательный глагол в инфинитиве).

Следует оговориться, что такого рода метафоризация базовой когнитивной схемы (ее можно условно назвать “пермиссивной”) не является универсальной основой грамматикализации Д-глаголов. В языках, в которых Д-глаголы грамматикализуются в составе бенефактивных и аппликативных конструкций, часто используется другой путь метафоризации (его можно условно назвать “бенефактивным”):

**предоставление физического объекта в собственность → осуществление действия, в результате которого вырабатывается некоторый новый ресурс, и последующее предоставление этого ресурса другому лицу (“старый владелец” = “производитель ресурса”; “новый владелец” = “потребитель ресурса”; действие, в результате которого производится ресурс, выражается в знаменательном глаголе).**

Пример метафоризации “бенефактивного” типа демонстрируют Д-глаголы в японском и корейском языках, смотри, например [Shibatani 1994]. Так, в предложении (9) (цитируется по [Shibatani 1994: 43], перевод и грамматическая разметка мои. – В.П.):

(9) *Voku wa Hanako ni futon o siite yatta*  
Я TOP Ханako IO фyтон DO расстелить.CONV дать.PAST  
'Я расстелил [для] Ханako фyтон' букв. "расстелив, дал"

производитель ресурса – “я” (оформляется как подлежащее в именительном падеже), потребитель произведенного ресурса – “Ханako” (оформляется как дативное дополнение), действие, в результате которого производится ресурс, – “расстелить” (выражено глаголом в дееспричастной форме). Таким образом, значение конструкции с Д-глаголом при метафоризации “бенефактивного” типа предполагает, что производство ресурса (действие, выраженное знаменательным глаголом) и передача ресурса осуществляются одним и тем же лицом, а при метафоризации пермиссивного типа – что передача ресурса осуществляется одним лицом, а использование этого ресурса (действие, выраженное знаменательным глаголом) осуществляется другим лицом.

2.2. Пермиссивные конструкции с Д-глаголами в русском языке семантически и морфосинтаксически близки инфинитивным конструкциям с прототипическими пермиссивными глаголами *разрешить* и *позволить*. В общем случае Д-глаголы и прототипические пермиссивные глаголы оказываются взаимозаменяемы:

(10) *Вася дал / разрешил / позволил мне отдохнуть.*

2.3. Пермиссивная каузация, выражаемая конструкциями этого класса, может иметь два прочтения, одно из которых мы условно будем называть локутивно-пермиссивным, а другое фаворитивным.

**Локутивно-пермиссивное прочтение:** распорядитель сообщает (объявляет) о том, что не имеет возражений против того, чтобы исполнитель осуществил действие.

**Фаворитивное прочтение:** распорядитель создает условия для того, чтобы исполнитель осуществил действие. Условия создаются либо собственными действиями распорядителя, либо тем, что распорядитель воздерживается от собственных действий, которые препятствовали бы действиям исполнителя.

Мы усматриваем рефлекс прототипического значения “смены владельца” в том, что инфинитивные конструкции с *Д*-глаголами имеют преимущественно фаворитивное прочтение. В этом их главное отличие от других пермиссивных глаголов – конструкции с глаголом *разрешишь* имеют преимущественно локутивно-пермиссивное прочтение, а конструкции с глаголом *позволят* могут иметь оба прочтения (в [Апресян 2003: 332] эти два прочтения рассматриваются как разные лексемы). Заметим также, что в локутивно-пермиссивном прочтении *позволят* звучит более книжно, чем *разрешишь*, в фаворитивном прочтении этой разницы нет. Таким образом, различия между допустимыми прочтениями приводят к следующим сдвигам в составе пермиссивной конструкции с зависимым инфинитивом:

- (11) *дал поспать* “не препятствовал”,  
*разрешил поспать* “сказал, что можно”,  
*позволил поспать* “сказал, что можно (книжн.) и/или не препятствовал”.

### 3. ФАВОРИТИВНОЕ VS. ЛОКУТИВНО-ПЕРМИССИВНОЕ ПРОЧТЕНИЕ: ПРИЗНАКИ БОЛЬШЕЙ ИНТЕГРАЦИИ МАТРИЧНОГО *Д*-ГЛАГОЛА И ЕГО СЕНТЕНЦИАЛЬНОГО АКТАНТА

Если рассматривать противопоставление фактитивной (прямой) и пермиссивной (непрямой) каузации как градуированное, то можно говорить, что при фаворитивном прочтении имеет место более фактитивная (прямая) каузация, чем при локутивно-пермиссивном прочтении. В частности, при фаворитивном прочтении распоряжение (предоставление ресурса) и использование этого ресурса всегда совпадают по времени и месту. Как следствие, при фаворитивном прочтении в конструкции обнаруживаются признаки большей интеграции матричного *Д*-глагола и его сентенциального (инфинитивного) актанта. Ниже будут рассмотрены некоторые из этих признаков.

3.1. В конструкциях с *Д*-глаголом в сферу действия **отрицания** может включаться только вся конструкция целиком, т.е. отрицание возможно только при *Д*-глаголе и невозможно при инфинитиве, в то время как другие пермиссивные глаголы допускают отрицание и при инфинитиве, ср. [Недялков, Никитина 1965; Тоорс 1988; 1991]:

- (12) *дали неть* // *не дали неть* // \**дали не неть*;  
(13) *разрешили (позволили) неть* // *не разрешили (не позволили) неть* // *разрешили (позволили) не неть*.

(Важно иметь в виду, что мы говорим лишь о **допустимости** отрицания как при пермиссивном глаголе, так и при инфинитиве, но не о **синонимичности** конструкций с отрицанием при главном глаголе и с отрицанием при инфинитиве. В работе [Иорданская 1985] было убедительно показано, что перенос отрицания от пермиссивного глагола к зависимому инфинитиву не является синонимической трансформацией, и были вскрыты причины семантического сдвига, наблюдаемого при переносе отрицания.)

Ограничение на позицию отрицания связано именно с фаворитивным значением, а не с конкретным *Д*-глаголом – конструкция с отрицанием при инфинитиве блокирует фаворитивное прочтение даже у тех глаголов, которые в принципе такое прочтение допускают:

*позволили говорить*

а. локутивно-пермиссивное прочтение “сказали, что можно говорить”;

б. фаворитивное прочтение “не препятствовали говорению”;

*позволили не говорить*

только локутивно-пермиссивное прочтение “сказали, что можно не говорить”.

**3.2.** Прототипические пермиссивные глаголы допускают **безличный пассив** в инфинитивных конструкциях, в то время как безличный пассив с глаголом *дать* в инфинитивных конструкциях невозможен:

(14) *По уставу им было разрешено / позволено (\*дано) спать только до 6 часов.*

Исключение – сильно фразеологизированное употребление – под распорядителем понимается высшая сила, наделенная сверхчеловеческими возможностями:

(15) *Нам не дано предугадать... (Ф. Тютчев).*

По наблюдению Т. Майсака (высказанному в личной беседе), это исключение связано с метафоризацией особого значения пассивного причастия *Д*-глагола, которое наблюдается и вне конструкций с инфинитивом:

(16) *Кому много дано, с того много и взыщется.*

**3.3.** В конструкциях с *Д*-глаголом – в отличие от конструкций с *разрешить* и *позволить* – допускается неодушевленный исполнитель. Причина – более высокая степень фактитивности каузации при фаворитивном прочтении, т.е. при локутивном прочтении исполнитель должен быть способен воспринять сообщение о разрешении, а при фаворитивном прочтении никакой коммуникации между распорядителем и исполнителем не предполагается, поэтому исполнитель может оказаться неодушевленным:

(17) *Он дал (\*разрешил, \*позволил) бульону закипеть и только потом снял с огня.*

Вместе с тем, распорядитель должен иметь достаточную полноту контроля над каузируемой ситуацией. Так, в (17) ситуация, обозначаемая инфинитивом, представляет собой саморазвивающийся процесс, имеющий естественный предел, однако распорядитель имеет косвенный контроль над изменением фазы этой ситуации: он может способствовать запуску процесса (например, поставить бульон на огонь), не препятствовать его протеканию и по мере его завершения имеет возможность воспользоваться результатом. Роль распорядителя, способного контролировать смену фаз процесса, хорошо видна при сравнении правильного примера (18) и неправильного (18’):

(18) *Нужно дать белью высохнуть и только потом гладить;*

(18’) *\*Нужно дать лужам высохнуть и только потом идти гулять.*

**3.4.** В конструкциях с *Д*-глаголами распорядитель обладает даже большей полнотой контроля над каузируемой ситуацией, чем распорядитель в конструкциях с фаво-

ритивным *позволить*. Это проявляется, в частности, в том, что в конструкциях с *Д*-глаголами, в отличие от конструкций с *позволить*, запрещен неодоушевленный агенс:

(19) *Твоя помощь позволила (\*дала) мне избежать неприятностей.*

Сказанное касается и местоимений, замещающих предикацию:

(20) *Ты мне помог, и это позволило (\*дало) мне избежать неприятностей.*

Это ограничение, однако, не является абсолютным [Тоорс 1988; 1991], оно снимается при отрицании, ср. пример (21), взятый из корпуса устных текстов (“Рассказы о сновидениях”, см. [Кибрик, Подлесская 2003]) и его неправильный вариант без отрицания (22):

(21) *И мне ... не давали шумы на улице спать;*

(22) *\*И мне давали шумы на улице спать.*

Неодоушевленный субъект становится возможен именно при отрицании: по-видимому, это связано с тем, что в позитивной форме агенс конструкции осуществляет намеренное контролируемое действие, однако при отрицании конструкция обозначает отсутствие намеренного контролируемого действия, что делает легко доступным следующий шаг семантического сдвига – к неодоушевленной причине.

3.5. И наконец, глагол *разрешить*, как имеющий преимущественно локутивно-пермиссивное прочтение, и, реже, глагол *позволить* – только в локутивно-пермиссивном прочтении – могут управлять прямой речью, см. [Апресян 2003: 334]. *Д*-глаголы, как не имеющие локутивно-пермиссивного прочтения, прямой речью управлять не могут, ср. *Можешь входить, – разрешил / позволил / \*дал Петя.*

#### 4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРМИССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СОСТАВЕ РАЗНЫХ ТИПОВ ИЛЛОКУТИВНЫХ АКТОВ

4.1. Пермиссивные конструкции чаще и свободнее используются в речевых актах запроса-просьбы (испрашивания разрешения), чем в речевых актах ответа-разрешения. Причина – речевые акты разрешения не самостоятельны, а инициируются запросом-просьбой, ср. [Шмелева 1990; Апресян 2003: 330]. Ответ-разрешение может естественно сводиться к реплике согласия или даже невербальному действию без повторной характеристики речевого акта как разрешительного, тогда как именно в запросе содержатся языковые выражения с пермиссивной семантикой. Обычная форма пермиссивного глагола в составе просьбы-запроса – императив, и в этом случае возможны и фаворитивное, и локутивно-пермиссивное прочтение:

(23) *Дай / разреши / позволь детям побегать!*

(24) *Дайте / разрешите / позвольте пройти!*

4.2. Использование пермиссивных глаголов в речевых актах ответа-разрешения наталкивается на ряд ограничений. Прежде всего, в соответствии с природой перформативности, перформативное употребление пермиссивных глаголов несовершенного вида (*разрешать, позволять, давать*) подразумевает только локутивно-пермиссивное прочтение и исключает фаворитивное. Как следствие, естественное перформативное употребление формы 1 лица ед. числа настоящего времени возможно только для инфинитивных конструкций с глаголом *разрешать*. Инфинитивные конструкции с глаголом *давать* вообще не используются перформативно, а соответствующие формы глагола *позволять* используются в инфинитивных конструкциях перформативно только в локутивно-пермиссивном прочтении и в этом случае воспринимаются как книжные:

(25) *Я разрешаю / позволяю / \*даю Вам остаться.*

Невозможно для глагола *давать* и перформативное использование формы страдательного залога (\**Вам дается остаться*). Как показано в [Апресян 2003: 332], перформативное употребление формы страдательного залога в инфинитивных конструкциях с глаголом *разрешать* допустимо (*Проходить в верхней одежде не разрешается!*), а с глаголом *позволять* не вполне естественно (*Проходить в верхней одежде не позволено!*).

**4.3.** Напротив, глаголы совершенного вида – *позволить* в фаворитивном прочтении (не имеющий в этом случае книжного оттенка) и *дать* – могут использоваться в отрицательной форме в речевых актах запрета-противодействия, призыва или предупреждения, где *разрешить* недопустимо. Эти речевые акты не являются дискурсивно связанными, т.е. не являются реакцией на просьбу-запрос:

(26) *Я не позволю / не дам / \* не разрешу тебе врываться в мою комнату без спроса!*

(27) *Не позволим / не дадим / \* не разрешим грабить народное добро!*

В (26), (27) подразумевается непосредственное воздействие распорядителя на исполнителя (речевой акт либо сопровождает это воздействие, либо предупреждает о нем), тем самым, мы имеем дело с более фактивной каузацией, чем при локутивно-пермиссивном прочтении.

#### 5. ПЕРМИССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО ГЛАГОЛА

В устной речи в составе просьбы-запроса вместо инфинитива может употребляться личная форма глагола будущего времени:

(28) а. *Дай / разреши / позволь я это сделаю!*

б. *Дайте / разрешите / позвольте Вася это сделает!*

Значение конструкций с финитной формой знаменательного глагола по сравнению с инфинитивными конструкциями сдвигается от пермиссивного к гортативному (в [Барентсен 2003а: 27], например, предлагается описывать это различие в терминах меньшей активности говорящего в инфинитивных конструкциях, подробнее см. следующий раздел).

Конструкции типа “Д-глагол плюс финитная форма” обнаруживают дополнительное ограничение морфосинтаксической вариативности по сравнению с конструкциями типа “Д-глагол плюс инфинитив” – (1) Д-глагол в них возможен только в форме императива, и (2) препозиция знаменательного глагола в финитной форме невозможна или существенно затруднена, тогда как препозиция инфинитива вполне допустима:

(29) *Пройти дайте!*

(30) *Пройду дайте!*

Особый класс составляют конструкции, в которых говорящий является и распорядителем, и исполнителем. В таких конструкциях Д-глагол обычно сопровождается частицей *-ка*, типичной для директивных речевых актов:

(31) *И тогда я подумал: “Дай-ка я тут посижу!”*

Морфосинтаксическая вариативность таких конструкций еще более ограничена: Д-глагол возможен только в императиве единственного числа, а знаменательный глагол только в первом лице единственного числа. Как это часто бывает в случае грамматикализации, за одной из форм видовременной парадигмы закрепляется особая

прагматическая функция, в данном случае, выражение в форме внутреннего диалога намерения совершить действие.

## 6. ПЕРМИССИВ И ГОРТАТИВ

Пермиссивная конструкция с *Д*-глаголом и знаменательным глаголом в личной форме обнаруживает формальную и функциональную близость с гортативной конструкцией (о месте этих конструкций в составе императивной парадигмы см. [Храковский, Володин 1986: 120–131]; см. также корпусное исследование [Барентсен 2003б], продемонстрировавшее стремительный рост гортативных конструкций с совершенным видом знаменательного глагола в русском языке второй половины двадцатого века):

Пермиссив:

(32) *Дай Вася это сделает!*

Гортатив:

(33) *Давай Вася это сделает!*

Функциональная близость этих конструкций объясняется тем, что и испрашивание разрешения, и предложение осуществить некоторое действие направлены на получение санкции слушающего. В случае гортатива, ожидаемая санкция – подтверждение предположения говорящего о том, что слушающий не возражает против того, чтобы действие было осуществлено. В случае фаворитивного пермиссива, говорящий просит слушающего или устранить препятствия, или воздержаться от того, что могло бы препятствовать действиям говорящего.

Функциональная близость пермиссива и гортатива лежат в основе того широко известного факта, что в языках мира эти два значения часто оказываются рядом в грамматикализационной цепочке. Типичный пример – английский глагол *let*, гортативное значение которого развилось из пермиссивного, см., например [Norreg, Traugott 1993: 10–14]. Особенность русского случая состоит в том, что за различие между пермиссивом и гортативом отвечает вид *Д*-глагола (ср. приводимые в [Барентсен 2003а] параллели с видовым распределением в “обычных”, не грамматикализованных императивах). Обе конструкции сосуществуют в синхронном срезе языка, и нет данных, которые позволяли бы говорить о том, что одна из этих конструкций исторически восходит к другой.

## 7. Д-ГЛАГОЛЫ В ИНФИНИТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПАЦИЕНСОМ

7.1. В отличие от глаголов *разрешить* и *позволить*, *Д*-глаголы допускают еще и конструкции, в которых наряду с инфинитивным дополнением имеется не два, а три именных аргумента: помимо агенса (“распорядителя”) и адресата (“исполнителя”) в них есть еще пациент (оформляется как прямое дополнение в винительном падеже) – объект, который распорядитель передает в пользование исполнителю:

(34) *Петя дал Васе книжку почитать.*

В таких конструкциях – в рабочем порядке мы их будем именовать **гибридными** – совмещается пермиссивное значение (в его фаворитивном прочтении) и прототипическое значение *Д*-глагола, с его исходной падежной рамкой (“старый владелец”=агенса / “объект, передаваемый от одного владельца другому” =пациент / “новый владелец” =адресат): путем передачи объекта в пользование исполнителю распорядитель создает условия для того, чтобы исполнитель осуществил действие. В синтаксическом смысле гибридность этих конструкций можно интерпретировать как совмещение синтаксических признаков актантаго и сирконстантного (целевого) инфинитива (о семантических классах глаголов, допускающих бессюжный сирконстантный зависимый инфинитив, см. [Пекелис 2002]).



7.2. В общем случае в инфинитивных конструкциях с *дать* – как и в других пермиссивных конструкциях – субъект инфинитива не эксплицируется и его референт совпадает с референтом адресата матричного глагола, что подтверждается стандартными синтаксическими тестами, например, контролем плавающих определителей в составе инфинитивной группы (см. [Тестелец 2001: 295]):

(35) *Мы дали / разрешили / позволили сыну<sub>i</sub> побыть одному<sub>i</sub>.*

В гибридных конструкциях одновременное использование фаворитивной схемы и схемы “смены владельца” приводит к возникновению нетривиальных синтаксических свойств конструкции.

Согласно базовому правилу, сформулированному независимо в [Jackendoff 1972] и [Козинский 1985: 112–116], а впоследствии уточненному и блестяще интерпретированному в [Тестелец 2001: 288–295], референцию субъекта инфинитивного оборота контролирует один из актантов матричного предиката в соответствии с иерархией семантических ролей пациенс > адресат > агенс. В примерах типа (35) *Мы дали / разрешили / позволили сыну<sub>i</sub> побыть одному<sub>i</sub>*, построенных по фаворитивной схеме, это правило соблюдается: из двух актантов матричного глагола, агенса и адресата, референцию субъекта инфинитивного оборота контролирует актант, расположенный в иерархии левее – адресат.

В гибридных конструкциях типа (34) *Петя дал Васе книжку почитать* это правило нарушено: возник “более левый” актант, пациенс (*книжку*), но контроль тем не менее сохраняется за адресатом, находящимся в иерархии правее:

(34') *Петя дал Васе<sub>i</sub> самому<sub>i</sub> книжку почитать.*

В [Козинский 1985] это отклонение регулируется дополнительным правилом, его можно назвать “правилом передачи контроля вправо по иерархии”. Согласно этому дополнительному правилу партиципant, общий для матричного глагола и для инфинитива, утрачивает возможность контролировать референцию субъекта инфинитивной группы, и контроль переходит к актанту, находящемуся на один шаг правее в иерархии. Обычно при инфинитиве этот партиципant повторно не выражается, но выполняет роль пациенса или инструмента.

7.3. Правило передачи контроля вправо активно эксплуатируется в интерактивном дискурсивном режиме, особенно когда в инфинитивной группе нет естественной возможности выразить соответствующий актант. Так, в следующем примере, взятом из корпуса устных текстов (“Рассказы о сновидениях”, см. [Кибрик, Подлесская 2003]):

(36) *Дай мне поиграть машинку!*

референт субъекта инфинитивной группы контролируется адресатом (*мне*) матричного глагола (*дай*), а именная группа *машинку* является одновременно пациенсом матричного глагола и партиципantом инфинитива (*поиграть*). Выражение актанта с пациентно-инструментальной ролью при глаголе *поиграть* затруднено в единственном числе: *в машинки, в куклы, но ?в машинку, ?с машинкой, ?машинкой*. Тем не менее, соответствующий партиципant маркируется как прямое дополнение (винительным падежом) и линейно помещается после инфинитива – в позицию пациенса инфинитивной группы. Возможности такого рода маркирования свидетельствуют о высокой степени синтаксической интеграции матричного глагола и инфинитива.

7.4. Другим свидетельством синтаксической интеграции гибридных конструкций может служить запрет на пассивизацию. Пациенс, общий для матричного глагола и для инфинитива, не может продвинуться в позицию подлежащего, ср. *\*ему была дана*

книга почитать, \*ему была дана машинка поиграть. В самостоятельном же употреблении глагол *дать* допускает пассивизацию, ср. *Пете дали справку* => *Пете была дана справка*. Тем самым, есть основания говорить, что в инфинитивных конструкциях с общим пациенсом у глагола *дать* ограничивается ресурс возможных синтаксических преобразований, что свидетельствует о его частичной грамматикализации.

7.5. В интерактивном дискурсивном режиме конкретно-референтный общий пациент легко опускается, если его референция восстанавливается из контекста: *У тебя что уже варенье готово? Дай попробовать!*; *Какой у тебя велосипед классный! Даешь прокатиться?* Предложения с опущенным конкретно-референтным пациенсом материально тождественны собственно пермиссивным конструкциям, а с функциональной точки зрения, отчетливо демонстрируют совмещение пермиссивного значения с исходным значением “смены владельца” (‘дай велосипед’ плюс ‘разреши [на нем] прокатиться’).

Интеграция таких конструкций достигает максимума, когда в вершине инфинитивной группы используются “консумационные” глаголы, типа *(по)есть*, *(по)пить*, *(по)курить*. Эти глаголы позволяют использовать в качестве партиципанта, общего для матричного глагола и для инфинитива, неопределенно-референтную именную группу, обозначающую объект потребления (‘еда’, ‘питье’, ‘курево’), неопределенное местоимение или вовсе опускать соответствующий актанта:

(37) *Дай водички попить!* => *Дай чего-нибудь попить!* => *Дай попить!*

7.6. Сформулированное И.Ш. Козинским “правило передачи контроля вправо по иерархии” более жестко работает, если общий партиципанта – неодушевленный объект, как *книжку* в (34) или *машинку* в (36). Если же пациент матричного глагола – одушевленный объект или, тем более, лицо, то при одном и том же матричном предикате, в нашем случае – при глаголе *дать*, возможны варианты выбора контролера субъекта инфинитивной группы. Субъект инфинитива может контролироваться пациенсом – в полном соответствии с иерархией семантических ролей. Другой вариант – субъект инфинитива контролируется адресатом матричного глагола, а пациент матричного глагола кореферентен другому партиципantu инфинитива. В конструкциях с одушевленным пациенсом появляются признаки ослабления интеграции – так, инфинитивная группа может отделяться от группы матричного глагола короткой паузой, группа матричного глагола может завершаться с понижением тона (с интонацией завершенности), в инфинитивной группе допускается употребление прономинальной копии пациента матричного глагола:

- (38) *Петя дал мне двух студентов (\) опробовать [на них] мою методику;*  
(39) *Петя дал мне двух информантов (\) поспрашивать [их] про склонение;*  
(40) *Мне дали двух учеников (\) к экзамену готовить;*  
(41) *Мне в жэке дали электрика (\) проводку чинить;*  
(42) *Петя дал мне личного секретаря (\) перепечатывать бумаги;*  
(43) *Петя дал мне двух помощников (\) контрольные проверять.*

В данной группе примеров в (38), (39) и (40) субъект инфинитива контролируется адресатом матричного глагола (*мне*), в (41) и (42) – пациенсом матричного глагола (*электрика*, *секретаря*), а в (43) вне контекста возможны три прочтения – “я буду делать что-то, а помощники будут проверять контрольные” (контролер – пациент), “я буду проверять контрольные, а помощники будут мне помогать” (контролер – адресат), “мы вместе будем проверять контрольные” (“совместный” контроль). Заметим, что даже в том случае, когда субъект инфинитивной группы контролируется пациенсом матричного глагола, а адресат матричного глагола не является партиципantom инфинитива, как в (41) и (42), адресат матричного глагола не устраняется из ситуации,

обозначаемой инфинитивной группой: подразумевается, что его референт – лицо, вовлеченное в эту ситуацию, например, заинтересованное в ее результате (в (41) – лицо, заинтересованное в ремонте проводки, в (42) – лицо, заинтересованное в перепечатавании бумаг).

7.7. Оговоримся, что для конструкций с общим пациенсом аргументированно мы можем говорить только о референциальном (“ролевом”) контроле, т.е. можно обсуждать, кто из участников матричной ситуации является “исполнителем” в ситуации, обозначенной инфинитивной группой. Вопрос о морфосинтаксическом контроле в таких конструкциях требует дополнительного изучения. По-видимому, признаки морфосинтаксического контроля легче обнаружить в тех случаях, когда референция субъекта инфинитивной группы контролируется адресатом матричного глагола, чем в тех случаях, когда референция субъекта инфинитивной группы контролируется пациенсом матричного глагола. Так, при адресатном контроле допустимо (хотя и несколько неудобно) кореферентное употребление рефлексива в составе инфинитивной группы:

(44) *Мне<sub>i</sub> дали двух молодых сотрудников готовить [их] себе<sub>i</sub> на смену.*

При пациентном контроле для теста на рефлексив не удастся подобрать естественного контекста. Однако, как уже сказано, доказательство морфосинтаксического контроля в таких конструкциях требует специального исследования.

7.8. Альтернативный “ролевой” контроль субъекта инфинитивной группы в случаях типа (38)–(43), по-видимому, связан с одновременным действием конкурирующих тенденций. Причина конкуренции – непрототипический пациент, обладающий высокой агентивностью. Если конструкция форматируется по когнитивной схеме “смены владельца”, то “неуместная” агентивность пациента игнорируется, права пациента на контроль субъекта инфинитивной группы нейтрализуются, и ими – в соответствии с дополнительным правилом И.Ш. Козинского – наделяется адресат. В этом случае пациент понимается как лишенный самостоятельности объект, переходящий в распоряжение от старого владельца к новому. Если, напротив, в конструкции актуализируется высокая агентивность пациента, то включается базовая иерархия семантических ролей пациент > адресат > агент, и в соответствии с ней пациент получает право контролировать субъект инфинитива. Вместе с тем, полностью “искоренить” влияние базовой схемы “смены владельца” не удастся, и адресат матричного глагола, даже утрачивая право контролировать субъект инфинитива, продолжает оставаться семантически интегрированным в ситуацию, обозначаемую инфинитивной группой, например, в качестве лица, заинтересованного в ее осуществлении. Именно наличие адресата, проецируемое базовой схемой “смены владельца”, обеспечивает грамматическую гибридность конструкции – совмещение в ней свойств конструкций с актантным инфинитивом (в данном случае – собственно пермиссивных) и конструкций с бессоюзным сирконстантным (целевым) инфинитивом.

#### **8. Д-ГЛАГОЛЫ В ИНФИНИТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С РЕЛЯЦИОННЫМИ ИМЕНАМИ: Д-ГЛАГОЛЫ КАК ЛЕКСИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СЕРИИ OPER И/ИЛИ СЕРИИ CAUS**

8.1. При Д-глаголах в позиции прямого дополнения широко употребляются реляционные имена, являющиеся семантическим центром конструкции и образующие с глаголом *дать* тесное семантическое и синтаксическое единство, ср. *дать бал*, *дать отпор*, *дать течь* и многие другие. Некоторые из таких конструкций могут иметь сенсациональный актант, который оформляется как инфинитивная группа:

(45) *Петров дал Иванову возможность уехать;*

(46) *Петров дал Иванову разрешение уехать;*

(47) *Петров дал Иванову обещание уехать.*

Инфинитивные конструкции с реляционным именем в позиции прямого дополнения отличаются по своим семантическим и синтаксическим свойствам от конструкций, в которых инфинитив непосредственно подчинен глаголу *дать*. Наиболее существенное отличие касается контроля субъекта в инфинитивной группе. Как мы видели, субъект инфинитива в собственно инфинитивных конструкциях в общем случае контролируется адресатом матричного глагола (*дать*), в особых случаях – пациенсом матричного глагола, но никогда не агенсом матричного глагола. В конструкциях с реляционными именами позиция пациенса матричного глагола закрыта самим реляционным именем и не участвует в распределении прав на контроль субъекта инфинитивной группы. Выбор же возможен между агенсом и адресатом матричного глагола. Этот выбор определяется словарными свойствами реляционного имени – его падежной рамкой. Слова *обещание, согласие, обет, клятва, слово, обязательство, зарок* и им подобные требуют в конструкции с *дать* агентивного контроля, что легко демонстрируется и синтаксическими тестами:

(48) *Маша<sub>i</sub> дала отцу обещание одной<sub>i</sub> в лес не ходить.*

Слова *разрешение, совет, поручение, приказ, задание* и подобные им требуют в конструкции с *дать* адресатного контроля:

(49) *Отец дал Маше<sub>i</sub> совет одной<sub>i</sub> в лес не ходить.*

Наконец, третью группу составляют слова типа *возможность, шанс, силы, право*:

(50) *Отец дал Маше<sub>i</sub> право делать эту работу самой<sub>i</sub>.*

Как видно из (50), в конструкции с *дать* эти слова также требуют адресатного контроля, но в отличие от слов типа *разрешение*, имеют исходную двухместную, а не трехместную падежную рамку (ср. *право* [чье, что делать] vs. *разрешение* [чье, кому, что делать]). Поэтому для слов этого класса в конструкции с *дать* осуществляется акцессивное преобразование, типичное для каузативных конструкций – добавление партиципанта с агентивными свойствами. Со словами типа *разрешение, совет, поручение, приказ, задание* в конструкции с *дать* акцессивного преобразования не происходит, поскольку соответствующий партиципанта с агентивными свойствами уже содержится в их исходной падежной рамке.

**8.2.** Наличие акцессивного преобразования и адресатного контроля сближает *дать*-конструкции со словами третьей группы и собственно инфинитивные пермиссивные конструкции с глаголом *дать*. В ряде контекстов они оказываются взаимозаменяемыми:

(51) *Родители дали детям право / возможность встретиться <=> Родители дали детям встретиться.*

Однако в конструкциях с реляционным именем связь между глаголом *дать* и инфинитивом опосредована, что приводит к снятию ряда ограничений, которые в собственно инфинитивных конструкциях обеспечивали семантическую и грамматическую интеграцию. Сравним собственно инфинитивную пермиссивную конструкцию с *дать* и наиболее близкую к ней конструкцию с реляционным именем *дать возможность*.

**А.** В конструкции с *дать возможность* разрешается использовать в позиции агенса реляционные имена или анафорические местоимения, отсылающие к пропозиции:

(52) *Хорошее образование дало ему возможность быстро найти работу;*

(53) *Он закончил престижный институт, и это дало ему возможность быстро найти работу.*

В собственно инфинитивных конструкциях с *дать*, как мы видели выше, возможен исключительно одушевленный агенс:

- (52') \**Хорошее образование дало ему быстро найти работу*;  
(53') \**Он закончил престижный институт, и это дало ему быстро найти работу*.

**Б.** В конструкции с *дать возможность* разрешается использовать отрицание при инфинитиве, тогда как в собственно инфинитивных конструкциях с *дать*, как было показано выше, отрицание возможно только при *дать* и невозможно при инфинитиве:

- (54) *Петров дал Иванову возможность не отвлекаться на поиски случайной работы*;  
(55) \**Петров дал Иванову не отвлекаться на поиски случайной работы*.

**В.** Поскольку в конструкциях с *дать возможность* реляционное имя (*возможность*) синтаксически является полноценным прямым дополнением, эти конструкции легко пассивизируются, тогда как в собственно инфинитивных конструкциях с *дать*, как было показано выше, пассивизация невозможна:

- (56) *Ему была дана возможность [спокойно] почитать*;  
(57) \**Ему было дано [спокойно] почитать*.

**Г.** Конструкция с *дать возможность* нейтральна относительно противопоставления фаворитивного и локутивно-пермиссивного прочтения, поэтому в несовершенном виде она может употребляться перформативно, тогда как для собственно инфинитивных конструкций с *дать*, как было показано, перформативное употребление невозможно:

- (58) *Даю вам последнюю возможность решить эту задачу*;  
(59) \**Даю вам решить эту задачу*.

**8.3.** На фоне перечисленных различий обращает на себя внимание одно существенное сходство между конструкциями с реляционными именами типа *дать возможность* и собственно инфинитивных конструкций с *дать*. Оба этих класса конструкций представляют из себя гораздо более тесное морфосинтаксическое единство, чем конструкции с полнозначным глаголом *дать* в исходном значении “смены владельца”. Высокая степень интеграции таких конструкций проявляется не только в упоминавшихся выше грамматических ограничениях, но и в особенностях их дискурсивного поведения. Так, при повторном упоминании эти конструкции не могут быть свернуты и представлены одним глаголом *дать* – без реляционного имени или без инфинитива, соответственно, тогда как полнозначный глагол *дать* естественно выступает представителем пропозиции при отсылке к ней в последующем дискурсе, ср.:

- (60) *Я попросил его дать мне машину, и он дал; Он не хотел давать мне машину, но, в конце концов, дал.*

но

- (61) ?*Я попросил его дать мне поспать, и он дал*;  
(62) ?*Я попросил его дать мне возможность поспать, и он дал*.

Интересно, что гибридные конструкции с *дать*, в которых наряду с инфинитивным дополнением имеется неодушевленный пациенс (*Петя дал Васе книжку почитать*), могут быть свернуты и представлены в последующем дискурсе глаголом *дать* без инфинитива. Так приведенный выше пример (36) *Дай мне поиграть машинку!* взят из следующего реального контекста (корпус “Рассказов о свидениях”):

- (36') *Подходит это ... мальчик ... ну к другому и говорит: “Дай мне поиграть машинку”. А тот говорит: “Нет, я тебе не дам, потому что ты со мной дерёшься”. А он говорит: “Ну, пожалуйста”. Ну, он дал.*

Эта особенность дискурсивного поведения – еще одно проявление “гибридности” конструкций с неодушевленным пациенсом, общим для глагола *дать* и подчиненного инфинитива: такие конструкции совмещают свойства пермиссивных инфинитивных конструкций и свойства, присущие прототипическому употреблению глагола *дать*, с его исходной падежной рамкой (агенс / пациенс / адресат).

## 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прототипическое значение глагола *дать* – “смена владельца” – подвергается в рассмотренных конструкциях семантическому сдвигу, который можно квалифицировать как метафоризацию структуры события в смысле Дж. Лакоффа [Lakoff 1992]: в данном случае метафорическим переносом связываются предоставление физического объекта в собственность и предоставление ресурса (возможности / условий) для осуществления действия (пермиссивность). Грамматикализация, как известно, почти всегда связана с семантической редукцией, опирающейся на перенос по сходству от конкретных понятий к более абстрактным (см., например [Hopper, Traugott 1993: 77–80] и библиографию там же). Обратное, разумеется, не верно – метафоризация значения не обязательно влечет за собой грамматикализацию единицы. Однако можно предположить, что типы семантических сдвигов, которые обнаруживаются у некоторой единицы в составе грамматикализованных конструкций, составляют подкласс тех сдвигов, которые для данной единицы возможны в самостоятельном употреблении (для ряда языков это предположение подтверждено специальными исследованиями, см., например [Taub 1998]). Так, в русском языке имеются многочисленные примеры метафорических употреблений глагола *дать*, не обнаруживающих существенных признаков грамматикализации, и для них наиболее типичен переход именно в каузативно-пермиссивную зону, ср. *Нам вчера дали горячую воду; Торговля недвижимостью дает ему миллион в год; Ему дали отпуск; Семена дали ростки* и проч. Поэтому при многофакторном анализе инфинитивных конструкций с *дать* правомерно рассматривать метафорический сдвиг данного типа в качестве косвенного аргумента в пользу признания таких конструкций грамматикализованными.

Прямым же аргументом в пользу признания таких конструкций грамматикализованными является тот факт, что семантический сдвиг от прототипического значения “смены владельца” к каузативно-пермиссивному значению в этих конструкциях сопровождается редукцией семантических, сочетаемостных и морфосинтаксических “свобод” *D*-глагола. Основным симптомом редукции является морфосинтаксическая интеграция компонентов этих конструкций, которая обнаруживается в реакциях на такие тесты, как пассивизация, изменение полярности, в ограничениях на одушевленность агенса и одушевленность адресата, в ограничениях на контроль референции субъекта инфинитивной группы.

Нам удалось также обнаружить еще один класс симптомов, позволяющих квалифицировать пермиссивные конструкции с *дать* как грамматикализованные. Этот класс симптомов связан с употреблением интересующих нас конструкций в дискурсе. В частности, это изменение – по сравнению с исходным употреблением – условий употребления данной единицы в речевых актах определенного типа. В нашем случае это предпочтительное употребление инфинитивных конструкций с *дать* в речевых актах просьбы-запроса, а также ограничения на их использование в перформативных речевых актах. Насколько нам известно, до настоящего времени дискурсивные параметры такого рода всерьез не исследовались в качестве критериев грамматикализации.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 2003 – Ю.Д. Апресян. *Разрешать* 1, *позволять* 1, *дозволять* 1 // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М., 2003.
- Барентсен 2003а – А. Барентсен. О побудительных конструкциях с исполнителем 1-ого лица // Dutch contributions to the Thirteenth international congress of Slavists. Ljubljana: Linguistics. Amsterdam; New York, 2003.

- Барентсен 2003б – А. Барентсен. О некоторых изменениях в употреблении выражений призыва к совместному действию в русских текстах последних двух столетий // W.Honselaar, H.Van der Tak et al. (eds.). *Time flies. A festschrift for William R. Veder. Pegasus Oost-Europese Studies 2. Uitgeverij Pegasus. Amsterdam, 2003.*
- Бенвенист 1974 – Э. Бенвенист. Отношения времени во французском глаголе // Э. Бенвенист. *Общая лингвистика. М., 1974.*
- Грамматика 1970 – Грамматика современного литературного языка. М., 1970.
- Грамматика 1980 – Русская грамматика. М., 1980.
- Иорданская 1985 – Л. Иорданская. Семантико-синтаксические особенности сочетаний частицы *не* с иллокутивно-коммуникативными глаголами в русском языке // Rling. 1985. V. 9. № 2–3.
- Кибрик, Подлеская 2003 – А.А. Кибрик, В.И. Подлеская. К созданию корпусов устной русской речи // НТИ. 2003. Сер. 2. № 10.
- Козинский 1985 – И.Ш. Козинский. Кореферентные связи инфинитивных оборотов в русском языке // В.С. Храковский (ред.). Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985.
- Недялков, Никитина 1965 – В.П. Недялков, Т.Н. Никитина. О признаках аналитичности и служебности (на материале каузативных конструкций) // В.М. Жирмунский, О.П. Суник (ред.). Аналитические конструкции в языках различных типов. М.; Л., 1965.
- Папучева 1996 – Е.В. Папучева. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке: Семантика нарратива). М., 1996.
- Пекелис 2002 – О.Е. Пекелис. Субъект зависимого инфинитива в русском и итальянском языках (проблема контроля) // Неопубликованная дипломная работа (РГГУ). М., 2002.
- Подлеская 2004 – В.И. Подлеская. Глагольные категории во взаимодействии: русские пермиссивные конструкции со вспомогательным глаголом *дать* // Типологические обоснования в грамматике. К 70-летию профессора В.С. Храковского. М., 2004.
- Тестелец 2001 – Я.Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Храковский, Володин 1986 – В.С. Храковский, А.П. Володин. Семантика и типология императива: русский императив. Л., 1986.
- Шмелева 1990 – Е.А. Шмелева. Разрешение и запрещение как побудительные речевые акты // Л.А. Бирюлин, В.С. Храковский (ред.). Функционально-типологические аспекты анализа императива. Ч. 2. Л., 1990.
- Heine et al. 1993 – B. Heine, T. Güldeman, C. Kilian-Hatz, D.A. Lessau, H. Roberg, M. Schladt, T. Stolz. Conceptual shift: A lexicon of grammaticalization processes in African languages [Africanische Arbeitspapiere]. Institut für Africanistik, Universität zu Köln, 1993.
- Heine, Kuteva 2002 – B. Heine, T. Kuteva. World lexicon of grammaticalization. Cambridge, 2002.
- Hopper, Traugott 1993 – P.J. Hopper, E.C. Traugott. Grammaticalization. Cambridge, 1993.
- Jackendoff 1972 – R.S. Jackendoff. Semantic interpretation in generative grammar. Cambridge (Mass.), 1972.
- Lakoff 1992 – G. Lakoff. The contemporary theory of metaphor // A. Ortony (ed.). Metaphor and thought. Cambridge, 1992.
- Langacker 1995 – R.W. Langacker. Foundations of cognitive grammar. V. 1–2. Stanford, 1995.
- Lyons 1978 – J. Lyons. Semantics. Cambridge, 1978.
- Newman 1993 – J. Newman. The semantics of giving in mandarin // R.A. Geiger, B. Rudzka-Ostyn (eds.). Conceptualizations and mental processing in language. Berlin; New York, 1993.
- Newman 1996 – J. Newman. Give: a cognitive linguistic study. Berlin; New York, 1996.
- Newman 1997 – J. Newman (ed.). The linguistics of giving. Amsterdam; Philadelphia, 1997.
- Shibatani 1994 – M. Shibatani. Benefactive constructions. A Japanese-Korean comparative perspective // N. Akatsuka (ed.). Japanese / Korean linguistics. V. 4. Stanford, 1994.
- Shibatani 2001 – M. Shibatani. Introduction: Some basic issues in the grammar of causation // M. Shibatani (ed.). The grammar of causation and interpersonal manipulation. Amsterdam; Philadelphia, 2001.
- Taub 1998 – S. Taub. The relation between grammaticalization and event structure metaphor: evidence from Uighur auxiliaries // J.-P. Koenig (ed.). Discourse and cognition: bridging the gap. Stanford, 1998.
- Toops 1988 – G.H. Toops. The Russian verb *da(va)t'*: its status as a causative auxiliary // University of Chicago working papers in linguistics. V. 4. 1988.
- Toops 1991 – G.H. Toops. Russian “*da(va)t'*” + infinitive: ‘to give’, ‘to let’, or ‘to have’? // Rling. T. XLV. № 151/152. 1991.

© 2005 г. М.Е. СОБОЛЕВА

**МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА  
В ГЕРМАНИИ**

В статье подробно рассматриваются лингвистические концепции немецких философов XIX века (К.Л. Рейнгольд, О.Ф. Группе, Г. Гербер, Ф.М. Мюллер, Г. Рунце). Концепции изучаемых в статье ученых оказали большое влияние на целый ряд течений и школ в немецкой философии языка, в том числе на аналитическую философию Л. Виттгенштейна, на идеи неогумбольдтианства и др.

Язык в XX веке стал одним из важнейших объектов исследования философии. При этом внимание последней отчасти так сильно концентрировалось на языке, “что философию как таковую стали идентифицировать с критикой языка” [Kutschera 1971: 11]. Под “критической философией языка” обычно понимается прежде всего аналитическая философия, возникновение которой традиционно связывают с именами Г. Фреге, Д.Э. Мура, Б. Рассела и Л. Виттгенштейна, расцвет этой философии приходится примерно на середину двадцатого века и отождествляется с целой группой имен англо-американских философов, таких как Д. Остин, Д. Серл, П. Строссон, А. Тарский, Г. Райл, У. Куайн, М. Даммит и др. При этом редко спрашивают о том, имеет ли критическое мышление о языке более глубокие корни, а если этот вопрос и задают, то в качестве ответа обычно предлагают линию: Ф. Бэкон (1561–1626), Дж. Локк (1632–1704), Дж. Беркли (1685–1753). Более близкие к нам по времени предшественники аналитической философии языка часто оказываются забытыми.

Термин “философия языка” впервые входит в научный обиход в немецкоязычном пространстве во второй половине XVIII века благодаря таким философам, как Г.К. Лихтенберг (1742–1799), И.Г. Гаман (1730–1788), И.Г. Гердер (1744–1803), В. фон Гумбольдт (1767–1835), в творчестве которых язык приобретает ключевое значение [Borsche 1996: 8; Vermees 1999: 12]. Характерной чертой их работ, помимо прочего, является стремление осмыслить этнический язык как конкретное историческое образование среди других этнических языков и по отношению к ним. По словам Гумбольдта, например, одна из кардинальных задач философии состоит в том, “чтобы сделать язык – и язык вообще, и отдельные языки – предметом самостоятельного, от всего постороннего свободного и систематического исследования, которое должно стать средством познания человека на разных ступенях его культурного развития” [Гумбольдт 1985: 249]. Таким образом, в философии этого периода происходит отход от свойственной рационалистическому просвещению абстрактной идеи “языка вообще”, закладываются основы сравнительно-исторического языкознания и этнической психологии, а также формируется понимание естественного языка как фактора, обуславливающего мышление.

Язык тематизируется, с одной стороны, как особая форма выражения народного духа со всеми присущими ему чувствами, желаниями, особенностями мировосприятия. Типичные для данной позиции высказывания встречаем у Гумбольдта: “язык – это объединенная духовная энергия народа”, “язык всегда воплощает в себе своеобразие целого народа” [Гумбольдт 1985: 343]. С другой стороны, любой отдельный язык рассматривается как воплощение и проявление общечеловеческого разума. Язык является не только инструментом разума; разум и язык неразрывно связаны друг с другом и вза-



имно друг друга обуславливают. Уже в работах Лихтенберга, Гамана и Гердера высказываются замечания к кантовской “Критике чистого разума” в связи с тем, что она не учитывает это обстоятельство при попытке дать обоснование познания, т.к. берет за точку отсчета чистое “сознание вообще”. Для этих философов разум есть язык и критика разума есть критика языка, как и наоборот – критика языка по существу является критикой разума. Тем самым они намечают основные темы критической философии языка: взаимоотношение языка и мышления, решение кантовского вопроса об условиях возможности познания как вопроса о функциях языка в познавательном процессе. Таким образом, “критика языка” утверждает себя в качестве тенденции в философских рассуждениях о природе и характере разума и познания.

О том, что эта тенденция прослеживается на протяжении всего девятнадцатого века, свидетельствуют работы практически забытых и известных лишь узкому кругу специалистов авторов, рассмотрению идей которых будет посвящена данная работа. Заметим, что в истории философии традиционно считается, что в это время в Германии доминировала идеалистическая философия духа, а философия языка практически не существовала. Как справедливо отмечает З. Шмидт, издавший совместно с Г.-Й. Клереном антологию текстов по критической философии языка девятнадцатого века: “Известен, как правило, вклад Гаманна, Гердера и Гумбольдта. Напротив, все еще неизвестно, что поздний XIX век с Гербером, Рунце и Мюллером также создал целый корпус из постановок вопросов и моделей ответов по центральным проблемам философии языка, пытаясь соединить официальное направление современной философии от Декарта до Гегеля с его боковыми ветвями, в которых от Бэкона и Локка до Гумбольдта язык рассматривался в качестве основной темы теории познания” [Schmidt 1971: 5]. В том же духе высказывается Г.-Й. Клерен, замечая, что в истории философии языка “между восемнадцатым и двадцатым веками имеется пробел, так что возникает впечатление, что девятнадцатое столетие, особенно в Германии, в области философии языка не может представить ни результаты исследований, ни даже попытки предпринять таковые” [Cloeren 1971: 9]. Отсюда вытекает задача восстановить “историческую справедливость” и подтвердить непрерывность рассуждений в области критической философии языка. Для этого следует включить в “школьную” историю философии “несправедливо забытую, ставшую апокрифической” [Schmidt 1971: 9] “критику языка” девятнадцатого века.

Разумеется, в рамках поставленной задачи невозможно говорить о полноте описания. Цель данной работы состоит не в том, чтобы составить исчерпывающий каталог имен тех, кто когда-либо высказывался по проблемам языка, а в том, чтобы, по возможности, представить наиболее репрезентативный спектр мнений тех авторов, в центре внимания которых находились проблемы теории познания и которые в оппозиции к Канту, не учитывавшему в своем обосновании возможности познания фактор обусловленности мышления языком, и Гегелю, логика науки которого основывается на “схоластическом” дедуктивном выведении одних абстрактных понятий из других, смогли подойти к их разрешению позитивистски, т.е. ориентируясь на методы и требования эмпирических наук. Тем самым можно также ожидать, что попутно прояснится и уточнится содержание понятия “критика языка”, относительно которого до настоящего времени не выработано общего соглашения в силу того, что подходы, методы и результаты, предлагаемые различными философами, значительно отличаются друг от друга [Schmidt 1971: 9; Bermes 1999: 13].

**Карл Леонард Рейнгольд** (1757–1823) – профессор философии в Йене, а затем в Киле – оставил после себя две работы, в которых основным предметом осмысления является язык: “Основы (Grundlegung) синонимии для общего использования языка в философских науках” (Киль 1812) и “Человеческая способность познания с точки зрения опосредуемой языком связи между чувственностью и способностью к мышлению” (Киль 1816)<sup>1</sup>. Основ-

<sup>1</sup> Заметим, что в творчестве Рейнгольда выделяют четыре стадии, среди которых философия языка хронологически является последней [Bondeli 1995].

ные его идеи, высказанные в данных работах, заключаются в следующем: во-первых, он констатирует состояние стагнации в философии, связанной с засилием в ней спекулятивной метафизики; во-вторых, предлагает свой проект превращения метафизики в научную философию, основывающийся на критике языка. По его мнению, для того, чтобы философия смогла стать наукой, “не хватает критики языка, которая стала бы метакритикой разума” [Reinhold 1971: 27; ср. 28].

Симптомом, свидетельствующим о стагнации в философии, является, по мнению Рейнгольда, наличие множества несовместимых друг с другом направлений, представители которых верят в истину, но не знают, как ее достичь. Причем скептицизм и догматизм, материализм и идеализм “все время выступают в меняющихся одеждах” [Reinhold 1971: 28]. Причину этого он видит в отсутствии общего философского языка: “В метафизике или так называемой спекулятивной философии имеются только особенные, отклоняющиеся друг от друга и противоречащие друг другу способы использования языка”. Как он считает, “многозначность и произвольность выражений”, которые применяет философия, приводят к тому, что “ее фундамент и научность являются спорными до сегодняшнего дня” [Reinhold 1971: 30].

Однако, по мнению Рейнгольда, данная ситуация не является безысходной и непреодолимой. Если в эмпирических науках возможно взаимопонимание (и, следовательно, прогресс) за счет строгой однозначности понятий, то и философия должна стремиться выработать единый научный язык. С этой целью он предлагает свою программу, в которой можно выделить две части: критическую, констатирующую создавшееся положение дел, и позитивную, предлагающую выход из кризисного состояния.

Согласно ей, прежде всего следует признать “незамечаемое влияние” языка, благодаря которому “слова, которые должны служить разуму, господствуют над ним” [Reinhold 1971: 27]. “Неразбериха” (Durcheinander) в отношениях языка и мышления приводит к “путанице”, “смешению”, “ошибочному использованию языка” и “настоящему злоупотреблению языком” [Reinhold 1971: 39]. При “обычном, вульгарном, бездумном” использовании языка господствует “привычка, которая выдает себя за мышление и определяет смысл слов”. То же самое наблюдается и в метафизике: “При так называемом философском, в действительности же софистическом и партикулярном, использовании языка одной секты именно привычка, принятая благодаря фантазии и произволу, задающего тон, и утвердившаяся благодаря уважению к нему и благодаря его ловкости, принимает видимость облагороженного мышления (несмотря на то, что это даже не действительное мышление) и выдает себя за улучшение обычного словоупотребления, несмотря на то, что от общего (для всей философии как науки. – М.С.) словоупотребления, которое оно обгоняет, оно отклоняется не меньше, чем обыденное, которое от него отстаёт” [Reinhold 1971: 39]. В результате получается, что “как в обычном использовании языка, так и в любом партикулярном, только кажется, что мышление и привычка взаимно обслуживают друг друга и господствуют друг над другом и, таким образом, обладают и пользуются равными правами; между тем, однако, мышление, служащее привычке, может быть только видимостью мышления, а привычка, которая, как кажется, не менее служит мышлению, в действительности господствует над ним и не дает проявиться мышлению как таковому, не дает ему слова” [Reinhold 1971: 39]. Итак, прежде всего, согласно Рейнгольду, следует осознать, что мышление находится во власти языка.

Вторым этапом его программы является освобождение мышления от господства языка. Предлагаемое им решение основывается на том, чтобы избежать смешения значений родственных по смыслу слов (синонимов) и одинаково называемых понятий (омонимов) [Reinhold 1971: 30], т.е. заключается в выработке строгого логического языка. Только благодаря тому, что будет определено и зафиксировано значение наиболее употребимых в философии синонимов и омонимов, может и должно прекратиться бессознательное господство в ней обыденного языка и базирующееся на его многозначности противостояние отдельных философских направлений, а философия сможет превратиться в “подлинную науку в истинном значении этого слова”. Эта за-

дача выполнима прежде всего за счет составления “объясняющего списка” (erklärendes Verzeichnis) синонимов и омонимов [Reinhold 1971: 33]. Важнейший результат составления такого списка Рейнгольд видит в установлении области априорного, т.е. собственно философского, познания – в выделении “чистого познания в его различии, которое более не разъединяет его, и в его связи с эмпирическим, которое более не смешивает его с ним” [Reinhold 1971: 34]. Именно чистое познание позволит достичь “истинного во всеобщем”, тогда как своеобразие эмпирического состоит в том, что оно способно познавать лишь “вероятное в особенном”.

Очевидно, что программа Рейнгольда имеет терапевтический характер, поскольку она нацелена на создание единого фундамента для философского дискурса и преодоления на этой почве противоречий между школами и направлениями<sup>2</sup>. Аналитическое различение неразрывно связанных друг с другом мышления и языка, отделение форм мышления от форм языка, а также создание логически безупречного профессионального философского языка должны обеспечить успех на этом пути. В целом, применение аналитического метода к исследованию языка должно, по мысли Рейнгольда, способствовать прогрессу в области философского знания.

**Отто Фридрих Группе** (1804–1876) – журналист, писатель, критик, филолог и философ, секретарь прусской академии искусств, экстраординарный профессор классической филологии в Берлинском университете (1844 г.) – создал, как минимум, три работы, в которых язык является основной темой рассуждений: “Антеи (Antäus). Переписка по поводу спекулятивной философии в ее конфликте с наукой и языком” (Берлин 1831); “Поворот (Wendepunkt) философии в девятнадцатом веке” (Берлин 1834); “Настоящее и будущее философии в Германии” (Берлин 1855).

Основной пафос рассуждений Группе состоит в том, что он *провозглашает конец периода философских систем и поворот философии к позитивному методу*: “Действительно, время систем прошло, но философия, которая никогда не может прекратить свое существование, лишь теперь должна начаться по-настоящему” [Gruppe 1971a: 196]. Критика Группе направлена прежде всего против Гегеля и тех представителей спекулятивной философии, кто полагает, что знания можно получать из голых понятий либо на основании логических заключений, либо путем конструирования. Он считает, что “спекулятивные предложения всегда или пусты и тавтологичны, бессодержательны и бессмысленны, или что они просто неверны и могут получить содержание только в том случае, если им удастся присвоить добычу опыта или эмпирических наук” [Gruppe 1971b: 62]. Кризис метафизики проявляется в том, что она “действительно совершенно ничего не достигла”, что она “напротив, повсюду содержит нечто ничего не говорящее, что едва лишь несет поверхностную видимость знания, но не приносит никакого действительного знания и просвещения” [Gruppe 1971b: 63].

Вывод, к которому приходит Группе, состоит в том, что на место системы должен быть поставлен метод [Gruppe 1971b: 63, ср. 65, 71; Gruppe 1971a: 198], основу которого может предоставить “обобщение метода Бэкона” [Gruppe 1971b: 66]. Индуктивный метод Бэкона служит Группе прототипом в том смысле, что он позволяет соединить общее и частное таким образом, что общее не теряет при этом своей содержательности, а частное рассматривается не как единичное явление, а включается в некий порядок вещей. Преимущество метода заключается в том, что, в отличие от системы, он отказывается от обоснования последних причин знания и концентрируется на познании закономерностей. По мнению Группе, научный метод открыт, в то время как система закрыта. Наука, основывающаяся на методе, способна “к постоянной ректификации” знаний, допускает “взаимодействие тысяч рабочих”. Система же “исходит из определенного центра, неспособна к исправлениям; любой с самого начала велик только в своих надеждах и обещаниях, мелок в достижениях. Система – это *наша*

<sup>2</sup> Клерен выделяет еще один аспект терапевтической программы Рейнгольда, а именно “освобождение от иллюзии (Wahn) метафизики” [Cloeren 1972: 230].

связь, а не связь природы, она – связь созданная, насильственная, а не возникающая в результате изучения, – она нечто совершенно субъективное, часто даже произвольное, капризное там, где не недобросовестное. Она парит в царстве иллюзий ... Система – детство философии, зрелость философии – исследование” [Gruppe 1971a: 197–198].

Итак, в философии должен произойти “общий поворот”, который подготовлен, с одной стороны, ошибками спекулятивной философии, с другой – все более распространяющейся и усиливающейся осознанной оппозицией по отношению к метафизике со стороны эмпирических наук и эмпирического направления внутри самой философии. Систематический центр нового философского метода должна составить теория познания, поддерживаемая знаниями как со стороны естественных наук, так и со стороны языкознания.

Практически все ошибки метафизики Группе связывает с ее пренебрежением языком, недопониманием его природы и роли в мышлении [Gruppe 1971b: 65, 101]. К присущему ей догматизму приводит, по его мнению, во-первых, то, что понятия рассматривались “как нечто, данное непосредственно и в готовом виде, или как нечто раз и навсегда сделанное”. При этом считалось, что их значения можно навечно зафиксировать в определениях. Во-вторых, то, что суждения понимались как “соединение или разделение понятий, признание или оспаривание, подтверждение или отрицание предикатов, кроме того как подведение индивидуумов под роды, но всегда так, что при этом предикаты, как и роды, считались неизменными и не имело места обратное воздействие суждений на понятия, если вообще можно говорить о таком воздействии; напротив, полагались на определения и считали, что из них можно отлично выводить умозаключения” [Gruppe 1971b: 100, ср. 87].

В отличие от представителей традиционной логики, Группе исходит из того, что каждое понятие представляет собой результат суждения, а суждения суть акты мышления и связаны с познанием. Благодаря этому они могут и должны оказывать влияние на понятия и изменять их значения. Причем необходимо учитывать, что “язык и мышление связаны друг с другом, ни одно не существует здесь без другого” [Gruppe 1971c: 49, ср. Gruppe 1971b: 72] и любое понятие представляет собой результат развития языка и мышления. Поэтому для того, чтобы адекватно понимать понятие, требуется анализ и мышление высказывания, в которых оно встречается. Не заметить это можно только в том случае, если встать на позиции языкового реализма и полагать, что слова и понятия изначально обозначают сами вещи и поэтому имеют постоянное значение. Группе же исходит из того, что понятия обозначают не вещи, а отношения между вещами, которые устанавливаются посредством суждений и выражают результат понимания, сопоставления и сравнения [Gruppe 1971b: 103]. В том, что этот факт недостаточно осмыслен учеными, отчасти виноват, как он считает, язык, который “сам уничтожил за собой все переходы и стер следы своего пути: он сам убрал за собой лестницу после того, как мы оказались наверху” [Gruppe 1971c: 51–52]. Поэтому “исторически-прагматическое изучение языка” могло бы помочь узнать, каким образом то или иное слово получило именно то значение, которое оно имеет в данный момент [Gruppe 1971c: 50].

Анализ языка должен выявить его связь с научным мышлением. Существенное сходство между ними заключается, по мнению Группе, в том, что оба они оперируют абстракциями, причем все абстрактные понятия можно рассматривать как “расширенные языковые формы” (erweiterte sprachliche Formen) [Gruppe 1971c: 52]. Несмотря на образный характер, на связь “с отдельными сравнениями и отношениями”, с конкретными предметами и явлениями, языкам изначально “присуще стремление к абстрактному” [Gruppe 1971c: 56]. Даже названия, как считает Группе, обозначают не индивидуальные вещи, а роды: для языка интересны “индивидуумы не как таковые, а лишь в силу того, что они соответствуют известным одинаковым потребностям, поскольку они похожи на других, сходство характеров и свойств которых человек устанавливает, исходя из своих потребностей. Только в этом отношении он будет сводить в одно или различать, одним словом: называть” [Gruppe 1971b: 87–88].

Переход от конкретного к абстрактному происходит в языке за счет того, что, начиная с обозначения конкретных вещей, он переносит эти значения на другие сходные предметы. Причем по мере развития понятия “становятся все более общими, и это непосредственно связано с их относительностью, так же как эта относительность снова объясняется простым актом суждения” [Gruppe 1971b: 103]. Метафора, перенос, сравнение играют, по мнению Группе, важную роль в генезисе языковых значений [Gruppe 1971b: 84 и далее; ср. 115].

Метафоре он придает исключительное значение. В ней он видит *общий механизм суждения и познания*, предполагающий вторжение синтеза в сферу анализа, образа – в сферу понятия, единичного – в сферу общего. Размышляя далее о сущности суждения, Группе приходит к выводу, что в его основе лежит *акт сравнения*. Таким образом, “мы обнаружили, что суждение повсюду, где оно выступает в своем узнаваемом, незадушеванном виде, касательно своей формы содержит перенос и метафору, касательно содержания своих мыслей – сравнение, которое объясняет как раз эту метафорическую форму. Взятые вместе, они отражают нам природу человеческого понимания, и эта природа понимания ... делает со своей стороны совершенно понятной и форму, и содержание суждения, одним словом, природу его простого синтеза. Без сравнения, которое, правда, не везде одинаково отчетливо выступает, мы совсем ничего не можем понять, ничего подумать, ничего высказать: сравнение производит содержание мысли, составляет сущность суждения и также дает ему его форму, его языковое выражение в полученной за счет переноса метафоре” [Gruppe 1971b: 168–169].

Как полагает Группе, с различения и сравнения начинается восприятие и осознание; эти две операции лежат в основе синтетических суждений, которые делают возможным процесс познания. Особенность синтетических суждений, содержащих некое новое знание, заключается в том, что они являются апостериорными и никогда априорными. Их характерным признаком Группе считает то, что определения субъекта и предиката не остаются в них постоянными, а изменяются – расширяются или сужаются [Gruppe 1971b: 82, 133, 143].

С отклонением идеи о возможности получать новые знания исключительно из понятий и их определений путем дедукции связана критика, которую Группе адресует традиционной логике. Здесь существенными представляются два момента: во-первых, дедуктивные суждения часто на проверку не являются таковыми. Например, как он считает, предложение *Человек смертен* представляет собой не чисто логическое суждение, а опытное. Оно основывается не на синтезе, а на наблюдении [Gruppe 1971b: 81]. Во-вторых, аналитические суждения логики, в которых предикат уже содержится в понятии субъекта, не позволяют изучить больше того, что уже известно. По своей сущности они являются бессодержательными и тавтологичными [Gruppe 1971b: 82]<sup>3</sup>.

Поскольку любые суждения всегда принимают форму предложения, то важно уметь определять, что за ними скрывается, для того, чтобы отличать истинное знание от ложного. “Все может принять форму предложения, любое непосредственное наблюдение, даже любая тавтология, но этого еще недостаточно, чтобы быть познанием, и тот, кто хочет исследовать последнее, а не только внешнюю форму грамматического предложения, прежде всего должен исходить из указанного различия” [Gruppe 1971b: 82]. Здесь Группе предвосхищает известный в аналитической философии языка мотив “обманывающей” роли языка [Gruppe 1971b: 160], в которой его следует разоблачить. В связи с этим он предлагает своего рода *программу верификации высказываний*, ключевыми понятиями которой являются “анализ словоупотребления”, “наблюдение”, “эксперимент”.

Важным методом, позволяющим определить, стоит ли за предложениями какое-либо знание, является *анализ словоупотребления*. Оперирование такими абстрактными понятиями, как “бытие”, “небытие” и т.д., и стремление возвести к ним философские

<sup>3</sup> Заметим, что здесь Группе предвосхищает витгенштейновскую критику логики.

системы, как это делает, например, Гегель, пытаюсь “из понятия бытия конструировать вещи”, Группе считает игрой с “пустыми формулами”, псевдознанием. “Я говорю *Роза <есть> красная* и знаю при этом, о чем я должен думать; я также могу теперь сказать просто *Роза есть*, и это последнее понятно только тогда, когда кто-либо утверждал бы, что она не существует, т.е. что нет такого сорта цветов” [Gruppe 1971b: 106]. Как он полагает, понятие бытия как “бытия в форме нечто” (Etwas-Sein) приобретает значение только в форме суждения при сравнении вещей друг с другом, вне таких отношений “оно не имеет никакого смысла”: “Бытия из Ничего не бывает” [Gruppe 1971b: 111]. Это же касается и понятия “становления”, которое осмысленно может использоваться только при операции сравнения.

Большинство слов понятно только из контекста их употребления. Такие понятия, как, например, “короткий”, “длинный”, “низкий”, “высокий”, а также “простота” и “сложность”, “единство” и “различие” и т.д. вообще не могут иметь абсолютного значения [Gruppe 1971b: 109–111]. Взятые сами по себе эти понятия представляют лишь “голые формулы”. Связь слов с действительностью образует ту почву, на которой может развиваться философия. “Мы укоренены со всем бытием и мышлением в этом мире, наши понятия основываются на этом базисе, действительны только внутри этого условия. В нашем мышлении мы не можем выйти за пределы этого основного условия, не можем преодолеть его. Потустороннее существует для религии, но не для философии, для веры, но не для знания” [Gruppe 1971a: 206]. Таким образом, о познании становится невозможным говорить, как только утрачивается связь языка и мышления с реальным миром.

Требование обоснованности высказываний предполагает, что для того, чтобы предложение имело научный характер, оно должно быть точным. Это возможно в том случае, если высказанное в нем суждение поддерживается либо фактом, либо другими проверяемыми суждениями. “Слова суть всегда только слова и никогда не могут стать фактами, они только средства понимания, а не само понимание, они понятны только, если подкреплены фактами ... вещи суть данное и изначальное, понятия лишь произведены из них, они только функции нашего мышления об этих вещах, они суть голое средство понимания и только тогда защищены в своем значении, когда в любой момент известно, как перевести их в их реальную ценность, т.е. в эти предметы и полагаемые между ними отношения” [Gruppe 1971b: 104–105; ср. 176].

В основе верификаций высказываний должно находиться, по мнению Группе, *наблюдение*. Парадигматическими в этом отношении являются эмпирические науки, которые учат тому, что наблюдение представляет собой сложно организованный процесс. Группе говорит об “искусстве наблюдения”, которое включает в себя умение находить “плодотворные точки сравнения”, а также умение комбинировать различные наблюдения, с тем, чтобы по возможности всесторонне изучить наблюдаемое явление [Gruppe 1971b: 170–172]. Важную роль в организации наблюдения он отводит гипотезе [Gruppe 1971b: 189]. Вспомогательным средством организации наблюдения и проверки его результатов служит математика, которая в силу своего аналитического характера обладает “наглядностью, обозреваемостью, надежностью и очевидностью”.

Поскольку непосредственное наблюдение не везде и не всегда доступно, то часто его организация требует размышления и выдумки. В этом случае речь идет о подготовке эксперимента. *Эксперимент* эффективен при наблюдении за сложными явлениями природы, закономерности которых не проявляются непосредственно, а связаны с другими закономерностями, так что в итоге получаются уравнения со многими неизвестными. В таких случаях годятся искусственные приемы, как то: упростить явление, изолировать его и исключить мешающие влияния, по-возможности организовать такие случаи, где изучаемое явление встречается либо в чистом виде либо, по крайней мере, в сочетании с уже известным явлением. “Имеется несоответствие между способом, каким природа себя высказывает, и нашей способностью к пониманию; преодолеть эту несоразмерность – и есть задача, это было задачей математики и в не меньшей степени является задачей эксперимента: природа высказывает одновременно сложные суждения, суждения со многими субъектами и многими предикатами, где мы

не сразу с уверенностью можем сказать, какой это предикат и к какому субъекту он относится: поэтому ... мы должны дать ей возможность говорить при помощи суждений с одним субъектом и одним предикатом” [Gruppe 1971b: 173]. Эффективность эксперимента Группе связывает, таким образом, с его соответствием простому суждению. Другими словами, эксперимент принуждает говорить природу простым языком.

Таким образом, позитивный метод Группе сперва учит наблюдать, а затем дает в руки инструмент для организации опыта. Основанная на нем модель науки принципиально отличается от дедуктивной схемы метафизики, построенной на оперировании постоянными по своим значениям понятиями. Чистому спекулятивному дедуктивному конструированию он противопоставляет процесс познания, в котором теоретические умозаключения должны получить свое практическое подтверждение. По мнению Группе, “конструкция навязывает явлениям правила, которые в них не содержатся, она хочет распространять закономерности за пределы их истинной области действия, и для того, чтобы смочь это, она должна принимать все неточно и удовлетворяться половинчатостями и приблизительными допущениями” [Gruppe 1971b: 186]. Прогресс в науке вообще, и в философии в частности, возможен не за счет схоластических споров о словах, не за счет попыток дать всему окончательные определения, а за счет изменения семантики понятий на почве взаимодействия теории и практики.

Большое внимание, которое теория познания Группе уделяет языку, вызвано не только тем, что он является источником ошибок, но и тем, что он, во-первых, применяется мышлением в качестве инструмента, во-вторых, выражает и фиксирует результаты мышления, в-третьих, служит той первичной базой, которую мышление использует в процессе познания. Все, что язык способен выразить, – это “вещи, их роды и признаки, действия и их отношения” [Gruppe 1971c: 53]. Результат, к которому сводится научная деятельность, упрощенно также можно представить как подразделение на роды и родовые признаки [Gruppe 1971b: 182]. Следовательно, можно говорить о том, что принципиально язык и научное мышление выполняют одну и ту же функцию – вносят порядок в мир и организуют его так, чтобы обеспечить человеку возможность существования.

Знание, согласно Группе, представляет собой сумму накопленных в языке высказываний. Для него характерно прежде всего то, что оно не является отражением действительности, а выражает момент творческой активности человека. Вслед за Кантом Группе считает, что “мы понимаем в новых предметах не больше того, что мы уже привнесли в них за счет точек сравнения” [Gruppe 1971b: 184]. Кроме того, знание обладает принципиально относительным характером, причем семантическое деление реальности определяется потребностями и интересами человека. Так, “понятие рода совершенно теряет свой объективный смысл, он есть чистая функция субъективного понимания, оно есть продукт и средство наших суждений” [Gruppe 1971b: 96]. То же самое можно утверждать для признаков: “также они обусловлены актом мышления, синтезом, который составляет суждение: они суть лишь его продукт, они результат попарного сравнения предметов, и замеченная аналогия выражается через перенос обозначения” [Gruppe 1971b: 92]. И, наконец, знания, с одной стороны, обладают свойством кумулятивности; с другой – появление новых возможностей в науке не исключает того, что некоторые теоретические высказывания могут быть опровергнуты.

Подводя итоги, можно сказать, что благодаря разработанной им научной программе Группе предполагает реализовать свой идеал познания: всеобщее должно получить свое содержание через особенное. Это означает, что использование абстрактных выражений только тогда эффективно и имеет смысл, если известно, что за ними стоит. При этом важно сознавать, что значение понятий относительно и изменяется во времени по мере развития познания, а, следовательно, подлежит постоянному уточнению в новом контексте. Только с учетом этого особенное всегда одновременно будет частью всеобщего и тогда “одно будет понятно через другое”: всеобщее будет содержанием благодаря “восходящим рядам особенного”, и особенное приобретет значение в его связи с целым [Gruppe 1971b: 190–191].

Заметим в заключение, что предлагаемую Группе концепцию философии нельзя полностью отождествлять с эмпиризмом. Сам он пишет о том, что “ровно тысячу раз нас поучали с ученым видом, что философия должна вернуться к опыту и что только это спасет ее: на это достаточно ответить раз и навсегда, что этим самым совершенно ничего не сказано. Опыт учит всему и именно поэтому ничему; он есть общее поле явлений, но только одновременно не критерий ... Опыт есть совокупность (Inbegriff) всех наших представлений, он есть их постоянный неиссякающий источник, одно только это нуждается еще сперва в нашем понимании. Последнее, со своей стороны, не досрочно непосредственно до вещей и явлений, здесь имеет место различие, которое влечет за собой обман и иллюзию разнообразнейших видов. Будучи ограниченным, каким является все наше понимание, оно не обзирает одновременно целое явлений, оно не видит сразу все одновременно в истинных взаимосвязях или, другими словами: опыт предлагает нам явления единичными, разделенными, искаженными, многократно усложненными, он предлагает их не в их истинной сущности, в их единстве, в их законе, в их истинном порядке, в их истинной зависимости друг от друга” [Gruppe 1971b: 166].

Опыт сам по себе еще мало чего значит, он требует объясняющей его теории. Поэтому философия, согласно Группе, представляет собой “нечто совсем другое, чем просто комплекс опытных наук” [Gruppe 1971a: 199]. “Философия сохраняет по-прежнему свое центральное положение среди всего человеческого знания” [Gruppe 1971a: 199]. Задача философии заключается в том, чтобы “наблюдать за общим методом познания” и стимулировать его развитие [Gruppe 1971a: 199]. Выполнение этой задачи возможно только, если философия будет контролировать саму себя в форме контроля за использованием языка, а залогом успеха на этом пути является ее взаимодействие с эмпирическими науками.

**Конрад Герман** (1819–1897) – учился в Лейпциге и Берлине, с 1860 г. занимал должность профессора философии в Лейпциге – написал два произведения, в которых разрабатывается тема языка: “Философская грамматика” (Лейпциг 1858), “Языкознание в его связи с логикой, становлением человеческого духа и философией” (Лейпциг 1875).

В философском наследии Германа, связанном с проблемами языка, можно выделить следующие ведущие темы:

1. Утверждение трансцендентальной роли языка в познании.
2. Единство языка и разнообразие языков.
3. Разработка “философской грамматики” в качестве основания философии.

Основной постулат, на котором основывается “критика языка” Германа, провозглашает неразрывную связь языка и мышления. Человек способен мыслить только благодаря тому, что он располагает в качестве инструментов заданным набором лексики и синтаксическими правилами построения предложений. Вне и независимо от этих форм и средств выражения мышление “было бы лишено для нас всякой опоры и любой определенности” [Hermann 1971: 209]. Язык, следовательно, представляет собой не только инструмент, но “общее предварительное условие (Vorbedingung) всего нашего мышления” [Hermann 1971: 209]. Благодаря ему мышление может перейти от низшей “эстетической” стадии своего развития, где оно непосредственно связано с ощущением, но еще не может себя выразить, к стадии духовной зрелости, т.е. к стадии собственно понятийного мышления [Hermann 1971: 211]. Только артикулированное в речи мышление является мышлением *par excellence*.

Практически Герман утверждает *трансцендентальный характер языка*, что проявляется в следующем: во-первых, язык, согласно ему, является формой мышления. При этом его следует понимать не как “внешнюю оболочку” или как нечто “специфически несущественное” для мышления, а как “духовную из самой себя формирующую силу” и одновременно как “конечную цель мышления” – язык есть “совершенная чистая энтелехия” мышления [Hermann 1971: 214]. Во-вторых, язык представляет собой духовное отображение всего объема действительности и задает границы познанию. Герман подчеркивает неоднократно, что никакая, даже самая сильная, способность к мышлению “никогда не способна проникнуть за данную границу языка и его условий



или сбросить с себя естественные ограничения и пути, которые тем самым на нее наложены”; что “в настоящее время мы больше не можем выйти за его пределы или вернуться к исходному состоянию первоначального возникновения языка”; что, несмотря на то, что новые потребности мышления развивают язык, это развитие благодаря уже имеющейся системе языка “с самого начала остается в пределах определенной границы или ему была задана твердая установка (Anlage) и направление” [Hermann 1971: 209–210]. В-третьих, язык формирует то необходимое предварительное понимание, на котором основывается дальнейшее познание мира. Язык рассматривается Германом как “сила, господствующая над самим нашим собственным целостным индивидуальным мышлением” [Hermann 1971: 215]. Он считает, что “по крайней мере для нас, творение тех предшественников, при которых язык впервые возник, было обязательным и только из их рук мы сами овладели им как данным и готовым образованием” [Hermann 1971: 210].

Сам язык, служащий в качестве априорного условия возможности познания, в свою очередь зависит от формы жизни социума. Согласно Герману, “язык не есть нечто, изолированное для себя, а только представляет собой интегрирующую часть органических устройств (Einrichtung) и отношений человеческой жизни в целом. И хотя он также, возможно, является наиболее древней и самой непосредственно-специфической частью этой жизни, он все же не может мыслиться отделенным от всего прочего, а должен рассматриваться как находящийся в гармоничной связи и в отношении взаимной востребованности (Gefordertsein) со всем прочим” [Hermann 1971: 221]. Таким образом, язык представляет собой только “одну ветвь человеческих изобретений и жизненных приспособлений” наряду с другими. Он является одним из средств организации человеческой жизни и сам формируется под влиянием социокультурных факторов.

Благодаря формообразующей функции языка мышление не может рассматриваться как “мышление-в-себе” или мышление “в чистом и абсолютном смысле этого слова”, оно всегда является “связанным, причем частично общечеловеческой границей языкового оформления, а частично внутри последней – снова особой национальной границей. Так что мы в себе и для себя совершенно не способны знать, являются ли одолженные нам языком понятия и формы синтаксических связей также действительно соответствующими сущности внешних для нас вещей, и не могут ли существовать, кроме них, в каком-либо ином скрытом для нас месте или благодаря какой-нибудь другой высшей и более свободной силе основанного только на мышлении познания еще абсолютно другие, в себе и для себя более богатые содержанием и совершенные” [Hermann 1971: 209–210]. Мышление как таковое “в себе и для себя” Герман характеризует как “общее” или одинаково присущее всему человеческому роду; мышление, связанное с конкретными языками, он специфицирует как “особенное” или как видовые различия последнего [Hermann 1971: 216]. Причем “мышление в себе” является абстракцией и не существует в действительности; реально существует только мышление, получающее свое выражение в этнических языках. “Поэтому сколько есть различных языков, столько есть различных видов или форм мышления и не может быть речи о чистом и общечеловеческом мышлении, но только о таком, которое имеет свою действительность в определенной данной форме отдельного языка” [Hermann 1971: 215]. Любой язык представляет собой зеркало, отшлифованное так, что в нем “духовное содержание мира отражается с особой стороны” [Hermann 1971: 224].

Каждый отдельный язык по своей природе является “формой и побуждением для определенного вида мышления”. Отсюда Герман делает вывод, что, с одной стороны, язык как таковой есть универсальное средство мышления, с другой – естественные языки обуславливают содержательное разнообразие мышления. По его мнению, на некоторые виды мышления, например, на математическое, различие в языках почти не оказывает влияния, тогда как для других форм мышления оно может приобретать существенное значение. “Определенные мысли могут быть поэтому сформулированы только в определенных языках, но не в других, или же средствами этих других они могут быть выражены лишь несовершенно” [Hermann 1971: 213]. Таким образом, любой

язык и сформированный им тип мышления содержит в себе нечто общее для всего человеческого мышления и нечто специфически особое. Единство мышления Герман обосновывает тем, что содержание, выраженное средствами одного языка, может быть передано на другом; различие между обусловленными языком типами мышления – тем, что любой перевод всегда отличается от оригинала и не совпадает с ним полностью по смыслу.

Полагая, что язык является характерным выражением духа народа и что не язык вообще, а конкретные исторические языки являются формами, влияющими на познание, Герман следует романтической традиции Гердера, Гаманна и Гумбольдта, параллельно развиваемой в ином ключе Г. Штейнталем, К. Фосслером, В. Вундтом.

Поскольку Герман считает, что “исключительно в языке мышление находит свою естественную и действительную родину”, только в нем оно “имеет естественный корень своего происхождения и являющуюся истину своих понятий” [Herzmann 1971: 235] и только, исследуя его, могут быть установлены существенные характеристики мышления, то он выдвигает задачу создания дисциплины, предметом которой станут законы мышления, отражаемые в языке. Назвать эту дисциплину, которая, с одной стороны, отличается от эмпирического языкознания, а с другой – от традиционной формальной логики аристотелевского образца, он предлагает “философской грамматикой”.

“Философскую грамматику” он представляет как “одну из пограничных наук между философией и филологией”, которая по отношению к философии должна выступать в качестве “вводной и обосновывающей вспомогательной науки, какой является математика по отношению к естественным наукам” [Herzmann 1971: 236–237]. Ядром “философской грамматики” должны стать две дисциплины – этимология и логический синтаксис языка. Этимология, которую Герман интерпретирует как “науку о словообразовании”, исследующую изменения значений слов, является эмпирической дисциплиной. Значение ее состоит в том, что, относясь к историческим наукам, она должна быть нацелена на исследование раскрывающегося в языке поступательного движения человеческого духа и отражение его генезиса. Специфика этимологии как философской дисциплины состоит в том, что она должна дать “обоснование общего принципа, с необходимостью обуславливающего оформление словообразовательного процесса в отдельных языках” [Herzmann 1971: 229].

Однако поскольку только “в виде образования предложений язык является выражением мышления” [Herzmann 1971: 228], то основной философской дисциплиной должен стать синтаксис. “Субстанция всего языка есть мышление, и выражение его закона есть логика”; поскольку синтаксис отражает взаимодействие между грамматикой и логикой, то в нем проявляется “чистая природа способности к мышлению” и “дух языка” [Herzmann 1971: 228–229]. В отличие от этимологии, синтаксис представляет собой не эмпирическую, а “философскую”, т.е. трансцендентальную науку. Ее предметом должно стать исследование логических законов мышления, обретающих в языке “свою форму и действительность”.

“Этимологическое” оказывается, согласно Герману, “телом”, а “синтаксическое” – “духом языка”: “Язык как таковой основан на образовании предложений; это есть цель, а словообразование – средство” [Herzmann 1971: 229]. В целом, язык служит “посредником между нами и внешним миром”, поэтому он характеризуется двумя свойствами – “свойством границы и моста” [Herzmann 1971: 229]. “Без языка человеческий дух был единым с природой”, слово впервые провело границу между самосознанием и миром природы. То, каким образом формировалась эта граница, призвана исследовать этимология, концентрирующаяся на изучении истории отдельных слов. “Учение о языке как о мосте от мышления к действительности есть синтаксис: поэтому содержание в нем есть прежде всего чисто духовное, специфически внутреннее и субъективно самоознание” [Herzmann 1971: 230], но при этом все содержание языка соотносимо с действительностью и коррелирует с ней.

К логике синтаксис относится как особенное к всеобщему. Логикой Герман характеризует как учение о “себе и для себя всеобщем”, как науку об “абстрактных и необхо-

димых основных принципах всего упорядоченного мышления”, о “мышлении как таковом”, не учитывающем “его необходимую и неразрывную связь с языком”. Она является поэтому “идеалистической дисциплиной” в отличие от синтаксиса, который изучает “действительное мышление”, его “конкретную действительность” [Hermann 1971: 230–231], т.е. многообразные способы его проявления в этнических языках. В силу своего абстрактного характера логика не может служить “полной и исчерпывающей наукой о формах мышления” и нуждается в дополнении ее синтаксисом.

Традиционная логика является, по мнению Германа, не только “более простой”, чем синтаксис, но и “неполной” наукой о мышлении. Она также не учитывает важнейшее свойство своих рабочих инструментов, понятий, а именно – их относительный характер. Понятия в языке обозначаются словами, а любое слово получает свое содержание только за счет логико-синтаксической связи с другими словами-понятиями внутри предложения. Предложение, а не слово является, согласно Герману, первичной смысловой единицей языка. Слово и предложение представляют собой “нечто, связанное в неразделимое единство”, и даже там, где содержание мысли выражается только одним словом, например, в форме названия, оно сразу принимает “образ предложения” [Hermann 1971: 225].

Поскольку значение понятия определяется и понимается только в целостном контексте, то понятие выступает не только предпосылкой и готовым элементом мышления, но также может быть его содержанием и предметом. Мышление, согласно Герману, направлено не на внешние вещи как таковые, а на соответствующие им понятия, на установление их смысла.

Для того, чтобы можно было эффективно работать с понятиями, необходимо знать их точное значение. Как известно, научный процесс установления значений понятий называется определением и сопровождается составлением лексикона. Однако, как замечает Герман, для решения этой задачи часто недостает эмпирического фундамента и значения слов часто “висят в воздухе”. Содержание слова не исчерпывается “простой абстракцией с всего лишь несколькими легко обнаруживаемыми признаками”. Каждому слову присуща “духовная индивидуальность”, уловить которую возможно только путем “совершенно точного и внимательного изучения всего действительного или прикладного (angewandter) использования его в языке” [Hermann 1971: 233].

Установление значения слова на основании способов его применения в языке Герман называет “герменевтическим принципом”. *Герменевтический подход к языку*, во-первых, предполагает, что в обыденном языке господствует “закон и порядок”, который является условием возможности установления значений слов. Во-вторых, он включает в себя два шага: установление всех эмпирических случаев словоупотребления и их объяснение [Hermann 1971: 234]. Таким образом, именно живой естественный язык служит источником формирования значений. Вывод, к которому приходит Герман, состоит в том, что “высокомерное пренебрежение обычным использованием языка как несвязным, противоречивым, не имеющим ценности, совершенно ненаучно и неправильно” [Hermann 1971: 234].

Понимание Германом языка как живого организма, отражающего развитие мышления, послужило причиной его критики метафизических построений Гегеля. Как он считает, ни одна система так не пренебрегала связью мышления и языка, как гегелевская, которая “поэтому может считаться устрашающим примером для любого беспринципного и некритичного использования мышления для целей философии” [Hermann 1971: 239]. Слова и понятия – не неизменные субстанции, и единственно их использование в языке может выявить их значение и установить пределы их применения.

Все научное мышление Герман делит на “опирающееся на опыт” и на “основывающееся только на самом себе”, т.е. теоретическое. Методически эмпирические науки обосновывает аристотелевская логика; для диалектических наук такой инструмент пока не найден. “Первой предпосылкой” для нахождения его должно стать, по мнению Германа, “исследование собственной и свободной природы мышления, которая есть язык” [Hermann 1971: 219]. Эту задачу может выполнить философия, и в частнос-

ти “философская грамматика”, в центре внимания которой должно быть “исследование способности к мышлению в ее отношении к действительности и в отношении содержащейся в ней претензии на истину познания” [Hermann 1971: 236].

Поскольку свою “действительность” наука обретает благодаря языку, и поскольку язык находит в науке свое “совершеннейшее, благороднейшее и в большинстве случаев специфическое применение”, то наука должна с большим вниманием относиться к своему языку, тщательно и систематически изучать его в качестве источника и средства познания [Hermann 1971: 222]. Критическое исследование языка является условием возможности истинного знания.

Наука и язык, согласно Герману, сущностно едины и выполняют в принципе одну и ту же функцию, а именно дают картину действительности. “В науке человеческий дух преодолевает противостоящий ему внешний мир в форме логически упорядоченного думающего понимания”; в языке этот процесс происходит неосознанно за счет образного и одновременно абстрагирующего “охвата действительности в нашем духе” [Hermann 1971: 221]. Таким образом, в науке дух сознательно возвращается к тому, с чего он начинал неосознанно при сотворении языка. Язык есть “старейший член человеческой жизни”, посредством которого она впервые вырвалась из плена природы и начала понимать мир в свете мыслей; наука – “самая юная и в чистом виде духовная или воздвигнутая только из самих мыслей” структура жизни, но обе эти составляющие жизни имеют глубокое родство друг с другом. Важным здесь является утверждение Германом континуальности знания, благодаря чему понятие знания в его концепции приобретает более либеральный характер, чем это предписывает ориентированная на науку традиция.

**Густав Гербер** (1820–1901) – директор гимназии в Бромберге – разрабатывал тему языка в следующих работах: “Язык и познание” (Берлин 1884), “Язык как искусство” (Берлин 1885), “Я как основание нашего мировоззрения” (Берлин 1893).

Основные идеи, которые можно классифицировать как “критику языка”, высказаны им в работе “Язык и познание”. Главным стремлением Гербера является осмысление языка как средства познания мира и средства, благодаря которому человек оказывается включенным в происходящие в мире процессы. Язык рассматривается здесь как естественное средство объединения человека с миром.

Источником языка является врожденная потребность человека в познании. Как пишет Гербер: “Чувствование есть выражение нашего внутреннего бытия в его тотальности, которое *желает* в познании обрести единство с универсальным бытием” [Gerber 1971: 29]. Первичная потребность в познании удовлетворяется за счет того, что человек, чувствующий и воспринимающий, формирует звуковые образы своих впечатлений. Артикулированные звуки складываются в систему языка, которая приобретает по отношению к создавшим ее чувственным представлениям определенную автономность и в дальнейшем продолжает функционировать за счет своих собственных смыслопорождающих резервов, постоянно репродуцируя саму себя.

По способу возникновения язык является субъективным, однако, по способу функционирования он интерсубъективен и принадлежит одновременно “всему человеческому роду”. Производимые индивидами звуковые образы становятся языком только за счет того, что они воспринимаются и признаются в качестве символов для обозначения представлений широким кругом людей. Созданный, переработанный, переинтерпретированный отдельными людьми звук имеет значение в качестве звука языка лишь тогда, когда он становится общим владением – общим с учетом того, что под влиянием природных условий и исторических процессов язык в разных местах оформляется по-разному. Важным моментом становления языка является, следовательно, то, что он конституируется на основе *консенсуса* (*Übereinstimmung*) относительно употребления слов. “Важно принять во внимание, – пишет Гербер, – что если, с одной стороны, язык есть то, что связывает индивидуумов друг с другом; с другой стороны, он сам нуждается в одобрении и принятии его в сообществе, и что установление (*Festsetzung*) речи в качестве языка происходит за счет его участия и воздействия” [Gerber 1971: 24].

Итак, язык и познание являются совместным владением человеческого рода, переходящими представителями которого являются индивиды. Причем “сокровище познания”, принадлежащее всем, передается благодаря языку от поколения к поколению, но так, что каждый индивидум имеет ограниченную свободу и власть со своей стороны развивать язык и познание [Gerber 1971: 30].

Своим генезисом язык и формируемый им опыт познания обязаны чувственности. Они развиваются “из чувственного восприятия, откуда способность представления (Bildekraft) индивидуума извлекает представления и запечатлевает их в звуковых образах, которые затем (в качестве естественной метафоры) попутно служат в качестве образов и представителей движений и деятельности души, данных нам непосредственно в чувстве” [Gerber 1971: 50]. По мере того, как отдельные слова-понятия (Wortbegriffe) связываются в предложения, они утрачивают свою специфичность, вызванную особенностями восприятия породившего их субъекта, и приобретают интересубъективное значение. Воспринятое системой языка слово превращается в общее понятие в том смысле, что оно не обозначает больше некий конкретный предмет, а становится родовым. Язык оперирует понятиями и “отдельным словам, в которых выражают себя понятия, не хватает той живой силы реальности, *воздействий* реальных вещей на нас, *всегда связанных с их явлениями*, которые являются причиной того, что любое представляющее познание путем вербального высказывания поднимается до выражения; так что даже имена *вещей* – мнимо самостоятельно для себя завершенных прочных экзистенций – оказываются для языкознания *предикатами*” [Gerber 1971: 20]<sup>4</sup>.

Характерной чертой слов является то, что они обозначают не сами вещи и явления, а представления о них. “Этот *готовый* язык, слова которого обозначают для нас вещи, говорит не о действительных вещах, т.е. говорит о них не так, как они являются, когда они воздействуют непосредственно на наше ощущение. Вещам *думающего* познания присуща только идеальная экзистенция, бытие, которое *должно быть действительным в универсуме соответственно нашему познанию, т. к. оно является действительным в нас*” [Gerber 1971: 19]. “Слова обозначают совсем не вещи, а представления, и, таким образом, даже взятые изолированно они обозначают не действительно имеющиеся роды, а только *все те возможные представления, которые род говорящих связывает со звуковым образом в зависимости от своего знания вещей*” [Gerber 1971: 35].

Таким образом, слова Гербер характеризует как символы, т. к. они не только презентуют вещи, а являются также отражением внутренних процессов познающего субъекта. Язык как символическая система представляет внешний мир, преломленный через призму субъективного восприятия. “За счет создания звуковых образов символы наших представлений встают на место реальных процессов, на которые направлено сознание, т.е. человеческая природа открывает себя лишь постольку, поскольку на нее действует объективная природа” [Gerber 1971: 21].

Итак, слова представляют собой чувственные образы воздействующей на субъекта действительности и сущностно связаны с представлениями. Однако в процессах мышления они функционируют как понятия и в этой роли они могут служить заместителями представлений “в их артикуляции” [Gerber 1971: 44]. Специфическое свойство понятий заключается, по мнению Гербера, в том, что для своего функционирования они не требуют того, чтобы их представляли. Этим свойством они обязаны языку, “который, отделяя звуковой образ представления от индивидуальных условий его использования, делает его непредставимым и передает дальнейшее укрепление и ограничение его значения его использованию внутри языка рода” [Gerber 1971: 44, ср. 38]. Поэтому,

---

<sup>4</sup> Заметим, что высказанная Гербером идея о том, что в основе именованного лежит операция различения и что имена, по сути, являются предикатами, позже и независимо от него развивалась Э. Кассирером, а свою детальную разработку она получила в конструктивизме Эрлангенской школы.

когда говорят о познании, имеют в виду нечто большее, чем простое представление. Для того, чтобы нечто познавать, недостаточно иметь образ, более или менее сохраняющий черты воспринятого; нужно уметь включить понятие в систему воззрений. В этой системе понятие всегда отражает результат мышления, а значит, анализа, и значение его может отличаться от первоначального, обязанного своим происхождением определенному представлению.

К важным наблюдениям Гербера в этой связи относится то, что представление, с которым связано возникновение слова и которое исходно определяло его содержание, не является единственным его значением. Любое слово-понятие имеет область значений и характеризуется своим “объемом” (Umfang). Этот объем является неопределенным, “поскольку он зависит от той невысказанной дефиниции, которую ему задает узу” [Gerber 1971: 44]. Свои значения слова приобретают не на основе раз и навсегда зафиксированных определений или за счет жесткой связи с породившими их представлениями, а благодаря своему функционированию в языке. Согласно Герберу, именно “использование понятия” в языке устанавливает “область его значений” (Bedeutungsgebiet) и ограничивает сферу его применения [Gerber 1971: 47–48; 50–51]. Причем значение понятия зависит как от принятой в данный момент точки зрения, так и от общего уровня знания. С изменением угла зрения на проблему и с ростом знаний изменяется семантика понятий, что отражает “жизнь” самого языка.

Отсюда вытекает еще одно важное свойство понятий, а именно, что их значение является функцией предложений, в которых они встречаются [Gerber 1971: 43]. Не отдельно взятое слово имеет значение, а высказанное в рамках предложения. Таким образом, Гербер разделяет содержание понятия и его значение. Содержанием слова является стоящее за ним представление, а значением – тот смысл, который оно получает в предложении, т.е. в конкретном контексте своего употребления.

В целом, говоря о генезисе языка, Гербер выделяет две стадии – чувственную и духовную. Чувственный уровень соответствует возникновению слов, которые по своей природе являются коррелятами процессов восприятия внешнего мира. Духовный уровень свидетельствует о зрелости языка и таком его развитии, когда слова приобретают новые значения за счет процессов чистого мышления, использующего уже имеющийся лексический материал [Gerber 1971: 46]. Становление, развитие языка и выражаемого в нем познания Гербер уподобляет сознательно-бессознательному процессу творчества, в котором задействованы два типа мышления – образное и понятийное [Gerber 1971: 20–21]. Метафора и понятие являются, таким образом, неотъемлемыми составляющими языка. Творение языка можно рассматривать, согласно ему, как своего рода искусство: слово возникает в результате синтеза чувственного знака и представления и затем получает свое духовное бытие в виде слова-понятия, обслуживающего мышление.

О свободе творческого отношения человека к действительности свидетельствует разнообразие имеющихся языков, каждый из которых отражает особенности мировосприятия его носителей и “различные степени познания”. Поэтому вопрос о сущности и форме мышления можно исследовать только, опираясь на исследования отдельных языков, в которых реализовалось познание. При этом следует учитывать, что многообразие языков говорит не о принципиальной относительности знания, а о том, что оно может быть выражено различными способами. В том смысле, что “существует только одна истина”, можно также говорить о том, что “существует один язык” [Gerber 1971: 26–27].

Сущностным свойством языка является то, что на обеих стадиях своего развития – чувственной и духовной, которым соответствуют опытное и теоретическое познание, – он отражает результаты познавательных процессов. Познанное не существует иначе как в языке, “благодаря ему оно превращается в действительное, в определенность, которая, правда, постоянно должна порождаться, в собственность человеческого духа” [Gerber 1971: 29]. На чувственном уровне знание выражается в предложениях восприятия, на теоретическом – в суждениях, построенных из понятий. Формой завер-

шенного акта мышления является предложение, а научное знание оформляется в виде системы предложений.

Структура предложения и его элементов обуславливает важные свойства научных высказываний: во-первых, то, что слова, входящие в предложение, некогда были укоренены в представлении и за счет этого непосредственно связаны с действительностью, обеспечивает возможность истинного познания. Как полагает Гербер, “фактическое единство индивидуального бытия с бытием универсума есть именно прочувствованное, а не познанное” [Gerber 1971: 29]. “Так, движения мысли для себя еще не являются познанием; они должны прийти к известной определенности, быть способными к выражению в прочной форме, и поэтому человек должен их чувствовать. Тогда он артикулирует их в звуковых образованиях, к которым его собственная природа как делает его способным, так и принуждает. Присущая человеку способность к представлению обособляет в артикуляции звук, данный способностью к представлению универсума” [Gerber 1971: 30]. Таким образом, Гербер выдвигает в качестве гаранта возможной истинности познания принцип проекции, рассматривающий человеческую способность к представлению как частный случай реализации способности к представлению, присущей самому универсуму. Непосредственность переживания, утверждающая единство человека с универсумом, является условием возможности истинного познания внешнего мира.

Во-вторых, то обстоятельство, что предложение более непосредственно не связано с представлениями, вызывает необходимость подтверждения его истинности. Гербер выдвигает в качестве одного из условий своего рода *принцип ответственности говорящего* за свои суждения: составление предложений “должно быть в себе оправданным, т.е. предложение должно содержать истину”. Поэтому ответственность за высказывание предполагает “верификацию (Verifikation) наших ощущений, восприятий, представлений”, из которых составляется образ действительности. Причем следует иметь в виду, что поскольку в процессе познания объект всегда будет рассматриваться с новой стороны и представлять в новом качестве, то противоречие между познающим субъектом и познаваемым объектом никогда не будет преодолено [Gerber 1971: 20–21], а значит, процесс верификации должен быть перманентным.

В-третьих, то обстоятельство, что любое знание добывается при помощи языка и выражается в нем, т.е. всегда является опосредованным, приводит к тому, что ошибка представляет собой необходимую составляющую познания. Символический характер языкового знака, то, что он “показывает познанное в образе, как уравнение”, требует его интерпретации, что может повлечь за собой ошибочные суждения. “Наше мнение, – что хотя человеческое познание и движется в сфере истины, но само это понятие обозначает только *направление* нашего стремления, – поддерживается тем, что язык, в формах которого реализуется познание, хотя и разработал эти формы отчетливо, но нигде и никогда окончательно и с совершенной остротой (Schärfe). Ошибка связана в нем с истиной не меньше, чем в познании” [Gerber 1971: 26, ср.: 29].

В-четвертых, поскольку мышление осуществляется посредством языка и неотделимо от него, то формы языка влияют на формы мышления. В силу своей природы на всех стадиях своего развития “язык содержит в себе то, что обозначают как мифологию и метафизику”. «“Сила”, “материя” суть не менее боги для познания, чем Ормузд и Ариман, “атомы” и “сила притяжения тел” – не менее метафизика, чем монады Лейбница» [Gerber 1971: 28]. Отсюда следует, что даже позитивное знание не является свободным от теологии и метафизики, та или иная метафизика вместе с языком проникает в сознание и воздействует на научную позицию исследователя.

Вывод, к которому приходит Гербер, заключается в необходимости изучать само познание, а, следовательно, поставить теорию познания в центр философских интересов: “Мы понимаем здесь под философским познанием такое, которое делает предметом познания само познание. Но познание осуществляется в понятиях и поэтому критика познания с необходимостью становится критикой языка” [Gerber 1971: 48, ср. 25]. Исследование критического мышления следует начинать с исследования понятий, по-

скольку они, с одной стороны, связаны с процессами чувственного восприятия и мышления; с другой – представляют собой результаты познания, подлежащие проверке, а значит, требуют контроля за самими познавательными процессами.

Задача “критики языка”, согласно Герберу, состоит, во-первых, в критическом анализе используемых понятий; во-вторых, в создании новых понятийных связей на основании имеющихся, т.е. “развитии” и “реформации” языка путем придания имеющимся понятиям нового смысла за счет уточнения их значения. Следовательно, она включает в себя критику опыта, понимаемую Гербером как контроль над нацеленными на познание действиями отдельных субъектов и критику теории, понимаемую как использование в познании санкционированного сообществом языка. Критика языка исходит, таким образом, из взаимообусловленности опыта и теории: опыт всегда основывается на знании понятий, поскольку уже простое владение языком предоставляет в распоряжение говорящего содержащиеся в нем знания; теория, существующая в форме совокупности предложений, нуждается для своего развития в поддержке фактами. Поэтому, по замыслу Гербера, она должна занять среднее положение между эмпирическими науками и чистой философией.

**Фридрих Макс Мюллер** (1823–1900) – родился в Дессау, с 1854 по 1875 профессор в Оксфорде; как философ языка известен благодаря следующим работам: “Мышление в свете языка” (Лейпциг 1888)<sup>5</sup>, “Лекции о науке о языке” (Лейпциг 1863)<sup>6</sup>, “Основы языкознания” (Вена 1876–1884), “Наука о языке” (Лейпциг 1892–1893).

Характеризуя представления Мюллера о языке в целом, можно прежде всего отметить, что, понимая язык как дух, выражающий мировосприятие народа, он является последователем В. фон Гумбольдта. Как он полагает, “совокупность того, что мы называем человеческий дух, реализовалась в языке и только в нем одном” [Müller 1971: 101]. Так же, как и для Гумбольдта, язык является для него основным материалом при изучении мышления. “Фундаментальное положение науки о языке”, провозглашенное Мюллером, заключается в утверждении неотделимости мышления от языка. Несмотря на то, что их можно различать, разум без языка принципиально не может существовать, так же, как и язык без разума: “никто не думает в действительности без того, чтобы одновременно не говорить, и никто, собственно, не говорит, без того, чтобы одновременно не думать” [Müller 1971: 82–83]. Для того, чтобы подчеркнуть неразрывность и взаимообусловленность языка и мышления, Мюллер предлагает использовать для характеристики языка понятие логоса: “Мы понимаем под языком то, что греки называли логос, слово и значение в одном, или, лучше, то, для чего слово и значение одновременно представляют только две стороны” [Müller 1971: 71].

Открытие единства мышления и языка должно, по мнению Мюллера, привести к “полной революции в философии” [Müller 1971: 77]. Это означает, что философское исследование мышления должно включать в себя исследование языка. Мышление, по его мнению, состоит в объединении и разделении понятий, причем любое объединение предполагает в качестве своего условия разъединение, поскольку невозможно связывать вещи между собой, не отделив их одновременно от всех прочих, т.е. не различив их. Эта аналитическая деятельность сознания невозможна без четырех базовых компонентов: ощущения, представления, понятия, именованя, которые связаны друг с другом, так что слова требуют понятий, понятия – представлений, представления – ощущений. “Процесс собираня, который начинается с ощущения и продолжается в представлении и понятии, достигает своего окончательного завершения только тогда, когда он обретает свою телесность в логосе или слове” [Müller 1971: 91]. Хотя, на пер-

<sup>5</sup> Данная работа переведена на немецкий с английского языка, на котором она называется “The science of thought” (1887). Имеется также перевод этой работы на русский язык: М. Мюллер р. Наука о мысли. СПб., 1891.

<sup>6</sup> В переводе на русский язык данная работа “Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache” называется “Наука о языке”. Воронеж, 1868.



вый взгляд, кажется, что ощущения являются условием представлений и могут существовать независимо от них, представления – являются условием понятий и существуют независимо от них, а понятия – условия слов и также независимы от последних, но на самом деле все они неотделимы друг от друга и влияют друг на друга [Müller 1971: 63–64, ср. 70–72].

Важными в этой связи являются утверждения Мюллера, во-первых, о том, что мышление влияет на процессы восприятия. Как он полагает: “мы никогда не видим, не думая, и не думаем без представления или тени представления” [Müller 1971: 70]. Восприятие всегда происходит в некоем контексте и воспринимаемые элементы всегда получают некую смысловую нагрузку. Во-вторых, о том, что “обратное воздействие слов на мышление огромно” [Müller 1971: 88, ср. 143]. Тем самым он утверждает язык в качестве трансцендентального фактора и вводит понятие о ситуации предпонимания, в которой реализуется мышление.

Науку, изучающую мышление, проявляющееся в языке, и решающую “проблему априорного познания” по-новому, а не так, как это имеет место у “материалистов” или “спиритуалистов”, Мюллер предлагает называть “*номинизмом*” (Nominismus) [Müller 1971: 62]. Название это совмещает в себе два понятия – монизм и номинализм. Монизм здесь означает, что мышление изучается одновременно с языком. Номинализм – прежде всего то, что слова языка не являются репрезентантами вещей, а представляют собой знаки, используемые для обозначения представлений о вещах и процессах [Müller 1971: 91–96]; а также то, что мышление невозможно “без общих знаков, универсалий, общих имен и общих суждений” [Müller 1971: 75]. Совмещающий эти два представления номинизм исходит из того, что язык представляет собой “не очки”, которые можно снять, а “наши настоящие глаза” [Müller 1971: 125]; а слова суть не оболочки, в которые завернута мысль, а истинные средства мышления.

Номинизм учит о динамике понятий: “вещи для нас есть только то, что мы понимаем под именами. То, что мы в действительности понимаем под именами, должно быть определено посредством дефиниций, и в зависимости от того, как изменяется наше познание, будет также изменяться определение и поэтому также значение имен” [Müller 1971: 76]. В связи с этим Мюллер вводит понятие “основной метафоры”, объясняющей генезис представлений о мире. Смысл “основной метафоры” состоит в том, что понятия, которые первоначально использовались для описания действия людей, переносятся на процессы природы, в результате чего возникает антропоморфное представление о мире, о царящей в нем причинной взаимосвязи.

Изменение значений понятий требует пересмотра традиционного представления о познающем субъекте как находящейся вне времени и пространства абсолютной и неизменной сущности. На место кантовского трансцендентального “субъекта вообще” Мюллер предлагает поставить *конкретно-исторический субъект*, ситуированный в пространстве и времени, и «этот представляющий индивидуум должен определять “здесь” и “сейчас” для всего, что должно быть представлено, иначе представления не были бы его собственными» [Müller 1971: 69]. Представления, по его мнению, являются не представлениями вообще, а всегда предполагают “центральное положение любого индивидуального Я”. В этой системе мышление также не является мышлением вообще; все элементы мышления суть различные виды “деятельности” или различные функции сознания индивидуального познающего субъекта [Müller 1971: 65].

Итак, говоря о субъекте познания, следует иметь в виду индивидуальный субъект, для обозначения которого Мюллер предлагает термин “*Monon*” или “*Ego*” [Müller 1971: 83]. Как он полагает: “Это абсолютный философский политеизм – говорить о смысле, духе, разуме, интеллекте, рассудке как о многих независимых силах, не проводя строго определенных границы между ними; и каким бы ортодоксальным этот политеизм не стал, никогда не может быть слишком поздно для протестов против него” [Müller 1971: 90]. Все перечисленные понятия представляют собой только различные выражения или различные функции одной и той же сущности – индивидуального со-

знания Моноп. Тем самым Мюллер предлагает понимать субъект натуралистически как эмпирического носителя определенных функций [Müller 1971: 70]<sup>7</sup>.

Помимо ключевых постулатов, на которых основывается метафизика, объектом критики Мюллера являются неопределенность, произвольность и неточность ее высказываний. Как он полагает: “Ничто не колеблется так сильно как значение философских выражений, т. к. каждый верит в то, что он имеет право их дефинировать или также использовать без определения” [Müller 1971: 89]. Отсюда вытекает одна из важнейших задач философии, а именно: выработка собственного адекватного языка – “здесь, как и вообще, истинная философия состоит в улучшении языка” [Müller 1971: 142]. Тогда “прогресс истинной философии основывается здесь, как и вообще, на правильном определении наших слов. Их необходимо постоянно определять, прояснять, исправлять, даже отбрасывать и отказываться от них, пока, наконец, совершеннейший язык не превратится в совершеннейшую философию” [Müller 1971: 142–143].

“Кардинальным” вопросом философии Мюллер считает “вопрос о происхождении понятий или об истинном отношении между особенным и всеобщим (Allgemeine)” [Müller 1971: 109], поскольку история образования понятий может прояснить природу мышления. Он полагает, что “язык есть точная автобиография человеческого духа и ... любая тайна философии должна изучаться при помощи этого древнего дневника. Если бы мы понимали каждое слово в его возникновении и дальнейшем развитии, то у философии больше не было бы и не могло бы быть тайн. Она перестала бы существовать” [Müller 1971: 125].

Пропедевтикой к философии должно стать сравнительно-историческое языкознание. В центре исследовательских интересов должны находиться проблемы происхождения языка, этимологии, реконструкции индогерманских корней западноевропейских языков и их первоначального значения. Языкознание должно продемонстрировать, что законы мышления могут и должны рассматриваться только в совокупности с законами языка, что не может быть чистого мышления, чистой логики, равно как и чистой универсальной грамматики. “Логика для всех языков одинакова, а грамматика для каждого языка особенна” [Müller 1971: 128]. Мышление состоит не только в сложении и вычитании готовых понятий, как считалось в традиционной логике, а включает в себя в качестве необходимых компонентов представление, понимание, называние. Причем эти операции в каждом конкретном языке обладают своей собственной спецификой. “Каждый из бесконечного количества языков, которые покрывают землю, есть слой в росте мышления, который должен быть исследован. Каждое слово, есть попытка, документ человеческого мышления, который должен быть проанализирован и объяснен” [Müller 1971: 97, ср.: 92].

Истоки языков Мюллер ищет в общих корнях современных слов. Занимаясь этим, он одновременно стремится решить вопрос о том, каким образом в языке и мышлении осуществлялся переход от единичного и конкретного к общему и абстрактному. Вывод, к которому он приходит, заключается в том, что “корни, из которых строится любой язык, – абстрактны, но никогда не конкретны, и путем предикации этих абстрактных понятий по отношению к этому или тому, через их локализацию здесь или там, через применение категории сущности или субстанции к корням были заложены первые основания нашего языка и нашего мышления” [Müller 1971: 118]. Таким образом, он подчеркивает важнейшее свойство языка – его изначально абстрактный характер. “Наука о языке при исследовании происхождения общих выражений должна доказать два факта наивысшей важности, а именно, первое, что все выражения первоначально были общими и, второе, что они не могли быть ничем другим, как общими выражениями” [Müller 1971: 119].

<sup>7</sup> Модернизируя эту идею Мюллера и используя терминологию Г. Райла, Клерен предлагает интерпретировать мюллеровский субъект как совокупность “dispositional terms” [Cloeren 1996: 151].

Согласно Мюллеру, язык есть прежде всего интеллектуальная деятельность, направленная на поиск адекватного словесного выражения мысли. За каждым словом стоит деятельность мышления по его созданию, каждое слово отражает результат понимания и познания и представляет собой понятие. “Самым первым словом было, собственно, предложение”, – считает он [Müller 1971: 126]. Свообразие языков определяет своеобразие создаваемых ими картин мира, причем связанный с тем или иным конкретным языком способ познания транслируется через поколения. “Как может быть иначе, чем то, что способ мышления и речи, который приобретается народом (Rasse), становится традиционным, если каждое новое поколение должно обживаться в унаследованном от предшественников грамматическом здании и учиться ходить в оставленных в наследство отцами ботинках?” [Müller 1971: 107].

Факторами, обуславливающими разнообразие языковых способов познания мира, являются логические категории, грамматические части речи и лексика. Причем, логические категории “являются не только формами языка и мышления, они суть предпосылки и основные условия языка и, следовательно, также мышления” [Müller 1971: 120–121]. Изучая различные формы мышления, важно проследить, каким образом те или иные категории абстрактного мышления реализуются посредством грамматических категорий в конкретном языке. Исследовав это, становится очевидным, что “мир состоит из имен и форм” или, другими словами, что категории и понятия, отражающиеся в синтаксисе языка, образуют систему, внутри которой определяется семантика слов, и что вместе они обуславливают представление о мире.

Общий вывод, к которому приходит Мюллер, можно видеть в следующем его высказывании: “Существует представляющий субъект и представленный объект. Если признать эти два фактора, то весь мир, насколько он есть *наш* мир, найдет свое объяснение. Все представление реализуется в понятийных именах-понятиях (in begrifflichen Namen), все представленное – в формах” [Müller 1971: 142]. Таким образом, позиция, которую он представляет, есть языковой реализм. Отсюда следует, что номинизм как наука о связи языка с мышлением, является фундаментом не только теории познания, но и онтологии.

**Георг Рунце** (1852–1922) – экстраординарный профессор теологии в Берлине – издал следующие работы, посвященные преимущественно проблемам языка: “Значение языка для научного познания” (Галле 1886), “Язык и религия” (Берлин 1889), “Метафизика” (Лейпциг 1905).

Рунце рассматривает философию как универсальную науку, предметом которой являются наиболее общие категории и законы бытия, и полагает, что “основной вопрос философии одновременно является основной загадкой жизни, философия заключается в том, чтобы сделать предметом размышления жизнь, Dasein как таковое, без особых целей” [Runze 1971a: 147]. Проблемы философии, по его мнению, связаны не с тем, что она принципиально не в состоянии дать ответы на поставленные перед ней вопросы, а с тем, что внутри нее предлагаются различные подходы к их решению. С одной стороны, это закономерный процесс, т.к. способы постановки вопросов отмечают развитие человеческого духа и отражают пути его исканий истины, причем каждый раз способ постановки проблемы уже задает направление поиска ее решения. С другой стороны, согласно Рунце, современная философия должна выработать общий фундамент для того, чтобы быть в состоянии научно подходить к делу. Как он полагает, решение фундаментальных философских проблем может осуществляться только с позиций философии языка: “От взгляда на определяющее значение языка для мышления зависит зрелость философской способности суждения” [Runze 1971a: 149].

Предлагаемый им новый философский метод базируется на *психологии языка* и заключается в том, что с его помощью “1. дается психологическое доказательство того, что любая теоретическая проблема, которая не подлежит детальному эмпирическому исследованию, уже в правильно понятом способе своего *психического возникновения предлагает средство для своего решения* и что 2. существенное и наиболее авторитетное подручное средство (Handhabe) как раз и есть само *языковое выражение*, эти-

мологическое происхождение и лингвистический способ возникновения, а также постепенное грамматическое становление и диалектическое формулирование которого дают ключ к открытию и разоблачению искомого содержания представления, т.е. к познанию истины” [Runze 1971a: 149–150, ср. 172].

Ядром философии должно стать “исследование возможности и способа познания”, т.е. теория познания, важнейшей составной частью которой является изучение происхождения и развития языка. Интерес философии к языку вызван тем, что “единственно язык является адекватным и ярким выражением разума; разум выражает себя сущностно только в языке” [Runze 1971a: 155]. Для всех теоретических наук, включая философию, язык представляет собой “специфический орган”, а не просто техническое вспомогательное средство; философия же представляет собой “искусство речи” *par excellence* [Runze 1971a: 163]. Следовательно, “методическое представление происхождения всего познания из языка и становления всего познания в языке требует концентрированного понимания языковых форм выражения любого стремления к пониманию” [Runze 1971a: 163].

Правильное понимание обусловленного языком познания, требует, во-первых, учитывать образный характер языка, который оказывает влияние на видение проблем и их решение. “Как любое языковое выражение, так и форма, в которой высказываются проблемы, есть *образ*. Уже способ *формулировки* проблем, всегда находящийся под властью языковых образов, не меньше, чем *решение* проблемы, связан с образом; уже стремление к правильной формулировке проблемы находит свое относительное удовлетворение только в корректно выбранном образном языке” [Runze 1971a: 160]. Во-вторых, следует обратить внимание на то, что языковые средства прояснения проблем сами являются “созданиями стремящейся к ясности воли”, которая постоянно изменяет и уточняет их значения [Runze 1971a: 162]. Поэтому необходимо каждый раз давать им точные определения. В-третьих, следует учитывать, что язык сам по себе уже представляет собой хранилище знаний, которые влияют на познавательные процессы: “Все теоретическое познание осуществляется посредством языка и также как воля произвела познание посредством языка, так и это познание посредством языка оказывает обратное преобразующее воздействие на направление воли” [Runze 1971a: 159].

Характерной особенностью теории познания Рунце, центр которой образует психология языка, является то, что она находится под сильным влиянием идей А. Шопенгауэра и принимает волю, приобретающую в своем развитии различные формы, в качестве важнейшего источника и условия познания. Субъекту дается здесь не сугубо интеллектуалистская трактовка как понимающего самого себя мышления; он включает в себя также инстинктивное, до конца неосознанное и неконтролируемое стремление. Согласно Рунце, сам “язык является не чем иным, как думающим разумом в виде воли”; “он есть непосредственный продукт воли, который она производит для того, чтобы выразить себя как представление, т.е. действовать, создавая знание” [Runze 1971a: 159]<sup>8</sup>. Язык и мышление выражают, следовательно, волю к познанию, а познание, со своей стороны, не содержит в себе ничего, кроме “воли и ее целей”, а также “образов, которые высказываются в словесных символах”. Причем “эти два элемента всего мышления образуют единственные факторы знания также на высшей ступени познания” [Runze 1971a: 160–161].

На основании изучения использования языка Рунце заключает, что “сущность всего познания, его изначальная и сохраняющаяся суть есть *воля, стремление* (*Ringen*) к духовной свободе и ясности, *стремление* (*Streben*) внести в спутанные процессы сознания симметрию, порядок, т.е. не нечто новое, а бытующие в нас формы, математическую предрасположенность (*Anlage*) нашей сущности” [Runze 1971a: 161]. Таким образом, характерным признаком способности к познанию является врожденное созна-

<sup>8</sup> Заметим, что понимание Рунце языка как действия воли можно считать прообразом современных концепций речевого действия.

тельно-бессознательное стремление человека к созданию порядка; при этом важнейшим средством упорядочивания мира является язык.

Проблема познания, опосредуемого образным по своей природе языком, состоит в том, что оно всегда протекает в условиях дилеммы: “быть ли более недействительным за счет бесцветности или более неточным за счет образности” [Runze 1971a: 162]. “Недействительное” познание тяготеет к абстрактному и безжизненному догматическому схематизму. “Неточность” познания, которая возникает за счет помех, вносимых языком, поддается корректировке лишь при том условии, что осознается и признается влияние языка на познание.

Влияние языка необходимо признавать на всех уровнях познания и для всех его форм: “Как вся культурная жизнь коренится в языке, в нем отражается, из него извлекает свою жизненную силу, так же и наука” [Runze 1971a: 159]. Наименьшее воздействие языка на протекание процессов познания, по мнению Рунце, можно констатировать для эмпирических наук, идеалом которых является точное воспроизведение природных процессов, их копирование, поддающееся контролю путем сравнения результатов непосредственно с самой действительностью. “Если мы хотим дать общую характеристику так называемой эмпирической форме науки, то эта такая наука, которая по своей сущности является преимущественно неязыковой” [Runze 1971a: 153]. Однако даже в этом случае нельзя говорить о “чистой объективности репродукции”. «Голое, абсолютно правильное отображение не достигается еще полностью ни в устных описаниях природы, ни в цифровой статистике, ни в словесном (эпическом) реферате или “драматургическом” воспроизведении исторически данной речи. Ведь в различные формы представления всегда добавляются субъективные примеси, поскольку выбор выражения (в истории природы), акценты (в устном реферате), равно как и разделение и упорядочивание статистических рубрик остаются предоставленными индивидуальному усмотрению» [Runze 1971a: 151]. Помимо перечисленных случаев, влияние языка не избежать там, где он выполняет функции сообщения, например, в технических инструкциях или при обучении. Таким образом, несмотря на то, что чистый идеал эмпирической науки достигается в отображающей технике, в “фотограмме”, она не может считаться полностью независимой от языка.

В теоретических науках язык получает “конституирующую роль”, т. к. он становится подлинным органом творчества. Особое значение он приобретает в гуманитарных науках, которые Рунце делит на “продуктивно-организующие” и “репродуктивно-символизирующие” [Runze 1971a: 156]. К “репродуктивным” наукам он относит философию истории и философию природы, поскольку “они пытаются дать объясняющую картину действительного Dasein космоса посредством языка”. К “продуктивным” наукам он причисляет философию государства и права, этику, эстетику, педагогику и др., т.е. науки, которые самостоятельно “творят знание”. Любопытно, что в качестве переходной формы между ними Рунце предлагает герменевтику, которая, с одной стороны, “эвристически пытается репродуцировать данное”, с другой – “как искусство переноса одной языковой сферы на другую организует новый круг воззрений”. Высшей гуманитарной наукой остается, по мысли Рунце, логика или наука “о мыслях посредством мыслей, о словах посредством слов”, которую частично можно рассматривать как “созидающую диалектику или синтетическое искусство обмена мыслями в области чистого мышления”, а частично как “теорию познания или репродуцирующей самоанализ чистой деятельности разума” [Runze 1971a: 156].

Язык, таким образом, оказывается “жизненным элементом всей науки”, кроме того, “он образует главный ключ также для основной науки, которая нацелена на разгадку жизни, на проблему Dasein как такового”. Эта основная наука, философия, с одной стороны, “может возникнуть только в языке и вместе с языком и будет постоянно вновь возникать и расти со становлением и ростом языка”; но с другой – “будет также соответственно решена в языке и вместе с языком” [Runze 1971a: 160]. Рунце обобщает: “С относительно самостоятельной жизнью языка дух должен считаться даже тогда, когда речь идет об основных принципах разумного познания, об абстрактных кате-

горяих – и даже тогда, когда речь идет о всеобщих аксиомах. Даже в них участвуют как фантазия, так и рассудок, как образная форма языка, так и логическая схема понятия” [Runze 1971b: 206].

Благодаря опосредующей функции языка действительность, с которой человек имеет дело, представляет собой *символическую действительность*. «Так как материальное содержание духа есть чувственное воззрение и чувственно воспринятое слово, то думающий рассудок *упорядочивает* только это содержание и пытается на основании чувственной организации проецировать его *вовне*, или – что, с точки зрения психологии, одно и то же – он создает за счет воображения (*imaginiert*) “внешнее”. Тогда как сенситивная функция нервов передает все впечатления с поверхности тела в центральную нервную систему (*Centralorgan*), то рассудочное умозаключение прodelывает обратный путь и измышляет в свободной продуктивности мир, который пройдет вне тела и который затем наделяют атрибутом “действительного внешнего мира”. Это продуцирование возможно только благодаря способности воображения» [Runze 1971b: 208, ср. 213]. Понятие внешнего, независимого от человека мира сохраняется в этой конструкции в качестве коррелята по отношению к понятию символического мира, без него “все теоретическое познание оставалось бы необоснованным и неопределенным” [Runze 1971b: 208].

Влияние образности языка и его субъективного характера на познание сказывается в том, что между вещью и ее образом, “символом и действительностью” всегда сохраняется различие. Однако, как считает Рунце, из обусловленности всех философских суждений языком, а языка – индивидуальной волей ни в коем случае нельзя заключить, что языковой способ представления знания имеет ненаучный, неадекватный характер и является ущербным по сравнению с копирующими техниками эмпирических наук. Напротив, «именно язык мы имеем право называть собственно *создающим знание* органом. И даже *произвольный* характер, который свойствен этому органу, несет отпечаток *истины*, поскольку он сообразен природе человеческого духа. Понятие истины является в себе таким же многозначным и текучим, как *все* другие воплощенные в слове понятия. *Объективная* копия кажущейся действительности феноменов есть только элементарная *предпосылка* познания “истины”, существенные принципы, нормы и правила которой основаны скорее во *внутренней* организации *нашей* духовной способности» [Runze 1971a: 165]. Таким образом, Рунце утверждает, что в силу опосредованности любого восприятия языком “чисто эмпирическая объективность” не существует. Объективность основывается на внутренних закономерностях познания. Истина, следовательно, не исчерпывается постулатом о соответствии речей и вещей, поскольку на самом деле познание имеет дело не с самими вещами, а с понятиями о них. Под истиной поэтому следует понимать скорее общезначимость, intersubъективное признание чего-то истинным. Истина предстает здесь, таким образом, с одной стороны, как нормативное понятие; с другой, как регулятивное, поскольку оно отражает идеал и цель процессов познания.

Возможному скепсису относительно истинности и объективности обусловленного языком познания Рунце противопоставляет свою программу, позволяющую за счет точного установления значений слов уменьшить “дифференциал между данным феноменом действительности” и достигнутой на настоящий момент его “искусственной репродукцией”, т.е. его пониманием и объяснением. Эта программа, по существу, оказывается “критикой языка”, которая предусматривает, во-первых, сотрудничество с эмпирическими науками и опорой на достигнутые в них знания; во-вторых, использование языкознания “от физиологии звуков и учения о происхождении языка до учения об образовании понятий на основе сравнения языков”. В-третьих, она предполагает исследовать волю как фактор, который “производит язык и со своей стороны от имеющихся слов также получает основной импульс для нового созидательного языкового творчества (*Sprachbildung*)” [Runze 1971a: 166]. Благодаря процессу словотворчества и создания новых понятий достигается со временем более адекватное описание действительности. “Сначала все слова означают лишь то, что вложил в них язык” [Runze 1971a: 161], но по

мере углубления познания происходит диалектическое изменение содержания понятий, и они становятся способными удовлетворять растущие запросы науки.

Таким образом, учет “многозначности и эластичности языка”, а также взаимодействия между “самостоятельно создающей волей” к познанию и “связанностью интеллекта с уже созданными языковыми формами” должен лечь в основу нового философского метода исследования познания. Изучение влияния языка на познание требует сочетания эмпирических и аналитических методов, при этом следует иметь в виду, что определение границы такого влияния затруднено взаимной обусловленностью нормирования языка на базе фактов и формулирования фактов в условиях уточняющегося словоупотребления [Runze 1971b: 196].

**Заключение.** Приведенные материалы наглядно свидетельствуют о том, что диагностированный Р. Рорти в 1967 г. “лингвистический поворот” к философии языка имел место не в двадцатом веке, а почти на сто лет раньше. По крайней мере, само выражение “поворот философии”, фиксирующее в этой науке переход от спекулятивной системы к позитивистскому методу, в основание которого положен анализ языка, встречается уже в 1834 г. у О.Ф. Группе. Вслед за ним Ф.М. Мюллер говорит в 1887 г. о “полной революции в философии”, заключающейся в том, что язык становится приоритетным объектом теории познания.

Анализируемые тексты показывают, что философия языка этого времени утверждала себя в двух направлениях: с одной стороны, она была нацелена на разработку философской теории языка; с другой, использовала анализ языка для решения вопросов теории познания и, в конце концов, для исследования взаимоотношения между философией и языком. В первом случае круг решаемых проблем охватывает прежде всего сущность языка, его происхождение и генезис, вопросы о психологическом, социальном и культурно-антропологическом основании естественных языков, а также функции языка. Во втором случае можно говорить о “критике языка” как о критике познающего разума.

Кроме того, уже на основании анализа относительно небольшого количества расматриваемых выше текстов можно заключить, что понятие “критики языка” неоднозначно: “критика” могла быть как методом прояснения некоторых частных вопросов, например, установления непригодности некоторого средства для достижения некоторой цели, так и названием проекта теории познания.

Фундаментальной проблемой и абсолютной точкой отсчета для “критики языка”, предпринимаемой в рамках теории познания, является кантовская трансцендентальная постановка вопроса об априорных условиях возможности познания. Пытаясь дать на него свои собственные ответы, “критика языка”, с одной стороны, продолжила традицию: признание языка в качестве априорного условия возможности и значимости всего познания лишь изменяет угол зрения и вводит новые данные для философской рефлексии, не затрагивая формальную сторону дела – отправной точкой остается размышление разума о самом себе, о своих предпосылках. С другой стороны, ориентация на язык и утверждение его центральной роли в познании объективно способствовали разрушению сложившихся метафизических схем и подходов и требовали введения нового инструментария, позволяющего работать с новым материалом: “критика языка” становилась в буквальном смысле методом решения философских проблем. В результате намечилась смена парадигмы трансцендентальной философии с “критики чистого разума” на “критику языка”, а критический анализ языка утвердился в качестве одного из легальных методов теории познания, направленной на реконструкцию познающего разума.

Анализируемые тексты несомненно можно рассматривать в качестве свидетельств того, что основные темы критической философии языка, разрабатывавшиеся в двадцатом веке, были сформулированы уже в предшествующем ему столетии. Как справедливо отмечает З. Шмидт, “философское тематизирование языка, наложившее свою печать на двадцатый век, почти во всех своих способах проявления и аспектах предзнаменовано (ist vorgezeichnet) уже в девятнадцатом веке, в апокрифической традиции от Группе до Рунце” [Schmidt 1971: 10]. Ему вторит Г.-Й. Клерен, заявляя, что “задолго до Маутнера и Витгенштейна здесь была достигнута сумма критических аргументов, которая с тех пор должна рассматриваться в качестве типичной для фило-

софствования в рамках критики языка” [Cloeren 1971: 10]. Среди важнейших тем можно отметить:

Во-первых, обсуждение места языка в теории познания: в центре внимания находились проблемы языка как необходимого априорного условия познания, историчности обусловленного языком познания, взаимовлияния языка и познания, проблемы пределов познания. Благодаря тому особому значению, которые авторы рассмотренных работ придавали аспекту становления и развития взаимосвязанных друг с другом мышления и языка, Г.-Й. Клерен охарактеризовал их философию языка как “исторически ориентированную” [Cloeren 1996: 144].

Во-вторых, важное место занимали вопросы взаимосвязи логики и языка. В этом отношении интересна не только высказываемая всеми без исключения авторами критика аристотелевской силлогистики, но и новаторские идеи о логическом синтаксисе языка (Германн), диалектическом изменении семантики понятий (Гербер, Группе), новая постановка проблемы истинности высказываний и правильности умозаключений как проблемы их верификации (Группе, Рунце); прагматическое понимание истины как регулятивной идеи познания (Рунце).

В-третьих, серьезное внимание уделялось вопросам языка и онтологии. В данный круг попадают проблемы отношения языка к вещам и фактам мира; проблемы обозначения и референции; понимание действительности не как ее прямого отражения в мышлении, а как символической реальности; проблемы структурирования языка и мира (Германн); вопрос о существовании независимой от субъекта реальности и о доступе к ней (Гербер, Рунце).

В-четвертых, углубленно исследовались общие законы развития обусловленного языком мышления. В этой сфере можно отметить снятие оппозиции логического и риторического или метафорического (Группе, Рунце), положение о поэтическом и образном характере языка, воздействующем на мышление (Гербер), и постановку герменевтической проблемы предпонимания как языковой традиции (Германн, Мюллер).

Целый ряд идей, высказанных теми или иными рассматриваемыми авторами и утвердившихся позже в современной критической философии языка в качестве парадигматических, были для своего времени новыми и оригинальными. Среди них отметим следующие:

Во-первых, присущее всем им понимание языка, с одной стороны, в качестве предмета эмпирического исследования, а с другой, – в качестве трансцендентального основания и нередко масштаба разумного суждения и аргументирования в силу его неразрывной связи с мышлением.

Во-вторых, понимание языка не как набора произвольных знаков, служащих вспомогательными средствами выражения мысли, что характерно для его инструменталистских концепций, а как особой, автономной, интересубъективной символической реальности, отражающей коллективный опыт познания мира, опосредующей отношение человека к миру и влияющей на способы его познания.

В-третьих, полагание образного характера языка и его культурно-антропологической обусловленности в качестве источника псевдознания и мнимых философских проблем. Поскольку при познании формулирование и решение проблем происходит внутри сферы языка, то в арсенал методов его обоснования входят: применение своего рода верификационного принципа для отделения осмысленных предложений от бессмысленных; использование лингвистического анализа для прояснения смысла понятий и предложений; внимание к применению слов в разговорном языке для установления их значений; использование философии не как системы, а как метода, как терапевтической деятельности, направленной на решение проблем, вызванных принципиальной многозначностью языковых знаков. Таким образом, очевидно, что по сути здесь предвосхищаются многие положения неопозитивизма и аналитической философии.

В-четвертых, утверждение всеми авторами относительности обусловленного языком познания и прямые указания Гербера и Рунце на неизбежность возникновения ошибок в процессе познания, а также на относительный характер истины предвосхищают тезис о принципиальной фаллибельности суждений, т.е. их подверженности ошибкам, высказы-



ваемый некоторыми современными философами, например, Ю. Хабермасом, и широко дискутирующийся в литературе.

В-пятых, восприятие языка как фактора, формирующего предпонимание или предварительное знание, на котором основывается все дальнейшее познание. Экспликация этого предпонимания считается приоритетной задачей современной философии языка, особенно ее герменевтической ветви. В связи с этим важны указания наших авторов на то, что существует целый ряд предпосылок, таких как укорененность языка и мышления в мире (в контексте, в ситуации), которые влияют на конституирование значений.

В-шестых, осознание того, что метафорическое и мифическое составляют сущность языка, а, следовательно, даже позитивные науки сохраняют элементы метафизики. Тем самым в высказывании Гербера был предвосхищен тезис У. Куайна о том, что любые антиметафизические построения всегда привязаны к некоей онтологии, т.е. что метафизика всегда сохраняется в них в скрытой форме.

В-седьмых, понимание языка как интересубъективного феномена, конституированного за счет консенсуса в языковом сообществе (Гербер).

В-восьмых, понимание языка речевого действия, направленного на поиск адекватных способов выражения мысли, в основе которого лежат психологические причины (Гербер, Рунце). Такое восприятие языка предвосхищает современный взгляд на него как на выражение универсальной прагматически семантической предрасположенности человека к мышлению и действию, которая реализуется в многообразии культурно-обусловленных языковых техник.

В-девятых, критика метафизики, нацеленная на ее деструкцию; увязывание возможности излечения философии и превращения ее в науку как с усовершенствованием философского языка, так и с ее взаимодействием с опытными науками. И, наконец, предвещение исчезновения философии в том случае, если будет прояснен ее язык – здесь Мюллер, выдвинувший этот тезис, выступает как предшественник Л. Витгенштейна.

Знакомство с рассмотренными текстами и их анализ подтверждают правоту Г.-Й. Клерена, считающего, что “образ, который до сих пор составляла себе история философии о девятнадцатом веке, нуждается сегодня в исправлении и дополнении” [Cloegen 1996: 17]. Несмотря на то, что спорными представляются попытки З. Шмидта и Г.-Й. Клерена говорить о “преемственности” в области аналитической философии, поскольку работы данных философов за редким исключением<sup>9</sup> остались неизвестными научному сообществу, а также представить Группе как ее родоначальника<sup>10</sup>, все же очевидно, что критика языка двадцатого столетия имела своих предшественников. Включение критического наследия немецкой философии языка девятнадцатого века в научный оборот представляется ценным не только в историческом отношении как свиде-

<sup>9</sup> Например, среди философов, традиционно относимых к аналитическому направлению философии языка, можно назвать Ф. Маутнера, которому были известны работы Ф.М. Мюллера и О.Ф. Группе. В частности, он издал работу последнего “Антей” и написал к ней предисловие. Среди философов других направлений отметим Ф. Ницше, который был знаком с работами Гербера “Язык как искусство”. О влиянии работ некоторых из рассмотренных авторов на неогумбольдтианство см. [Радченко 1997].

<sup>10</sup> Клерен пишет: “Тем не менее, наряду с Марксом и Кьеркегором, Группе можно рассматривать как первого из троих, заложивших в радикальной оппозиции к Гегелю основания для трех наиболее значительных сегодня направлений философии – логического позитивизма (термин, который здесь очень углубленно должен использоваться для аналитической философии в широком смысле), марксизма и экзистенциализма... В то время как корни двух из трех упомянутых основных философских течений двадцатого века обнаружены в девятнадцатом, т.е. в то время как значение Маркса и Кьеркегора для марксизма и экзистенциализма широко исследовано, осталось неизвестным, что логический позитивизм – в выше описанном смысле – также имеет важные корни в философской оппозиции к Гегелю, причем восходящие ко времени его жизни” [Cloegen 1971: 16–17]. Заметим, что до Клерена и Шмидта высокая оценка творчества Группе и Гербера была дана Г. Симонисом [Simonis 1959].

тельство того, что многие из его идей были позже переоткрыты в различных направлениях аналитической философии, но и в систематическом отношении для анализа и уточнения понятия о критической философии языка.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гумбольдт 1985 – *В. фон Гумбольдт*. Язык и философия культуры. М., 1985.
- Радченко 1997 – *О.А. Радченко*. Язык как мироздание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. Т. 1–2. М., 1997.
- Bermes 1999 – *Ch. Bermes* (Hrsg.). Sprachphilosophie. Freiburg, 1999.
- Bondeli 1995 – *M. Bondeli*. Das Anfangsproblem bei K.L. Reinhold. Eine systematische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchung zur Philosophie Reinholds in der Zeit von 1789 bis 1803. Frankfurt-am-Main, 1995.
- Borsche 1996 – *T. Borsche* (Hrsg.). Klassiker der Sprachphilosophie. München, 1996.
- Cloeren 1971 – *H.-J. Cloeren* (Hrsg.). Philosophie als Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Textauswahl. I. Stuttgart; Bad Cannstadt, 1971.
- Cloeren 1972 – *H.J. Cloeren*. Philosophie als Sprachkritik bei K.L. Reinhold // Kant-Studien. 63. 1972.
- Cloeren 1996 – *H.J. Cloeren*. Historisch orientierte Sprachphilosophie im 19. Jahrhundert // T. Borsche (Hrsg.). Klassiker der Sprachphilosophie. München, 1996.
- Gerber 1971 – *G. Gerber*. Die Sprache und das Erkennen // S.J. Schmidt (Hrsg.). Philosophie als Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Textauswahl. II. Stuttgart; Bad Cannstadt, 1971.
- Gruppe 1971a – *O.F. Gruppe*. Gegenwart und Zukunft der Philosophie in Deutschland // H.-J. Cloeren (Hrsg.). Philosophie als Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Textauswahl. I. Stuttgart; Bad Cannstadt, 1971.
- Gruppe 1971b – *O.F. Gruppe*. Wendepunkt der Philosophie im neunzehnten Jahrhundert // H.-J. Cloeren (Hrsg.). Philosophie als Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Textauswahl. I. Stuttgart; Bad Cannstadt, 1971.
- Gruppe 1971c – *O.F. Gruppe*. Antäus. Ein Briefwechsel über spekulative Philosophie in ihrem Konflikt mit Wissenschaft und Sprache // H.-J. Cloeren (Hrsg.). Philosophie als Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Textauswahl. I. Stuttgart; Bad Cannstadt, 1971.
- Hermann 1971 – *C. Hermann*. Philosophische Grammatik // H.-J. Cloeren (Hrsg.). Philosophie als Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Textauswahl. I. Stuttgart; Bad Cannstadt, 1971.
- Kutschera 1971 – *F. von Kutschera*. Sprachphilosophie. München, 1971.
- Müller 1971 – *F.M. Müller*. Das Denken im Lichte der Sprache // S.J. Schmidt (Hrsg.). Philosophie als Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Textauswahl. II. Stuttgart; Bad Cannstadt, 1971.
- Reinhold 1971 – *K.L. Reinhold*. Grundlegung einer Synonymik für den allgemeinen Sprachgebrauch in den philosophischen Wissenschaften // H.-J. Cloeren (Hrsg.). Philosophie als Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Textauswahl. I. Stuttgart; Bad Cannstadt, 1971.
- Runze 1971a – *G. Runze*. Die Bedeutung der Sprache für das wissenschaftliche Erkennen // S.J. Schmidt (Hrsg.). Philosophie als Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Textauswahl. II. Stuttgart; Bad Cannstadt, 1971.
- Runze 1971b – *G. Runze*. Sprache und Religion // S.J. Schmidt (Hrsg.). Philosophie als Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Textauswahl. II. Stuttgart; Bad Cannstadt, 1971.
- Schmidt 1971 – *S.J. Schmidt* (Hrsg.). Philosophie als Sprachkritik im 19. Jahrhundert. Textauswahl. II. Stuttgart; Bad Cannstadt, 1971.
- Simonis 1959 – *H. Simonis*. Die Sprachphilosophie O.F. Gruppens und G. Gerbers nach ihrer Bedeutung für die Erkenntnistheorie. Bonn, 1959.

**КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ**

**РЕЦЕНЗИИ**

**R.O. Richards. The Pannonian Slavic dialect of the Common Slavic Proto-language: The view from Old Hungarian / Ed. by Vyacheslav V. Ivanov and Brent Vine. UCLA Indo-European studies. V. 2. University of California. Los Angeles. 2003. 234 p.**

Во втором томе “Индоевропейских исследований Калифорнийского университета” представлена монография Рональда О. Ричардса “Паннонославянский диалект праславянского языка: Взгляд со стороны древневенгерского языка”. Фактически это диссертация автора, защищенная в 2001 г. на Отделении славянских языков и литератур Калифорнийского университета (Лос-Анджелес). В работе предпринята попытка взглянуть на проблемы исторической диалектологии славянских языков через призму славянских заимствований в венгерском языке.

Обширный материал славянских заимствований (СЗ) в венгерском языке издавна привлекает внимание славистов, в первую очередь, конечно, венгерских. Для палеославистики особый интерес представляет, естественно, корпус ранних заимствований X–XV веков, насчитывающий несколько сотен лексем, некоторая часть которых была заимствована в период, последовавший за Переселением и завоеванием венграми Среднего Подунавья, т.е. в X в. Для палеославистики значение древнейших СЗ в венгерском подчеркивается тем обстоятельством, что они позволяют пролить свет на особенности языка тех славян, которые внесли столь значительный вклад в венгерскую лексику. По мнению подавляющего большинства исследователей, это были славяне, ассимилированные венграми, а именно славяне паннонские. Славяне, населявшие Карпатский бассейн, вряд ли представляли единство в языковом отношении, поэтому в славистике существуют различные подходы к их этническому отождествлению. Детальное изучение древнейших СЗ в венгерском дало бы возможность выявить характерные черты языка паннонских славян накануне и после прихода венгров и его связи с теми праславянскими говорами, которые затем легли в ос-

нову самостоятельных южно- и западнославянских языков и их диалектов<sup>1</sup>. В славистике уже сложилась традиция называть язык паннонских славян паннонославянским (паннонскославянским).

Вопрос о выделении древнейшего слоя СЗ в венгерском языке назрел давно, но фактически первая попытка выявить (в первую очередь на основании фонологических критериев) и лингвистически проанализировать корпус древнейших СЗ как единое целое с целью его использования в праславянской реконструкции была предпринята Е.А. Хелимским в докладе на X съезде славистов [Хелимский 1988]. Такая работа оказалась важной и в методологическом отношении, поскольку показала, что использование результатов изучения языковых контактов в решении проблем реконструкции весьма плодотворно. Рецензируемую монографию Р. Ричардса можно рассматривать как исследование в том же направлении.

В своем исследовании Р. Ричардс исходит из предположения, что славяне, жившие в Западной части Карпатского бассейна, говорили на паннонославянском диалекте праславянского языка. В X–XII вв. они были ассимилированы пришлым венгерским населением, но их паннонославянский диалект оставил след в многочисленных заимствованиях венгерского языка. Монография посвящена установлению

<sup>1</sup> Ср. в связи с этим попытки выделить дакославянский слой в румынской лексике, что позволяет некоторым славистам ставить вопрос о реконструкции дакославянского, который, возможно, отражен в крашованском диалекте (сербохорватского?), генезис которого остается предметом дискуссий (см. [Трубачев 2002: 363–365]).

языковых характеристик исчезнувшего паннонославянского диалекта праславянского языка. Эта проблема решается на материале древнейшего слоя славянских заимствований в древнененгерском языке. Для ее решения автор предпринимает попытку выявить корпус древнейших СЗ и квалифицировать эти заимствования с точки зрения их принадлежности к той или иной диалектной праславянской зоне. Монография состоит из четырех глав, избранной библиографии, насчитывающей 140 пунктов, и индекса слов.

Глава первая (Введение. Обзор деятельности славян в Паннии, с. 1–48) представляет собой сжатое изложение основных точек зрения на этнолингвистическую историю Паннии, сопровождаемое обильным цитированием. В первой части главы (Славяне и авары, с. 2–25) рассмотрены теории, интерпретирующие отношения между славянами и аварами, в том числе возможность славянского присутствия в данном регионе до прихода аваров в VI в. и проблему славяно-аварского симбиоза. Анализ этих теорий позволил автору сделать выводы, существенные для дальнейшего изложения: во-первых, славяне присутствовали в Паннии по крайней мере четыре века до прихода сюда венгров в 895 г., во-вторых, возможно, именно Панния была эпицентром славянской языковой экспансии. Вторая часть первой главы (Этноязыковой состав славян в Паннии, с. 25–47) посвящена обзору основных версий этноязыковой принадлежности паннонских славян и тем самым происхождения древнейшего слоя славянских заимствований в венгерском – словацкой (Я. Станислав), словенской (И. Книжеа, Х. Бирнбаум), болгарской (О. Ашбот, И. Тот)<sup>2</sup> и сербохорватской (И. Попович) версий. Последняя предполагает гетерогенность славянского населения Паннии при преобладании автохтонного сербохорватского элемента. Существует и еще одна гетерогенная версия, которая подчеркивает не столько гетерогенность славянского населения Паннии, сколько то, что паннонославянский диалект пересекается своими признаками с соседними словенскими, сербохорватскими и словацкими диалектами праславянского языка (Вяч. В. Иванов [Иванов 1982: 227], Е.А. Хелимский). Эта версия, в сущности, близка автору монографии и используется им в качестве рабо-

чей гипотезы исследования. В книге, однако, недостаточно подчеркнуто, что эти теории являются по сути субстратными, а им противостоит подход, согласно которому источником СЗ в венгерском являются разные соседние славянские языки и диалекты, причем не только те, что могли сосуществовать с древнененгерским в Паннии, но, в частности, и восточнославянские. Восточнославянизмы среди СЗ в венгерском языке составляют особую проблему в связи с тем, что накануне Переселения в Среднее Подунавье венгры в IX в. контактировали с восточными славянами, однако, в настоящее время более или менее общепризнано, что эти контакты не были столь значительны, чтобы предполагать большое количество заимствований из языка восточных славян до Переселения. Эта проблема подробно рассматривается автором в третьей части (Вопрос восточнославянских заимствований в венгерском до Переселения, с. 94–103) третьей главы.

Вторая глава (Методы исследования, с. 49–88) посвящена описанию методов, использованных автором при определении древнейшего слоя заимствованных венгерским языком славянских аппелятивов, которые послужат материалом исследования в следующей главе. В основу выявления древнейших СЗ автор кладет фонологический подход, используя четыре критерия: 1) отражение в заимствовании праславянских носовых гласных; 2) субституция славянской аффрикаты \*с венгерскими /č/ (в анлауте) или /t/ (в ауслауте); 3) замена славянского \*ž венгерским /š/; 4) отсутствие отражения регрессивной ассимиляции согласных по звонкости – глухости после падения редуцированных гласных. Как отмечает Р. Ричардс, только первые два критерия могут указывать на древность СЗ, тогда как два последних выполняют скорее лишь ограничительную функцию, указывая на невозможность включения того или иного СЗ в корпус древнейших паннонославянских заимствований. Но, строго говоря, даже применение самого надежного из критериев, а именно, касающегося отражения носовых гласных, сталкивается с определенными трудностями. Во-первых, не совсем корректно устанавливать древность СЗ, исходя из отражения славянских носовых в венгерском, поскольку само наличие носовых в славянских говорах Паннии конца IX – начала X в. датируют главным образом СЗ в венгерском. Мы можем быть уверены лишь в том, что эти СЗ не появились в венгерском до Переселения – из языка восточных славян, поскольку среди многочисленных СЗ в венгерском, содержащих праславянские сочетания типа \*TORT, нет таких, которые с учетом фактов исторической фонетики венгерского и русского

<sup>2</sup> К этой версии, видимо, склонялся С.Б. Бернштейн, полагавший, что “славянские элементы в венгерском носят прежде всего черты болгарского языка” [Бернштейн 1961: 76].

языков можно было бы интерпретировать как восточнославянские (независимо от того, какая форма – \**TORT*, \**TORŤ* или \**TOROT* – в то время у восточных славян). Во-вторых, существует проблема длительного (до XIII в., а в ряде случаев и до настоящего времени) сохранения носовых гласных в словенских диалектах, что предполагает возможность позднего заимствования славянских слов с носовыми. Этот вопрос обсуждается автором монографии в специальном разделе третьей части второй главы (Проблемы поздней денализации праславянских носовых гласных, с. 80–82). Несомненным достоинством работы является внимание автора к проблемам исторической фонетики венгерского языка, которые связаны с квалификацией СЗ в венгерском. В работе показано, как различные венгерские фонологические процессы воздействуют на форму славянских заимствований. Этому в значительной степени посвящены вторая (Реконструкция паннонославянских лексем, с. 66–79) и третья (Венгерские фонологические изменения и процесс идентификации СЗ, с. 79–87) части второй главы.

Исследованию выявленного на основании фонологических критериев корпуса древнейших СЗ посвящена самая большая в книге глава третья (Исследование корпуса, с. 89–189), состоящая из 10 частей. Однако и в этой главе, в ее первых пяти разделах (с. 89–116), содержатся дополнительные теоретические обоснования самой возможности использования корпуса древнейших СЗ для реконструкции паннонославянского диалекта, в частности, обсуждаются проблема восточнославянских заимствований в венгерском до Переселения, проблемы славяно-венгерских контактов после Переселения и проблема паннонославянского койне. Последний вопрос имеет для автора принципиальное значение. Он полемизирует с Е.А. Хелимским, который полагает, что паннонославянский диалект использовался как койне в условиях славяно-венгерского двуязычия и служил своего рода буферной зоной между славянским и венгерским языками, из которой СЗ и проникали в венгерский язык. В своей реконструкции Р. Ричардс исходит из того, что СЗ попадали в венгерский непосредственно из говоров паннонских славян, минуя посредство другой языковой системы, в том числе какого бы то ни было койне. Он полагает, что даже если в Центральной Европе и существовало какое-либо славянское койне, то его использование на территории именно Паннонии маловероятно (с. 108).

Последний анализ реконструированного корпуса, насчитывающего 53 паннонославянских заимствования, представлен автором в шестой части третьей главы монографии (Анализ корпуса, с. 116–166). Каждое слово подвергается фонологическому и семантичес-

кому анализу и устанавливается степень близости славянского прототипа к следующим праславянским диалектным областям: А – восточнославянской, В – лехитской, С – лужицкой, D – чешско-словацкой, E – словеносербохорватской, F – болгаро-македонской с подразделениями, в случае возможности дифференциации внутри этих групп (например, D<sub>1</sub> проточешский и D<sub>2</sub> протословацкий, E<sub>1</sub> протословенский и E<sub>2</sub> протосербохорватский и др.). Подобный анализ преследует в конечном итоге цель устранить те или иные диалекты как возможные источники конкретного заимствования. При этом используются четыре оценки такой возможности: фонологически вероятно (phonologically feasible) – маловероятно (phonologically infeasible) – невозможно (phonologically improbable) – семантически возможно (semantically viable). Выводы автора, вытекающие из такого анализа материала, представлены в виде таблиц. В качестве примера этих характеристик приведем слав. \**do'ga* / венг. *donga* 'клепка, изогнутая доска в бочке':

Phonologically feasible	A, C, D, E <sub>2</sub>
Phonologically infeasible	B, E <sub>1</sub>
Phonologically improbable	F
Semantically viable	A, E

Каждую из таких таблиц предваряет фонологический и семантический анализ, сопровождаемый разнообразными комментариями с указанием первых фиксаций слова в венгерских источниках бытования слова в диалектах. Полученные в результате такого исследования материалы подвергаются количественной обработке в десятом разделе (Разные подходы к количественному представлению данных, с. 175–189). Автор приходит к таким выводам: если учитывать только фонологический критерий, то процент слов реконструированного корпуса, которые в принципе могут быть ассоциированы с каждой из выделенных диалектных зон, следующий: E – 98%, A – 94%, D – 81%, C – 79%, B – 36%, F – 32%. Процент несколько меняется в случае привлечения всех возможных критериев: E – 89%, D – 68%, A – 62%, C – 55%, B – 25%, F – 25%. Таким образом, словеносербохорватская группа может рассматриваться как наиболее близкая паннонославянскому диалекту и соответственно как наиболее вероятный источник СЗ в древневенгерском. Если же, опираясь в первую очередь на субституцию заднего носового гласного, дифференцировать лексику из корпуса, которая может быть (но не должна быть) ассоциирована с словеносербохорватской группой, как протословенскую (с [o']) и протосербохорватскую (с [ɔ]),

то получается, что из 52 лексем (в о з м о ж н о словено-сербохорватских) только три должны быть интерпретированы как протословенские. Соответственно, если паннонославянский диалект был в языковом отношении гомогенным образованием, то его, по мнению Р. Ричардса, наиболее естественно было бы рассматривать как часть протосербохорватской диалектной области (с. 187–188). Если же, паннонославянский диалект был лингвистически гетерогенным, то доминирующими в нем следует считать протосербохорватскую и проточешско-словацкую диалектные группы. Как в случае гомогенного, так и в случае гетерогенного характера паннонославянского диалекта следует исключить ведущую роль в его возникновении протословенского (теоретически максимальная доля протословенских лексем в корпусе составляет лишь 34%, реально их было значительно меньше – с. 188).

Следует отметить, что выводы, сделанные Р. Ричардсом, сформулированы очень осторожно и сопровождаются многочисленными оговорками, поэтому рецензент постоянно рискует представить их несколько более прямолинейными, чем у автора, и тем самым несколько исказить. Такая осторожность является следствием принятых на себя автором весьма строгих методологических обязательств. Это, в частности, выражается и в том, что на протяжении всего исследования автор не исключает возможности (теоретическая) значительного восточнославянского вклада в паннонославянский диалект и СЗ в венгерском. Seriously обсуждается даже участие в исследуемых процессах древненовгородского диалекта в связи с неразличением в нем свистящей и шипящей аффрикат (цоканье) и отсутствием в древневенгерском фонемы /č/ (с. 115–116). Такая методологическая строгость и широта взглядов во многом оправдана, особенно если учесть, что в славистике представлена авторитетная концепция, согласно которой Средний Дунай был местом древнего обитания (фактически прародиной) всех славян, в том числе и будущих восточнославянских [Трубачев 2002]. Тем не менее, исследование Р. Ричардса подтверждает, что среди древнейших СЗ в венгерском отсутствуют такие, которые можно было бы однозначно ассоциировать с восточнославянской диалектной зоной.

Четвертая глава (с. 191–214) представляет собой заключение, в котором автор пытается соотнести полученные им во второй и третьей главах результаты с существующими версиями этноязыковой принадлежности паннонских славян, подробно рассмотренными им в первой главе монографии. Сербохорватская версия, как указывает автор, лучше всего согласуется с полученными им результатами анализа корпуса славянских заимствований в древневенгерском, причем в случае гетеро-

генности паннонославянского диалекта на роль второго компонента больше всего оснований претендовать проточешско-словацкому. Данные Р. Ричардса не позволяют отдать предпочтение проточешскому или протословацкому компоненту. Как считает автор, его данные могут быть также согласованы, хотя и не содержат прямых аргументов, с выводами тех славистов, которые считают, что Паннония была центром славянской языковой экспансии. В частности, паннонославянская реализация заднего носового \*o<sup>↑</sup>>[ц] представляет собой инновацию, объединяющую лужицкий, чешский, словацкий, сербохорватский и восточнославянский диалекты, которая вытесняет архаический словенский рефлекс [o<sup>↑</sup>] с территории Паннонии на славянскую периферию (с. 207–208).

Монография Р. Ричардса – результат серьезного, кропотливого исследования. Автор, несомненно, достиг поставленных целей, максимально используя заложенные в предложенной им методике возможности. Данная работа представляет собой существенный вклад в палеославистику, причем не только благодаря тщательному анализу привлеченного материала, но и как апробация определенной оригинальной методики исследования. Книга привлечет внимание как исследователей исторической диалектологии славянских языков, так и значительно более широкий круг лингвистов, в частности, занимающихся языковыми контактами.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бернштейн 1961 – С.Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
- Иванов 1982 – Вяч. Вс. Иванов. Диалектные членения славянской языковой общности и единство славянского языкового мира (в связи с проблемой этнического самознания) // Развитие этнического самознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
- Трубачев 2002 – О.Н. Трубачев. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. Изд. 2-е, доп. М., 2002.
- Хелимский 1988 – Е.А. Хелимский. Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции славянского языка Паннонии // Славянское языкознание. X МСС. Доклады советской делегации. М., 1988.

М.Б. Попов

Как следует уже из названия, книга немецкой исследовательницы Йоханны Маттиссен (основанная на ее диссертации, защищенной в 2001 г. в Кёльне) посвящена, с одной стороны, исследованию основных особенностей морфосинтаксиса нивхского языка, а с другой – типологической интерпретации рассматриваемых явлений, в особенности в свете проблем инкорпорации и полисинтетизма. Выводы автора строятся не только на основе существующих описаний нивхского языка, но и с учетом материалов собственной полевой работы, а в типологической части представлена достаточно широкая выборка структурно и генетически разнородных языков.

Глава 1 (“Введение”) содержит краткие сведения социолингвистического характера, а также необходимый минимум данных по словоизменительной и словообразовательной морфологии и синтаксису нивхского языка. Более подробно описывается структура словоформы, поскольку этот аспект очень важен для одного из главных вопросов исследования – определения морфологического статуса (wordhood) комплексов, включающих более одного корня.

Глава 2 (“Фонология и морфонология нивхского языка”) посвящена подробному рассмотрению фонологической системы нивхского языка и особенно его морфонологии. Описываются соответствия между грамматическим классом лексемы и признаками начальной фонемы основы, а также действующие в нивхском языке морфонологические процессы: оглушение фрикативных, потеря конечного носового в амурском диалекте и чередования начальных согласных (последние особенно подробно). В нивхском языке чередования начальных согласных могут определяться, с одной стороны, характером непосредственно предшествующего звука, а с другой – синтаксическим контекстом, т.е. характером отношений, в которых находятся словоформа-мишень (target) и предшествующая ей словоформа-триггер (trigger; терминология заимствована из [Ball, Müller 1992]). Все эти условия подробно описаны в данной главе.

Одной из центральных в книге является глава 3 (“Вершинно-зависимый синтетизм и статус слова в нивхском”), посвященная ответу на вопрос о морфологическом статусе тех языковых единиц, в составе которых происходят описанные ранее морфонологические явления. Автор книги предлагает считать, что эти единицы – обобщенно называемые им “комплексами” – и являются в нивхском языке

же словами, а принятая в письменной форме языка (а также во многих существующих описаниях) практика разделять их компоненты пробелами не соответствует языковой действительности. Начинается глава с изложения аргументов, использованных в дискуссии между В.З. Панфиловым и Е.А. Крейнвичем в 1950–1960-е гг. Затем рассматривается статус указанных комплексов как фонологических слов. Это делается во избежание порочного круга в дальнейших рассуждениях о принадлежности нивхского языка к полисинтетическому морфологическому типу: статус языка как полисинтетического предполагает существование сложных элементов (“слов”), реальность которых требует отдельного, неморфологического доказательства (с. 70). Рассмотрев фонотактические, морфонологические и просодические (постановка ударения) характеристики “комплексов”, автор приходит к выводу, что они обладают достаточной связностью, чтобы претендовать на статус особых фонологических единиц. Для этого привлекаются и типологические данные – рассматриваются феномены, называемые обычно “сандхи” или “[начальные] консонантные чередования / мутации” во французском, английском, валлийском и некоторых других языках. По мнению автора, нивхские чередования нельзя отнести ни к тому, ни к другому типу (при обсуждении этой проблемы справедливо отмечается определенная расплывчатость в использовании термина “сандхи” в существующих исследованиях).

Следующий раздел этой важной главы посвящен статусу “комплексов” как морфологических слов. Автор показывает, что образованные ad hoc (т.е. в речи) комплексы и лексикализованные (т.е. принадлежащие словарю) сложные слова не обнаруживают никаких существенных формальных различий. В частности, указывается на то, что возможность раздельного морфологического оформления элементов комплексов (например, показатели числа) не является бесспорным аргументом против того, чтобы считать эти комплексы едиными словами. В дополнение к типологическим параллелям автор указывает, что набор категорий, которые могут появляться внутри комплекса, ограничен, т.е. существуют категории (падеж, наклонение, фокус и нефинитность), которые однозначно указывают на (правую) границу комплекса. Синтаксически комплексы также ведут себя как цельные единицы. Рассмотрев отдельно вопрос о психологической реальности таких “слов”,

автор приходит к выводу, что данные нивхского языка никак не противоречат гипотезе о том, что комплексы являются словами – и тем самым фактически возвращается к давней гипотезе Г.М. Корсакова [1939]. Таким образом, нивхский следует признать языком, для которого характерна (рекурсивная) инкорпорация зависимого в вершину (или вершинно-зависимый синтетизм, если пользоваться авторским термином, о котором подробнее см. ниже, при обсуждении главы 5). Левая граница получившегося “слова” определяется запретом на чередования согласных<sup>1</sup>, а правая – позициями, занимаемыми суффиксами падежа, наклонения, фокуса и деепричастий. Словесный статус этих комплексов не делает их, впрочем, отдельными лексемами, т.е. единицами словаря (хотя некоторые из них и могут стать таковыми): по замечанию автора, нивхские комплексы-слова функционально во многом близки синтаксическим группам (phrases) в более “аналитических” языках.

В главе 4 (“Нивхские глагольно-именные комплексы”) более подробно рассматриваются нивхские комплексы, состоящие из глагола и зависимых имен. Глагол при этом, естественно, является синтаксической вершиной и занимает самую правую позицию в комплексе (не считая словоизменятельных аффиксов), поскольку главным принципом построения комплексов в нивхском языке является образование синтетической единицы в направлении от зависимого к вершине. В главе обсуждается разработанная автором классификация нивхских глагольных лексем и описывается морфонологическое поведение глаголов различных классов. Затем автор переходит к рассмотрению синтаксических валентностных свойств глагольных классов, в особенности обращая внимание на битранзитивные глаголы. Дело в том, что, за исключением одного класса, нивхские, непереходные глаголы не способны к инкорпорации аргумента, тогда как переходные свободно формируют такой комплекс со своими прямыми дополнениями. В битранзитивных же глаголах инкорпорации подвергаются не те аргументы, которые обычно выражаются прямыми дополнениями (например, пациенс), а аргументы с бенефактивной, целевой и рядом других ролей. Автор вводит “принцип [инкорпорации] первичного

объекта” (терминология заимствована из работы [Dryer 1986]), что позволяет объяснить кажущиеся нерегулярности в инкорпорации при наличии в падежной рамке “прямого объекта”. Рассматриваются также комплексы, где инкорпорированный именной элемент присоединяет показатели некоторых грамматических категорий (числовые и скалярные операторы, а также реляционные морфемы) – кроме тех, конечно, которые определяют правую границу нивхского слова (падеж и фокус). Отдельно рассматриваются случаи отсутствия инкорпорации аргумента в глагол: сочинительные, фокусные и другие конструкции. Показано, что эти данные не противоречат ранее выдвинутой гипотезам, так как расщепление глагольно-именного комплекса происходит лишь в строго определенных грамматических и/или прагматических контекстах.

В главе 5 (“Существует ли в нивхском языке именная инкорпорация?”) нивхские глагольно-именные комплексы, которым посвящена предыдущая глава, рассматриваются с типологической точки зрения. Автор начинает с краткого анализа существующих подходов к инкорпорации (и смежным явлениям) и выделяет следующие свойства инкорпорации:

- Инкорпорируемый участник может быть пациенсом, инструментом, локативным аргументом, копредикатом либо субъектом с неагентивной ролью.
- Инкорпорируемое имя не является синтаксическим аргументом глагола.
- В грамматическом отношении инкорпорация понижает переходность глагола, повышает статус периферийного аргумента либо используется как показатель лексического класса актанта.
- Инкорпорируемое имя по типу референции является генерическим либо неопределенным и не является “референциально активным” (т.е. не может подвергаться анафорической замене).
- В дискурсивном отношении инкорпорация используется для обозначения фонových событий или нефокусных участников ситуации.

Сравнив этот список со свойствами, проявляемыми нивхскими глагольно-именными комплексами, автор констатирует, что, несмотря на существование определенных параллелей, говорить о классической инкорпорации в нивхском языке нельзя. Нивхские глагольно-именные комплексы не только не обладают многими из указанных свойств (например, не используются для повышения синтаксического статуса периферийных ар-

<sup>1</sup> Обратное неверно: такой запрет встречается и внутри комплекса – впрочем, в книге достаточно убедительно показано, что это не противоречит признанию комплексов словами.



гументов), но и демонстрируют поведение, прямо противоречащее существующим теоретическим представлениям об инкорпорации (например, имена в составе комплексов могут принимать показатель числа). Автор полагает, что вместо инкорпорации следует говорить о частном проявлении принципа вершинно-зависимого синтетизма (dependent-head synthesis), который является организующим в системе нивхского языка. Следующие две главы посвящены другим конструкциям, которые образуются в соответствии с данным принципом.

Глава 6 (“Нивхские глагольные комплексы”) посвящена рассмотрению не очень подробно описанных в литературе по нивхскому языку комплексов из двух и более глагольных корней. Автор отмечает, что при соположении глагольных корней в нивхском языке используется не только “сериализация”<sup>2</sup>, но и деепричастные конструкции, сосредотачиваясь, впрочем, только на первом классе случаев. Рассмотрев и отвергнув концепцию В.З. Панфилова [1965: 134–135], согласно которой то, что Й. Маттиссен считает глагольным корнем в составе синтетического комплекса, описывается как “неоформленное причастие”, автор переходит к свободно образующимся в речи глагольным комплексам. С помощью синтетических комплексов из двух глагольных корней в нивхском языке может выражаться значение постоянного свойства, тогда как при описании конкретных, или актуальных, ситуаций используются аналитические наречные конструкции (так, во фразе *Эта собака бежит быстро* используется глагольный комплекс, в то время как для перевода фразы *Теперь-то мы живем хорошо* используется описательная конструкция с деепричастием). В целом глагольные комплексы встречаются в нивхском реже, чем глагольно-именные, и проявляют более сильную тенденцию к идиоматизации – в частности, грамматикализация именно таких конструкций, как полагает автор, и привела к появлению аффиксов, выражающих различные модальные значения.

Глава 7 (“Является ли нивхский язык полисинтетическим?”) также является типологической. Автор отмечает, что широкое распространение глагольно-именных синтетических комплексов и включение наречных и

модальных основ в глагольную словоформу характерно для языков, называемых обычно полисинтетическими. Автор вновь начинает с краткого обзора существующих теоретических концепций полисинтетизма и выделяет ряд общих свойств, приписываемых полисинтетическим языкам: сложные глагольные словоформы с большим количеством аффиксов, полиперсональность, включение наречных элементов в глагольную словоформу, большое количество связанных морфем, а также, возможно, и именная инкорпорация. Затем рассматривается то, насколько нивхский язык отвечает этим критериям. В целом, по мнению автора, он вполне удовлетворяет обсуждаемым в литературе признакам, хотя в нем и отсутствует, к примеру, такая черта, как полиперсональность. С другой стороны, для нивхского языка характерны синтетические комплексы из глагольной словоформы и наречия, а также именных элементов (отмеченный выше вершинно-зависимый синтетизм). Однако в конце концов автор приходит к выводу, что нивхский не обязательно считать именно полисинтетическим языком. Отмечая преимущественную ориентацию исследователей при определении понятия полисинтетизма на языковые характеристики глагольной словоформы, Й. Маттиссен указывает, что сходные свойства проявляются и в нивхских комплексах с именной синтаксической вершиной. Это, по ее мнению, является доказательством того, что “полисинтетические” черты нивхского морфосинтаксиса являются частным проявлением некоторого более общего принципа.

Глава 8 (“Нивхский именной комплекс”) посвящена более подробному рассмотрению комплексов с именной вершиной. Начинается глава с краткого рассмотрения различия между нивхскими аппозитивными конструкциями (типа *п̄и эсх* ‘я, старик’) и именными комплексами (типа *й-эсх* ‘мой старик’), и еще раз обосновывается словесный статус последних. Затем автор последовательно рассматривает включение в именную словоформу указательных местоимений, притяжательных местоимений и существительных, выражающих possessора, и др. Как и в глагольно-именных комплексах, включенные имена могут принимать показатели числа и скалярные операторы, но не показатели падежа и фокуса.

Впрочем, гораздо чаще, чем имена, в подобные комплексы в качестве зависимых элементов входят глаголы: это единственная возможная в нивхском языке атрибутивная конструкция. Хотя в большинстве случаев глагольные морфемы в составе комплекса принимают еще и показатель *-la-*, который

<sup>2</sup> Под этим термином понимается (как кажется, не вполне традиционно) конкатенация двух морфем в одной словоформе, а не сочетание двух самостоятельных словоформ.

можно было бы считать показателем атрибутивности, автор доказывает, что в действительности единственным показателем атрибутивной связи является именно морфологическое включение глагола в состав имени. Формирование подобных именных комплексов полностью продуктивно, как и в случае с комплексами, имеющими глагольную вершину. В последних, как уже было сказано, показатели падежа и фокуса у включенных имен выполняют особую функцию, указывая на правую границу словоформы и, как следствие, такие показатели не могут появляться внутри комплекса. В именных комплексах аналогичную функцию для включенных глаголов выполняют показатели наклонения, деепричастия и опять же фокуса. Все прочие показатели внутри комплекса допустимы.

В данной главе также рассматриваются примеры того, как именные комплексы используются для выражения различных отношений между глаголом и включенным аргументом, как комплексы различных типов рекурсивно “вкладываются” друг в друга и каким может быть набор синтаксических ролей у именных комплексов. Заканчивается глава сведениями об ограничениях на образование именного комплекса. Эти ограничения достаточно стандартны: зависимое не может включаться в комплекс, если оно не предшествует вершине непосредственно; не могут включаться в комплекс и последние составляющие сочиненных групп (то же верно и для глагольных комплексов).

Глава 9 (“Сложные именные формы в языках мира”) также имеет отчетливо типологический характер, что обусловлено логикой изложения. Если рассмотрение нивхских словоформ, построенных на базе глагольного корня, завершилось обзором явлений, связанных со сложными глагольными словоформами в целом (инкорпорация, полисинтетизм), то аналогичное исследование необходимо и для именных комплексов. Автор выделяет следующие возможные типы сложных (точнее, морфологически неэлементарных) именных словоформ:

- Именные словоформы, где сложность создается за счет большого числа некорневых (т.е. аффиксальных) морфем, часто с весьма конкретным значением (как, например, в гренландском); в книге дается подробный содержательный обзор таких языков и семантических полей, значения из которых могут выражаться подобным образом.
- Именные словоформы, состоящие из нескольких соединенных в одно морфоло-

гическое целое корней (это явление характерно, например, для чукотского, кетского, санскрита, немецкого); дается подробный обзор свойств языков с корнесложением.

Автор, в частности, отмечает, что наличие словоизменятельных грамматических показателей внутри сложных именных словоформ не является уникальным для нивхского языка явлением (ср. нем. композиты типа *Kindersit* ‘детское сиденье [в транспорте], с суффиксом множ. числа при основе *Kind* ‘ребенок’). Таким образом, все отмеченные особенности нивхского морфосинтаксиса находят типологические параллели в языках мира, что и приводит автора к необходимости построения типологии сложной словоформы: если для глагольной словоформы существует достаточно разработанный теоретический аппарат, то в области именных словоформ сделано гораздо меньше, не говоря уже об общей типологии таких явлений. Решению этой задачи посвящена последняя глава.

Глава 10 (“Типологический обзор”), таким образом, развивает идеи предыдущей главы. Вначале автор формулирует принцип вершинно-зависимого синтетизма в нивхском языке: образование синтетического комплекса происходит тогда и только тогда, когда два элемента следуют непосредственно друг за другом, причем левый является зависимым по отношению к правому. При этом на стыке двух элементов происходят особые морфонологические чередования. Синтетический комплекс не образуется, если два смежных элемента не находятся в соответствующем синтаксическом отношении или если зависимое и вершина не примыкают друг к другу в указанном выше порядке. Таким образом, нивхский язык является вершинно-маркирующим в смысле [Nichols 1986] (более того, как показывает автор, нивхское вершинное маркирование полностью соответствует предложенной Дж. Николс иерархии конструкций по склонности к вершинному маркированию).

Далее автор приступает к формированию типологии “полисинтетизма”. Предлагаемая Й. Маттиссен классификация строится по двум основаниям. С одной стороны, противопоставляются “аффиксальный” и “композиционный” полисинтетизм (а также два смешанных типа). Для аффиксального полисинтетизма характерна высокая сложность словоформы за счет большого количества аффиксальных морфем в ее составе, однако список морфем является при этом закрытым. Для композиционного полисинтетизма характерна возможность включения в словоформу большого количества

лексических элементов, и тем самым, список включаемых элементов оказывается открытым (этот параметр формализуется как допустимость более одного корня в составе глагольной словоформы). Другими проявлениями композиционного полисинтетизма считаются инкорпорация имени и конкатенация глагольных корней внутри словоформы. Для смешанных типов характерно отсутствие какого-либо из двух последних свойств.

Второе основание классификации образуется противопоставление двух типов формальной организации словоформы: "порядковой" (templatic), при которой для каждого класса морфем определена позиция в словоформе, и "основанной на сфере действия" (score-ordered), когда порядок морфем определяется факторами семантики, сферы действия той или иной морфемы и их взаимной совместимости.

Завершается книга сопоставлением традиционных понятий полисинтетизма и инкорпорации с введенным в настоящей работе понятием вершинно-зависимого синтетизма. Показано, что в отличие от инкорпорации, зависимое имя в составе синтетического комплекса референциально активно и является синтаксическим аргументом глагола, отличие же вершинно-зависимого синтетизма от полисинтетизма заключается в том, что вершинно-зависимый синтетизм является универсальным структурным принципом с единообразными проявлениями, в то время как признаки полисинтетизма в разных языках оказываются весьма разнородными. Вопрос же о соотношении вершинно-зависимого синтетизма и полисинтетизма как родового и видового понятий требует, по мнению автора, дальнейшего исследования.

Книга содержит также приложение, где приведены акустические данные, на которые ссылается автор, и обширную библиографию по нивхскому языку и фольклору.

Оценивая книгу в целом, следует признать, что автором получены весьма важные результаты. Помимо полного и оригинального описания собственно нивхского морфосинтаксиса, большой интерес представляют и теоретико-типологические достижения автора. Формулировка принципа вершинно-зависимого синтетизма представляется важным шагом на пути построения универсальной типологии словосложения. Очень ценно рассмотрение существующих теоретических представлений о таких явлениях, как инкорпорация и полисинтетизм, поскольку, как убедительно показано в книге, они не отличаются единообразием, а зачастую и операциональностью, т.е. вряд ли могут быть использованы для эф-

фективного определения принадлежности произвольного языка к числу полисинтетических.

Однако к работе Й. Маттиссен все же можно сделать и ряд замечаний. Несмотря на пронищательную критику существующих теоретических представлений, сам автор не присоединяется к какой бы то ни было эксплицитно сформулированной теории. Работа, без сомнения, выполнена в функционалистской парадигме, однако большего о ее теоретических предпосылках сказать, видимо, нельзя. Это, конечно, является в некотором роде преимуществом, поскольку избавляет читателя (в особенности типолога) от необходимости разбираться в тонкостях "внутритеоретических" вопросов. Однако известная расплывчатость теоретической базы мешает признать ценность некоторых выводов автора. В частности, не до конца понятно теоретическое содержание и самого понятия "слово", которое является ключевым для всей книги. В соответствующей главе приводятся представления, из которых исходит автор, о фонологическом, фонетическом и морфологическом слове, однако понятие "слово вообще" нигде не эксплицируется. Если особый статус нивхских комплексов автором показан более чем убедительно, то настойчивое желание назвать их "словами" выглядит несколько менее мотивировано. Остается неочевидной теоретическая ценность присвоения нивхским комплексам именно этого ярлыка – для сравнения нивхского с другими полисинтетическими (и не только) языками такое терминологическое решение, как кажется, дает немного.

Хотя книга и не является специально фонологическим исследованием, хотелось бы обратить внимание на ряд неточностей в описании системы нивхских чередований. Так, на с. 45 делается утверждение, будто друг с другом чередуются только гоморгантные звуки. Однако на предыдущей странице приведена таблица, из которой следует, что палатальные взрывные чередуются с [s] и [z]. Нигде, однако, не сказано, что два последних звука имеют палатальную артикуляцию (кажется, не следует этого и из акустических данных, содержащихся в приложении).

На с. 102 автор утверждает, будто разница между чередованиями в валлийском и матумби (банту), с одной стороны, и в нивхском – с другой, заключается в том, что в первых двух языках чередования вызываются только синтаксическим контекстом, а в нивхском, помимо синтаксического, должно присутствовать и соответствующее фонологическое окружение. Представляется, что это утверждение трудно совместить, например, с тем фактом,

что у определенного класса глаголов префикс 3 л. ед. ч. претерпевающего никак не выражен поверхностно, но "имплицитно присутствует" (с. 125) и вызывает соответствующее чередование в глаголе. Такое положение дел, видимо, указывает на начинающуюся грамматикализацию чередований в нивхском по модели валлийского, когда фонологическая обусловленность начинает исчезать, уступая роль триггера синтаксическому контексту.

К сожалению, в книге немало опечаток, в том числе и в примерах (например, итал. \**sta arrivato* вместо *sta arrivando* на с. 93). Остается надеяться, что в нивхских примерах их удалось избежать.

Наконец, необходимо сказать несколько слов о предлагаемой автором типологии полисинтетизма. Можно заметить, что Й. Маттиссен исходит прежде всего из набора морфем, которые возможны в словоформе, и принципов их линейного расположения, однако игнорирует условия, при которых инкорпорация невозможна, возможна или обязательна. Например, на с. 255 автор упоминает об ограничении на инкорпорацию абсолютивных ИГ в чукотском языке, однако делает это лишь вскользь. Нам, однако, представляется, что решение игнорировать подобные факторы при составлении типологии способов морфологической организации словоформы как минимум нуждается в обосновании: неочевидно, что внутренняя структура сложной словоформы никак не зависит ни от отношений, выражаемых с помощью словосложения, ни от обязательности их выражения. Так, в нивхском образовании синтетического комплекса возможно для любой пары зависимого и вершины при условии линейной препозиции зависимого, а, к примеру, в некоторых северных шведских диалектах (Эстерботтен) прилагательные образуют синтетический комплекс только с вершиной, при которой есть показат

ель определенности (причем такое словосложение в этом случае обязательно, см. [Sandström; Holmberg 2003]). Представляется желательным, чтобы подобные ограничения на образование сложных словоформ также нашли отражение в предлагаемой типологии.

В целом, однако, следует признать, что работа Йоханны Маттиссен представляет большую ценность как в плане описания системы нивхского языка, так и в теоретическом и типологическом аспекте. Автору удалось сделать ряд важных обобщений относительно некоторых не вполне удовлетворительно определенных лингвистических понятий, а намеченный путь решения поставленных проблем может быть весьма перспективным.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Корсаков 1939 – Г.М. Корсаков. Инкорпорирование в палеоазиатских и северо-американских индейских языках // Советский север. 1939. № 4.
- Панфилов 1965 – В.З. Панфилов. Грамматика нивхского языка. Ч. 2. М.; Л., 1965.
- Ball, Müller 1992 – M.J. Ball, N. Müller. Mutation in Welsh. London, 1992.
- Dryer 1986 – M.S. Dryer. Primary objects, secondary objects, and antipassive. *Language* 62: 4. 1986.
- Nichols 1986 – J. Nichols. Head-marking and dependent-marking grammar. *Language* 62: 1. 1986.
- Sandström, Holmberg 2003 – G. Sandström, A. Holmberg. Ett polysyntetiskt drag i nordsvenska // Ø.A. Vangsnes, A. Holmberg, L.-O. Delsing (red.). *Dialektsyntaktiska studier av den nordiska nominalfrasen*. Oslo, 2003.

П.В. Иосад

**Structures of focus and grammatical relations** / Ed. by J. Hetland and V. Molnár. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2003. viii + 260 p. (Linguistische Arbeiten, 477).

Рецензируемая коллективная монография посвящена одной из наиболее популярных в последнее десятилетие областей теоретической лингвистики – способам кодирования информационной структуры предложения, в частности, взаимодействию информационной и синтаксической структур, а также связям информационной структуры с интонацией. В последнее время проблемы этого круга постоянно обсуждаются как в среде формальных лингвистов, так и с функциональных позиций. Вместе с тем, несмотря на появление целого

ряда интересных идей, ни одной из соперничающих научных парадигм пока не удалось ни совершить серьезный прорыв в создании теории, которая позволила бы понять связь информационной структуры с синтаксической структурой предложения, ни хотя бы унифицировать набор используемых терминов.

Статьи, включенные в монографию, написаны с различных теоретических позиций. Задача унификации используемых теоретических концепций и терминологических систем, очевидно, редакторами не ставилась. Объеди-

няет авторов географическая близость (все они представляют университеты Германии, Дании, Норвегии и Швеции), а также языковой материал: все статьи в основном посвящены анализу германских (преимущественно скандинавских) и финно-угорских языков (финского и венгерского).

Две, пожалуй, наиболее интересные статьи в сборнике посвящены формально-синтаксическому анализу “левой периферии” предложений в финском и венгерском языках.

Финский и венгерский – языки с так называемым свободным порядком слов. Такие языки создают особые сложности для формального синтаксического анализа. Выясняется, однако, что в большом числе случаев порядок слов в таких языках не является произвольным, но определяется набором дискурсивных факторов (прежде всего как раз информационной структурой предложения). Э. Киш [Kiss 1987] предложила считать, что такие языки обладают особым типом конфигурационности, который чуть позднее был назван “дискурсивной конфигурационностью” [Vilkuna 1989; 1995]. Формальный синтаксический анализ в таких языках требует введения в базовую схему предложения различных типов групп с определенными дискурсивными функциями (например, группа топики, группа фокуса и т.п.), как это было предложено еще в известной работе Л. Рицци [Rizzi 1997].

Такие общие схемы требуют проверки и, возможно, адаптации к конкретным языкам. Подобная задача решается в статье В. Мольнар и М. Ярвентаусти “Дискурсивная конфигурационность в финском и венгерском”.

Для венгерского языка предлагается анализ с тремя функциональными проекциями на левой периферии предложения<sup>1</sup>:

$\text{TopP} < \text{UQ} < \text{FocP}$ .

Неожиданным образом, именная группа с универсальным квантификатором – даже если семантически она является фокусом предложения – не может занимать соответствующую структурную позицию, ср. Péter [All-Quantor mind-en könyvet] [Foc Évától] kert kölcsön. ‘Петер все книги позаимствовал У ЭВЫ’. ~ \*Péter Évától [Foc All-Quantor minden könyvet] kert kölcsön. ‘Петер позаимствовал у Эвы ВСЕ КНИГИ’.

Для финского языка понадобилось ввести специальную позицию для контрастивно вы-

деленных групп, которая, однако, заполняется факультативно и необходима только в тех предложениях, где не проецируется группа фокуса. Левая периферия предложения для финского языка выглядит следующим образом:

$\text{CP} < \text{KP} < \text{TopP}$   
 $\text{CP} < < \text{TopP} < \text{FocP}$ .

Для обоих языков авторы дают признаковый анализ семантики групп, способных занимать каждую из выделенных в работе структурных позиций. Выясняется, что даже в таких типичных дискурсивно конфигурационных языках, как венгерский и финский, связь информационной и синтаксической структуры не является прямой: на выбор позиции группы в синтаксической структуре предложения влияют не только дискурсивные, но и чисто семантические факторы. Наблюдается ряд расхождений между структурной позицией и коммуникативной функцией различных групп.

С тех же теоретических позиций М. Ярвентауста в статье “Являются ли финские нулевые подлежащие нулевыми топиками?” исследует вопрос о дискурсивном статусе так называемых “нулевых подлежащих” в финском языке.

Современный финский литературный язык – по крайней мере частично – относится к так называемым языкам с нулевым подлежащим (pro-drop languages). В нем регулярно опускаются подлежащие, выраженные первым или вторым лицом. Отметив сложности анализа поведения нулевых и ненулевых подлежащих в финском языке (в рамках генеративного подхода и теории валентностей), автор обращается к анализу финского языка как дискурсивно конфигурационного. В нейтральных декларативных предложениях финского языка соблюдается порядок  $\text{T} < \text{V} < \text{X}$ , где  $\text{T}$  – топик предложения,  $\text{V}$  – финитный глагол,  $\text{X}$  – любое дополнение глагола. В так называемых контрастивных предложениях (см. выше) порядок элементов  $\text{K} < (\text{T}) < (\text{X}) < (\text{V}) < (\text{X})$ . Структура таких предложений используется для восстановления линейной позиции и дискурсивных функций нулевых подлежащих. В таких предложениях обязательно присутствует контрастивное ударение на группе, стоящей слева от топика:

[<sub>K</sub>MINÄ] [<sub>T</sub> kirjan] luin. ‘Это Я читал книгу’ ~ [<sub>K</sub>KIRJAN] [<sub>T</sub> minä] luin. ‘Это КНИГУ я читал’.

<sup>1</sup> Здесь и далее: TopP – группа топики, FocP – группа фокуса, UQ – группа универсального квантификатора, CP – традиционная “максимальная проекция” предложения, KP – контрастивно выделенная группа.

Annale annoin kukkia

Анна-ADEL дал-1SG цветы-PART

- a. ANNALE annoin KUKKIA 'Анне / я подарил цветы \'
- b. ANNALE annoin kukkia 'Я подарил цветы (именно) АННЕ'.
- c. \*Annale annoin KUKKIA.
- d. ANNALE mina annoin kukkia / KUKKIA (= a/b).
- e. \*Minä ANNALE annoin kukkia / KUKKIA.
- f. \*ANNALE annoin mina kukkia / KUKKIA.
- g. \*ANNALE annoin kukkia / KUKKIA minä.

Это позволяет считать, что в предложениях с контрастом опущенный субъект стоит в позиции топики (<sub>К</sub> ANNALE] [<sub>Т</sub> Ø] annoin KUKKIA), а также постулировать аналогичное заполнение позиции топики в нейтральных предложениях. Топик в финском языке выступает как структурная позиция, прагматическая функция которой не всегда однозначна: в частности, она заполняется и в "тетических" предложениях, целиком состоящих из ремы (фокуса, в терминах К. Ламбрехта [Lambrecht 1994]): так, предложение [<sub>Т</sub> Ø] annoin Annale KUKKIA 'Я подарил Анне цветы' может быть ответом как на вопрос "Что случилось?" (тетическая интерпретация), так и на вопрос "Что ты подарил Анне?" (топик – "я").

В статье Й. Хетланд "Контраст, нисходяще-восходящее ударение и информационный фокус" исследуются некоторые аспекты связи информационной структуры с интонацией предложения, в основном на материале английского и немецкого языков (используются также данные корейского, венгерского и финского языков). Внимание автора привлекли немецкие предложения со сложной фразовой интонацией. Выясняется, что такая интонация характерна для предложений с контрастным топиком (ср. Die √ WEIBlichen Popstars trugen \KAftane.). Соответствующая информационная структура отмечается сходной интонацией и в английском: 'What was the °meal \like? – The °soup | was \terrible'. Автор считает, что нисходяще-восходящее ударение в обоих языках сигнализирует о наличии контраста – выбора из конечного и известного обоим коммуникантам множества альтернатив. В английской разговорной речи такой тип ударения может специально использоваться говорящим с целью создания "эффекта контраста" – впечатления о наличии множества возможных альтернатив даже в тех случаях, когда это не следует из контекста (ср. They elected \Alice | \president. – They elected \Alice | \president.). Сходный акцент (fall-rise), контрастно выделяющий соответствующий элемент предложения, автор выделяет также в корейском и венгерском языках (но не в фин-

ском, где контрастивно выделенные группы факультативно помещаются в специальную синтаксическую позицию и несут при этом нисходящее ударение).

Несмотря на типологические сходства контрастивно выделенных элементов в ряде языков, Й. Хетланд не считает необходимым выделять универсальную категорию контрастного фокуса (operator focus, contrastive focus, identificational focus). Возможно, более перспективным является рассмотрение универсальной категории и соответствующей синтаксической позиции "информационного фокуса" (information focus), который, по видимому, маркируется во всех языках, причем в большинстве случаев такое маркирование включает использование специальных акцентных средств.

Наряду с интонацией, одним из наиболее распространенных способов выражения информационной структуры предложения является порядок слов. Статья Л. Хельтофта "Иконические и категориальные системы выражения фокуса в скандинавских языках" представляет собой сравнительный анализ использования порядка слов в стратегиях кодирования информационной структуры предложения в современном датском и в древних скандинавских языках. В качестве формального аппарата описания используется традиционный для датского языкознания аппарат линейных "моделей предложения" (sentence frames), демонстрирующий порядок расположения основных элементов предложения (но не иерархические отношения между ними).

Для датского, как и для большинства германских языков, характерна особая линейная позиция финитного глагола независимого предложения – непосредственно после первой фразовой категории. Порядок слов сравнительно жесткий, и выражение фундаментальных коммуникативных категорий четко связывается с определенными структурными позициями в предложении: так, функция групп, занимающих первую позицию (P<sub>1</sub>), традиционно описывается как тема (или топик), которая может быть как обычной, так и контрастной.

С другой стороны, тематическим, как правило, является подлежащее, которое либо занимает позицию  $P_1$ , либо стоит сразу за финитным глаголом. Фокус предложения в нейтральном случае располагается в пределах глагольной группы, однако может также занимать позицию  $P_1$ . Фокус предложения лишь в редких случаях включает подлежащее, при этом используются специализированные синтаксические средства – либо “тетические” предложения с порядком слов XVS и эксплетивным местоимением в позиции  $P_1$ , либо бипредикативные структуры (“клефт”).

В древнедатском, напротив, наблюдалось сравнительно жесткое расположение элементов информационной структуры: предложение начиналось с темы, его фокус помещался непосредственно справа за отрицанием, а все группы слева от отрицания исключались из сферы действия отрицательного оператора. Подлежащее не обязательно (хотя статистически часто) являлось тематическим и легко (путем изменения порядка слов) помещалось в состав ремы.

Остальные три статьи сборника лишь косвенным образом затрагивают проблемы кодирования информационной структуры. Так, работа Й. Барздал “Связь морфологического падежа с синтаксической функцией и тематическими ролями в исландском языке: статистический анализ” представляет собой, как свидетельствует ее название, в основном анализ частотных характеристик употребления исландских падежных показателей.

В исландском языке нет одно-однозначного соответствия между синтаксической ролью именной группы и ее морфологическим падежом: например, ИГ в аккузативе может быть не только прямым дополнением, но и косвенным дополнением и даже подлежащим. В то же время каждой синтаксической роли соответствует несколько падежей; например, подлежащее может выражаться любым падежом из четырехчленного набора (номинатив, аккузатив, датив, генитив). В еще меньшей степени может быть установлено одно-однозначное соответствие между морфологическими падежами и “тематическими” (семантическими) ролями.

В статье Й. Барздал на основе анализа небольшого корпуса текстов, подготовленного и размеченного самим автором (40 тыс. слов, в том числе 15 тыс. слов в корпусе устной речи), был проведен анализ частоты употребления (i) каждого морфологического падежа в каждой из синтаксических функций и (ii) каждого морфологического падежа в каждой из тематических ролей (список синтаксических функ-

ций и тематических ролей, вполне традиционный, был составлен автором заранее).

Наряду с тривиальными результатами (например, “подлежащее чаще всего выражается номинативом”; “генитив чаще всего выступает в функции атрибута”), было получено некоторое количество более интересных обобщений. В частности, выяснилось, что дативные подлежащие гораздо более частотны в устном дискурсе, что может быть связано с особенностями ролевой семантики таких подлежащих. Номинатив, вопреки ожиданиям, наиболее часто используется в роли, которую автор называет *station* (объект, локализуемый во времени или пространстве).

По мнению автора, результаты ее статистического анализа ставят под сомнение принятое в генеративной грамматике противопоставление лексического (словарного) и структурного падежа. Например, аккузатив является структурным падежом и кодирует прямое дополнение. Любой другой падеж (в том числе датив) в такой позиции должен рассматриваться как словарный, следовательно, нерегулярный и тем самым очень редкий падеж. Однако в корпусе Й. Барздал очень большая часть всех прямых дополнений – более четверти – кодируется дативным падежом. Отсутствие противопоставления лексического и структурного падежей подтверждается и данными по исландской детской речи: число ошибок в употреблении падежа приблизительно одинаково для “лексических” и “структурных” падежей, причем равновероятны ошибки в обе стороны (лексический падеж вместо структурного и структурный вместо лексического).

Две последние статьи в сборнике, сходные по тематике и использующие одинаковый теоретический аппарат, посвящены сравнительному анализу пассивных конструкций. Это работы Б. Ланден и В. Мольнар “Пассив как аспект деятельности. О связи аспектуальности и пассива: сравнительное исследование немецкого и шведского языков” и Й. Барздал и В. Мольнар “Пассив в исландском языке на фоне континентальных скандинавских языков”.

Термин “аспект деятельности” (*activity aspect*) в названии работы Ланден и Мольнар как будто бы позволяет ожидать, что авторы придерживаются нетрадиционного взгляда на пассивный залог, связывая его каким-то образом с семантическим типом ситуации. В действительности, однако, схема разновидностей пассива, предложенная авторами и используемая также в совместной статье Мольнар и Барздал, представляет собой новую комбинацию уже вполне общепринятых представлений о пассиве. В частности, отмечается, что упо-

требление пассивного залога может вызываться как необходимостью смены диатезы, так и необходимостью изменить аспектуальную характеристику ситуации. В обеих статьях рассматриваются три вида пассивов: результирующий / стативный (англ. *The door was shut* 'Дверь была закрыта') ~ процессуальный (нем. *Die Tür wird geschlossen* 'Дверь [сейчас] закрывается [кем-то]') ~ акциональный (финск. *Auto oste-taan* 'Машину [сейчас] покупают [пасс.]'). Все эти три разновидности пассива, по мнению авторов, семантически находятся между активными и инактивными употреблениями активного залога, что и дает основания для того определения пассива, которое использовано в заглавии статьи.

В рамках предложенной схемы далее осуществляется сравнительный анализ пассивных конструкций. Хотя анализ, проделанный авторами, не вызывает особых возражений по существу (основные закономерности употребления пассива в исследуемых языках достаточно хорошо известны), не совсем ясно, каким образом предложенная схема улучшает или упрощает описание: в большинстве случаев семантика оппозиции нескольких типов пассивной конструкции не соответствуют "клеткам", задаваемым авторской схемой (так обстоит дело, например, с противопоставлением аналитического и синтетического пассива в шведском); те же оппозиции, которые соответствуют этим клеткам (как, например, оппозиция двух немецких пассивов – с вспомогательными глаголами *werden* и *sein*), столь же удачно описываются и более традиционными терминами.

**F. Wouk, M. Ross (Eds.). The history and typology of western Austronesian voice systems.** Canberra: Pacific linguistics, 2002. vi + 474 p. (Pacific linguistics, 518)

Как известно, залоговые системы западных австронезийских языков (о статусе этого объединения см. ниже) значительно отклоняются от тех представлений о залоге, что легли в основу большинства современных концепций этой глагольной категории. Можно указать по крайней мере три типа таких отличий.

(i) В указанных языках среди "партиципантов" ситуации, чей грамматический статус затрагивается данной категорией, обнаруживаются роли, обычно не причисляемые к актантным – например, место, бенефактив, инструмент. Многие западные австронезийские языки допускают маркируемое в глаголе повышение таких участников до статуса подлежащего, что естественно причислять к залоговым преобразованиям.

(ii) С предыдущей особенностью, вероятно, коррелирует то, что так называемый пас-

сивный залог (или залого; см. ниже) в языках данного типа не понижает агенса до статуса ядерного аргумента (см. подробное обсуждение этого вопроса для тагальского языка в [Kroeger 1993: 40ff]). В результате, данная система квалифицируется некоторыми исследователями (У. Фоли, М. Росс, Н. Химмельман) как симметричная – в отличие как от номинативной (где противопоставляется актив и понижающий грамматический статус агенса пассив), так и от эргативной (с ее оппозицией между обычной переходной конструкцией и понижающим статус пациенса антипассивом).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Kiss 1987 – *K.É. Kiss. Configurationality in Hungarian.* Budapest, 1987.  
 Lambrecht 1994 – *K. Lambrecht. Information structure and sentence form.* Cambridge, 1994.  
 Rizzi 1997 – *L. Rizzi. The fine structure of the left periphery* // L. Haegeman (ed.). *Elements of grammar.* Dordrecht, 1997.  
 Vilkuna 1989 – *M. Vilkuna. Free word order in Finnish. Its syntax and discourse functions.* Helsinki, 1989.  
 Vilkuna 1995 – *M. Vilkuna. Discourse configurationality in Finnish* // K.É. Kiss (ed.). *Discourse configurational languages.* Oxford; New York, 1995.

*Н.Р. Сумбатова*

сивный залог (или залого; см. ниже) в языках данного типа не понижает агенса до статуса ядерного аргумента (см. подробное обсуждение этого вопроса для тагальского языка в [Kroeger 1993: 40ff]). В результате, данная система квалифицируется некоторыми исследователями (У. Фоли, М. Росс, Н. Химмельман) как симметричная – в отличие как от номинативной (где противопоставляется актив и понижающий грамматический статус агенса пассив), так и от эргативной (с ее оппозицией между обычной переходной конструкцией и понижающим статус пациенса антипассивом).

(iii) На фоне отсутствия формальных морфологических и синтаксических свидетельств "исходности" активного залога не удивительно, что последний в некоторых других отношениях (например, частотности употребления) даже может рассматриваться как маркирован-



ный (ср. [Оглоблин 1978] о языках Явы) – в отличие, скажем, от активного залога большинства европейских языков.

Все это – вместе с известной проблематичностью выделением подлежащего во многих западных австронезийских языках – в какой-то мере объясняет то, что залог такого типа долго не признавался залогом *per se*, понимаясь как другая грамматическая категория “фокуса” (историю вопроса см., например, в [Шкарбан 1995: 103–107]). В то же время, когда факты языков Тайваня, Филиппин и (в меньшей степени) Малайзии и Индонезии привлекали внимание специалистов по залого, они порою способствовали переосмыслению основных теоретических понятий, включая, между прочим, и понятие диатезы, через которое залог обычно представляется – ср. данные филиппинского языка маранао, активно цитируемые в отечественной литературе по залогоу начиная со статьи [Мельчук, Холодович 1970].

Рецензируемый сборник занимает особое место в ряду работ, касающихся залоговых систем данного региона. Это связано, прежде всего, с его очевидной дескриптивной направленностью: четырнадцать из девятнадцати включенных сюда статей – это описания фрагментов грамматических систем конкретных языков. Отдельные статьи посвящены функционированию залогового маркирования и близких к нему грамматических средств в языках туканг-беси (М. Донохью), пендау (Ф. Кук), ратахан и лаудже (Н. Химмельман), каробатакском (К. Норвуд), бонгги (М.Е. Баутин), сасакском, сумбанском и бима (Ф. Ваук), яванском – на протяжении всей его истории (Г.Р. Пуджосудармо), сеедки (А. Холмер), си-нама (Дж. Акаmine), сама-бангинги (Дж. Гаулт), хилигайнон и йогад (В. Шниц), чаморро и палау (Э. Цобель), а также в малайских диалектах (Д. Гил). В дополнение сборник включает обсуждение реконструкции протосулавесийской системы (Д. Мид), а также обобщающие статьи по истории и типологии австронезийского залога, принадлежащие виднейшим австронезистам мира – Н. Химмельману, М. Россу, Р. Бласту и Дж. Уолффу.

Богатство приводимого материала дает плоды: обнаруживается, что стандартное представление о залого в общетипологических работах – это в лучшем случае лишь первое приближение, за которым кроется множество значимых деталей, подчас довольно сильно отличающихся друг от друга в разных языках.

Сквозной линией проходит через сборник противопоставление разных структурных типов внутри австронезийской семьи. Это, прежде всего, “филиппинский” тип (вопреки своему названию объединяющий языки не только

Филиппин, но и Тайваня и части Малайского архипелага) и “индонезийский” тип, включающий основные языки Малайзии и Западной Индонезии (ср. близкую концепцию, представленную в монографии [Алиева 1998: 183ff], где последний тип именуется малайским). Филиппинский тип – по всей видимости, более архаичный и, вероятно, присущий еще праавстронезийскому языку – среди прочего ассоциируется со сложной залоговой системой, включающей не менее трех залогов, которые, к тому же, обычно образуют единую парадигму с модально-аспектуально-темпоральными категориями. Что же касается индонезийского типа, то он ограничивается оппозицией между активным и пассивным залогом, причем последний в отдельных языках даже приобретает черты, свойственные более “прототипическим” пассивам (например, предложное оформление агенса). Другая важная черта залоговых систем индонезийского типа – наличие препозитивных клитик агенса 1 и 2 л. в пассиве – представляет, вероятно, больший интерес для историков, нежели для типологов. Надо сказать, однако, что даже в тех языках Индонезии, где пассив 3 л. понижает группу агенса до статуса явного сирконстанта, использование этих клитик в контекстах 1 и 2 л., как правило, является обязательным. В то же время, в языках последнего типа, как правило, имеются и специальные суффиксы переходности (аналоги аппликативных показателей в других языках мира), повышающие косвенные объекты и обстоятельственные именные группы до ранга ядерных актантов (на русском языке см. об этом [Алиева 1975]).

Безусловно, было бы заманчиво соотнести индонезийский и филиппинский типы с более общими принципами устройства в контексте так называемой “интегральной типологии” (см. попытку такого рода в [Шкарбан 1995]), тем более что для такого вывода материал рецензируемого сборника предоставляет новый любопытный материал – наподобие отмечаемой Н. Химмельманом связи между наличием аппликативной морфологии и отсутствием залоговой деривации у стивных предикатов. Более того, иногда (например, в туканг-беси по данным М. Донохью) можно наблюдать фактическое сохранение залоговой системы филиппинского типа при полной перестройке средств формального выражения соответствующих противопоставлений. Вместе с тем, некоторые описания, вошедшие в сборник, демонстрируют языки, отклоняющиеся как от филиппинского, так и от индонезийского прототипов, нередко за счет черт, приписываемых другому типу. Это говорит о том, что филиппинский и индонезийский типы не просто

родственны (что, конечно, никем не отрицается), но и не всегда жестко противопоставлены структурно. Данные же индонезийских диалектов (Д. Гил) и сасацкого языка (Ф. Ваук) свидетельствуют о возможности дальнейшего развития залоговой системы, при котором она окончательно теряет синтаксическую значимость, нередко маркируя лишь прагматические противопоставления и уже никак не участвуя в выражении синтаксических отношений.

Правда, не стоит забывать, что такое развитие, вероятно, было в какой-то степени обусловлено как раз спецификой западно-австронезийского залога – прежде всего, тем, что изначально связь с синтаксисом у него была несколько слабее, чем у “привычных” систем. Помимо упомянутых выше особенностей, необходимо отметить еще и то, что залоговые показатели в рассматриваемых языках нередко обнаруживают отчетливые черты деривационных морфем, причем интерпретация залоговых конструкций может зависеть от лексической семантики глагола и от его аспектуальных характеристик – неслучайно в большинстве языков филиппинского типа маркирование залога непосредственно пересекается с выражением значений модальности, аспектуальности и темпоральности. Несмотря на то, что в отдельных статьях (М.Е. Баутин, В. Шпиц) такого рода фактам придается весьма большое значение, детальное исследование их связи с потенциальным развитием и/или устойчивостью залоговых систем еще предстоит.

И тем не менее, диахроническим проблемам в сборнике уделено довольно много места (что отражено и в его названии). Отчасти это обусловлено тем, что благодаря обширному и неплохо описанному материалу, в австронезистике (функциональная) типология вообще до недавнего времени была почти неразрывно связана с историческими исследованиями. С другой стороны, и сам объект исследования – западные австронезийские языки – ставит перед исследователями исторические вопросы. Дело в том, что это объединение является скорее географическим – фактически оно включает в себя представителей нескольких групп австронезийской семьи, располагающихся на Тайване, а также часть малайско-полинезийской группы, образуемой за счет исключения из нее центрально- и восточно-малайско-полинезийских языков. При этом малайско-полинезийские языки, включаемые здесь в понятие “западных австронезийских” (и ранее объединяемые под именем “западно-малайско-полинезийских”), по-видимому, не образуют единую подгруппу, и вопрос о дальнейшей классификации этих языков остается открытым.

Некоторый свет на эту проблему, очевидно, могут пролить и исследования грамматических систем западных австронезийских языков, где категория залога занимает одно из ведущих мест. И действительно, как видно из некоторых статей сборника, сравнение залоговых систем помогает установлению генетической близости. Отметим, в частности, статью Э. Зобеля, который таким путем пытается установить место двух “проблемных” (со сравнительно-исторической точки зрения) языков чаморро и палау, обращая внимания на сходства их грамматических систем с индонезийским структурным типом.

Правда, сравнение языков, представленных в сборнике, затруднено отсутствием какой-либо единой концепции залога, принимаемой авторами (и в этом отношении этот сборник отличается, скажем, от посвященных залогов отечественных коллективных монографий вроде [Типология 1974] или [Конструкции 1981]). В то же время, быть может, как раз отсутствие такой концепции и позволяет обнаружить здесь нюансы, до сих пор оставшиеся в тени – такие, например, как реликты залоговых изменений в сфере “чистого” словообразования или формирования относительных предложений.

Так или иначе, рецензируемый сборник предлагает богатый материал для типологии залога и переходности – данные, которые, несмотря на несоответствие устоявшимся стереотипам, не должны игнорироваться типологами. Не стоит забывать, что австронезийская семья – одна из самых многочисленных в мире, так что ее основные грамматические особенности вряд ли могут быть отнесены к маргинальным.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алиева 1975 – *Н.Ф. Алиева*. Индонезийский глагол. Категория переходности. М., 1975.
- Алиева 1998 – *Н.Ф. Алиева*. Типологические аспекты индонезийской грамматики. Аналитизм и синтетизм. Поссесивность. М., 1998.
- Конструкции 1981 – Залоговые конструкции в разноструктурных языках / Отв. ред. В.С. Храковский. Л., 1981.
- Мельчук, Холодович 1970 – *И.А. Мельчук, А.А. Холодович*. К теории грамматического залога (определение, исчисление) // Народы Азии и Африки. 1970. № 4.
- Оглоблин 1978 – *А.К. Оглоблин*. О соотношении актива и пассива в языках яванской группы // Проблемы теории грамматического залога / Отв. ред. В.С. Храковский. Л., 1978.

Типология 1974 – Типология пассивных конструкций. Диатезы и залого / Отв. ред. А.А. Холодович. Л., 1974.

Шкарбан 1995 – Л.И. Шкарбан. Грамматический строй тагальского языка. М., 1995.

Kroeger 1993 – P. Kroeger. Phrase structure and grammatical relations in Tagalog. Stanford, 1993.

Ю. А. Ландер

**Representing space in Oceania: Culture in language and mind** / Ed. by G. Bennardo. Canberra: The Australian National University, Research School of Pacific and Asian Studies, 2002. vii + 260 p. (Pacific Linguistics; 523).

Сборник статей, изданный в авторитетной серии “Pacific Linguistics” (хорошо известной специалистам по австронезийским и неавстронезийским языкам тихоокеанского ареала), посвящен различным проблемам концептуализации пространственных понятий в языках и культуре народов Океании.

Сама тема пространства в языке, мышлении и культуре фундаментальна и практически неисчерпаема, и, несмотря на то, что почти в каждой гуманитарной области знания – лингвистике, филологии, психологии, антропологии, культурологии – существует множество исследований, затрагивающих пространственные основы человеческого бытия (см., например [Miller, Johnson-Laird 1976; H. Clark, E. Clark 1977; Talmy 1983; Herskovits 1986; Svorou 1993; Pederson 1995]), интерес к пространству не угасает, и новые исследования постоянно обогащают эту огромную многомерную мозаику. За последнее время в России, и за рубежом было опубликовано множество типологических и частных исследований, посвященных проблематике концептуализации пространственных отношений в языке. Можно назвать, например, сборники статей [Bloom et al. 1996; Pütz, Dirven 1996; Senft 1997; ТФГ 1996; ЛАЯ 1999; 2000; ИТГ 2002]. Однако, как отмечает во введении редактор сборника Дж. Беннардо, пока что имеется слишком мало работ, ориентированных на исследование языков какого-либо региона, связанных родством и территориальной близостью. Кроме того, рецензируемый сборник отличается от множества других работ наличием культурного и этнографического компонента: практически все авторы – не только психологи, антропологи, но и лингвисты – не замыкаются на чисто языковом материале, а стремятся включить его в культурный контекст. В какой-то степени к подобным исследованиям можно отнести только [Bloom et al. 1996] и [Senft 1997], где провозглашается ценность не только лингвистического или антропологического, но и междисциплинарного подхода.

Во введении Дж. Беннардо отмечает, что издание посвящено описанию пространства как такового, а не пространства как языковой

метафоры (что, по-видимому, является одной из самых популярных сейчас тем). Дж. Беннардо с полным основанием считает, что для того, чтобы описывать метафоры, связанные с пространством, необходимо сначала тщательно изучить саму сферу пространства.

Редактор обозначает три основные цели данного тома следующим образом. Первая – отразить вклад в исследование пространства, в частности, языковых, ментальных и культурных представлений пространственных отношений. Используемые методологии включают сложный лингвистический анализ, экспериментальные когнитивные психологические тесты и интерпретации этнографических описаний. Вторая цель – впервые предъявить исследование пространственных представлений в языках одной специфически культурной области, а именно Океании, включающей Микронезию, Меланезию и Полинезию. Третья цель – показать ценность межкультурного и межкультурного анализа. Невозможно проводить исследование пространственных представлений, не сравнивая материал различных языков и культур. При этом, однако, нельзя обобщать результаты, верные для одной группы языков, применительно ко всем языкам, как это получилось с индоевропейскими языками, на материале которых долгое время делались выводы об универсалиях языка и человеческого мышления. Языки Океании как раз представляют систему пространственных отношений, сложным и нетривиальным образом отличающуюся от типичной индоевропейской.

В большинстве работ, вошедших в рецензируемый сборник, различается три типа пространственной ориентации, выделенных С. Левинсоном [Levinson 1996]. Типы эти следующие:

1) встроенная (intrinsic) ориентация, имеющая два аргумента: референт (локализуемый объект, в лингвистической литературе используется также термин “фигура”) и релятум (ориентир, относительно которого локализуется объект, также “фон”). Этот тип пространственной ориентации опирается на асимметрию, присущую релятуму, например, фасад-

ность, функциональное использование каких-то частей, преимущественное направление движения и т.д. (как в предложении *Джон перед машиной*);

2) относительная (relative) ориентация, которая включает, кроме референта и релятума, еще и точку наблюдения (*кубик за мячом*);

3) абсолютная (absolute) ориентация, которая так же, как и встроенная, включает референт и релятум, но не требует знания свойств релятума за исключением его местоположения (*машина к северу от дома*). Кроме того, отдельно от трех вышеперечисленных рассматривается дейктический компонент, указывающий на пространственно-временные координаты речевого акта, который может присутствовать, а может и отсутствовать во всех трех типах ориентации<sup>1</sup>.

Наиболее характерной чертой языков Океании и других австронезийских языков является развитая система абсолютной ориентации, которую Б. Палмер, автор одной из статей сборника, даже называет универсальной для австронезийских языков. Относительная же ориентация, настолько привычная для носителей индоевропейских языков, что она практически считалась универсальным концептом человеческого мышления, в этих языках используется ограниченно или не используется совсем (как в языках Новой Каледонии, а также в языках лонгу, муна, таба и др.). В качест-

<sup>1</sup> В отечественной литературе при описании категории пространственной ориентации обычно выделяют два типа – относительную и абсолютную ориентацию, однако под этими терминами не всегда понимается одно и то же. В работе [Апресян 1995], опирающейся на материал русского языка, под абсолютной ориентацией имеется в виду встроенная ориентация в смысле С. Левинсона (что вполне объяснимо, так как русский язык не располагает грамматическими показателями абсолютной ориентации). В типологической работе [Плунгян 2002], посвященной построению классификации глагольных показателей ориентации, относительная и встроенная ориентация не различаются, но рассматриваются два типа задания ориентира – фиксированное, когда все употребления ориентационного показателя предполагают один и тот же заранее заданный ориентир (абсолютная ориентация), или контекстное, когда ориентир задается в конкретной ситуации (относительная ориентация). Аналогичный термин для абсолютной ориентации – fixed landmark ‘ориентир, включенный в пространственный грамматический показатель’ используется в [Svotou 1993].

ве абсолютных ориентиров могут служить движение солнца, берег моря, направление ветра, течения реки, прибрежного течения и т.п.<sup>2</sup>. Проблемы абсолютной ориентации затрагиваются практически во всех статьях сборника.

Сборник состоит из трех разделов: “Язык и пространство”, “Пространство в мышлении” и “Пространство и культура”. Авторы всех трех разделов, однако, как правило, обращаются ко всем обозначенным областям – язык, мышление, культура, поддерживая идею главного редактора о важности междисциплинарного подхода.

Первый раздел включает четыре статьи, в фокусе которых находятся лингвистические особенности языков Океании. Авторы рассматривают, какими грамматическими средствами выражены пространственные отношения в языках алуэ, амбае, тонга, ниуэ, гавайском.

Раздел начинается статьей М. Флори и Б. Келли “Пространственная ориентация в языке алуэ” (M. Florey, B. Kelly. “Spatial reference in Alupe”), в которой рассматривается австронезийский язык алуэ (один из молуккских языков). Хотя географически этот язык и не входит в Океанию, Дж. Беннардо включил его в этот сборник на том основании, что он генетически связан с языками Океании, а его географическое расположение, возможно, соответствует прародине языков и культуры Океании.

Статья представляет собой подробный лингвистический анализ всей системы пространственных граммем, включающей шесть директивов (соответствующий английский термин directionals), локатив, аблативный и аллативный предлоги и дейктический маркер. Директивы могут выступать как предлоги и как полнзначные имена, они также имеют форму клитики, которая употребляется только с аллативным предлогом. Директивы обозначают три пространственные оси: направление к морю / направление вглубь острова (*mlau / nda*), вверх / вниз (*mlete / mpe*) и параллельно берегу в разных направлениях (*ndi / mrai*).

Авторы выделяют четыре пространственных зоны, в каждой из которых своя система концептуализации пространства. Зона 1 – ближайшее пространство, в котором происходит большинство событий; зона 2 находится внутри о. Серам, где проживают носители языка;

<sup>2</sup> В исследовании [Плунгян 2002] предлагается попытка дальнейшей типологической классификации абсолютных ориентиров: они делятся на четыре группы – предметные, гравитационные, антропоцентричные и дейктические.

зона 3 – регион Молуккских островов (восточная Индонезия), где располагается Серам; наконец, зона 4 – весь остальной мир. Первую зону обслуживают все шесть директивов, а в остальных зонах используется по одному директиву из того же набора.

Особенность методологии авторов исследования в том, что они рассматривают не только “идеальную” модель языка, но и его функционирование в реальном дискурсе. Сравнивая две эти модели, авторы приходят к интересным выводам об их отличиях. Так, подробно исследуются, какие факторы влияют на употребление или неупотребление именных групп в синтаксических конструкциях, локативных конструкций для обозначения движения, конструкций с аллативом и директивами для обозначения местонахождения и т.п. Объяснения подобных явлений даются в основном в терминах коммуникативных намерений говорящего, фокуса его внимания, знания говорящего и слушающего о расположении референциальных объектов в пространстве. Кроме того, приводятся и экстралингвистические, культурные обоснования грамматических явлений.

В статье К. Хислоп “Как прятаться за деревьями на Амбае: пространственная ориентация в одном из языков Океании” (С. Hyslop. “Hiding behind trees on Ambae: spatial reference in an Oceanic language”) исследуется пространственная ориентация языка жителей о. Амбае на севере Вануату. Пространственная картина сильно отличается от привычной нам. Так, в этом языке нельзя сказать *за деревом*, поскольку в нем нет языковых средств для выражения относительной ориентации. В этих случаях используется абсолютный или встроенный тип ориентации, то есть ‘за деревом’ будет буквально переводиться, в зависимости от данной конкретной ситуации, как ‘возле дерева в месте, которое дальше вниз от меня’ или ‘возле дерева в месте, которое дальше вверх от меня’.

Здесь, как и в предыдущей статье, анализируется набор директивов, однако, несмотря на то, что употребляется тот же термин, что и в предыдущей статье, синтаксически директивы в амбае играют совсем иную роль: они могут выступать как демонстративы, абсолютные локативные имена и директивные глаголы. В этом языке существует система из девяти директивов, которые различают движение на одном уровне вдоль берега (*vano*), движение вверх, на сушу (*hage*), и вниз, к морю (*hivo*). Каждое из них также комбинируется с тремя дейктическими значениями: движение от дейктического центра, к дейктическому центру и движение к слушающему или бывшему / будущему дейктическому центру. Эта система

требует учета абсолютной позиции объекта и местоположения говорящего. Так, чтобы описать движение объекта в пределах острова, необходимо учитывать такие факторы, как находится ли цель движения выше, ниже или на том же уровне от местоположения говорящего; находится ли оно по направлению к морю, вглубь острова или параллельно берегу; находится ли оно на противоположной части острова (на восток или на запад); находится ли оно на северо-востоке или юго-западе. Если какая-то оппозиция нерелевантна в данном случае, то учитывается следующий фактор. Как и в некоторых других австронезийских языках, выбор директива обусловлен также местонахождением объекта в пределах острова Амбае, на соседних островах или в удаленном от него месте – то, что в предыдущей статье названо “пространственными зонами”. В статье рассматриваются и класс относительных локативных имен, выражающих встроенный тип пространственной ориентации.

В статье В. Шперлиха “Внутри и вне пространства ниуэ” (W. Sperllich. “Inside and outside Niuean space”) сравниваются пространственные системы двух близкородственных языков – тонга и ниуэ, а именно предлоги, пространственные имена и директивы (термин, который в данной статье обозначает пространственные слова, употребляемые как наречия, модифицирующие значения глагола, и как полнозначные глаголы). Язык тонга был описан в докладе [Bennardo 1996] и данная статья следует той же схеме описания для языка ниуэ, выявляя интересные различия. Как считает автор, подобные работы помогают нам понять, каким образом так называемые универсальные концепты, такие, как пространственная ориентация, могут быть выражены разными способами даже в близкородственных языках.

К. Кук в своей статье “Падежное маркирование гавайских локативных имен и имен места” (К. Cook. “The case marking of Hawaiian locative nouns and place names”) описывает специфические особенности локативных имен в гавайском языке, которые имеют различное падежное маркирование в зависимости от того, выступают они в качестве имен места, имен собственных или нарицательных. Как и другие авторы этого тома, Кук находит подтверждение своим выводам, сделанным на основе лингвистического анализа, в культурном контексте – современной гавайской популярной музыке. Автор утверждает, что важность локативных концептов в гавайской культуре связана с любовью жителей к родному краю и выражается, в частности, в количестве песен, воспевающих и одушевляющих родные места.

Второй раздел сборника, "Пространство в мышлении", содержащий три статьи, открывается очень интересным фундаментальным исследованием Б. Палмера "Абсолютная пространственная ориентация и грамматикализация перцептивно выделенных явлений" (B. Palmer. "Absolute spatial reference and grammaticalisation of perceptually salient phenomena"). В отличие от всех остальных статей этого сборника, которые в основном посвящены частным описаниям конкретных языков, работа Палмера является типологическим описанием характерных черт абсолютной ориентации в языках Океании. Многие языки мира используют встроенную антропоморфную ориентацию гораздо в меньшей степени, чем индоевропейские языки, а вместо нее используют абсолютную. Например, носитель австралийского языка гугу-йимидир может попросить вас подвинуться на скамейке "чуть-чуть на восток" или передать солонку "с южного края западного стола". Как утверждает Палмер, абсолютная ориентация изучена хуже, чем относительная или встроенная. Целью его работы является обозначить определенные аспекты этого явления, которые станут базой для дальнейших исследований.

В своем типологическом обзоре Палмер использует материалы австронезийских языков Соломоновых островов, Новой Каледонии, Полинезии и др.: лонгу, квайю, толо, неми, толаи, кокота, манам, токелау и др. В обзоре отмечаются наиболее характерные черты пространственных систем австронезийских языков. В основе этой системы чаще всего лежит ориентация по оси "направление к морю vs. в глубь острова", либо ориентация по уклону местности – "вверх vs. вниз", в отличие от абсолютной ориентации индоевропейских языков, основанной на ориентации по сторонам света и связанной с движением солнца. В статье ясно показано, что европейская система координат вовсе не является универсальной и отражающей общечеловеческий способ мышления, а лишь одной из возможных. Палмер рассматривает различные комбинации всех этих трех систем в австронезийских языках и их модификации: ограничены или неограничены оси, представляют они собой векторы или квадранты, какие оси являются первичными, а какие развиваются из них.

Палмер считает, что в свете полученных результатов требуется сравнительное изучение близкородственных языков, носители которых живут в топографически и географически различных областях; и языков неродственных, но на которых говорят в областях с похожими топографическими и географическими свойствами. Сравнивая языки таким об-

разом, автор приходит к выводу, что если есть две оси, мотивированные разными природными явлениями, а следовательно, до некоторой степени концептуально независимые, они будут взаимодействовать по-разному в местах, где различается взаимодействие мотивирующих природных явлений. Это может произойти внутри одного языка, когда единая концептуальная система проявляется по-разному в различных местах обитания. Это не диалектное различие, а влияние ограничений среды на чувствительную к среде систему.

Автор размышляет о влиянии окружающей среды на язык и мышление человека и приходит к выводу, что некоторые природные явления настолько важны для человека, что язык выбирает некоторые из них и конструирует мотивированную ими грамматическую систему. Абсолютная пространственная ориентация в языке, по мнению Палмера, исключительно тесно связана с этими природными явлениями, постигаемыми с помощью органов чувств, по-видимому через посредство некоторых концептуальных структур или процессов, которые должны "предшествовать" языковой системе. Таким образом, абсолютная ориентация в языке является уникальной сферой для изучения пространственного мышления и восприятия человека.

Вторая статья этого раздела, "Ментальные картины привычного: культурные стратегии пространственных представлений в Тонга" написана редактором сборника Дж. Беннардо. (G. Bennardo. "Mental images of the familiar: cultural strategies of spatial representations in Tonga"). Некоторые психологические особенности жителей о. Тонга навели автора на мысль, что базовой структурой пространственных представлений там является радиальная структура с центробежным и центростремительным движением, то есть во всякой пространственной картине житель этого острова в первую очередь выделяет некий важный для данной ситуации центр, относительно которого локализируются все прочие объекты и их передвижения. Подтверждения своему предположению автор ищет в языке, исследуя систему директивов, демонстративов и личных местоимений. Автор доказывает, что описание семантики директивов с помощью радиальной структуры более адекватно, чем предлагавшиеся ранее толкования. В статье показано, что радиальная структура является подтипом абсолютной ориентации. Для подтверждения своей теории автор проводит также серию психологических опытов и привлекает этнографический материал.

Ф.К. Леман и Д. Хердрик в статье "О релевантности неограниченного поля для описания

пространства в Океании” (F.K. Lehman, D. Herdrich. “On the relevance of point-field for spatiality in Oceania”) на материале языка Самоа доказывают, что жители Океании воспринимают пространство как неограниченное, в отличие от большинства других языков, которые концептуализуют пространство как имеющее границы.

В третьем разделе, “Пространство и культура”, собственно языковой материал играет вспомогательную роль, а на первый план выступают антропологические и культурные наблюдения.

Е. Китинг в статье “Пространство и его роль в социальной стратификации на Понпеи, Микронезия” (E. Keating. “Space and its role in social stratification in Pohnpei, Micronesia”) изучает роль пространственных концептов в формировании отношений социальной иерархии на о. Понпеи. Автор исследует, как горизонтальные и вертикальные оси отражают социальные отношения между индивидуумами и как идеи социальной доминации и власти выражаются в языке в формах пространственной организации. Как известно, наивная физика отражается в языковых метафорах, престижные vs. непрестижные направления и части тела – верх vs. низ, вперед vs. назад – метафорически переносятся на социальные отношения (ср. [Bennet 1975; Frawley 1992]).

В языке понпей термины, соответствующие востоку и западу, имеют названия, связанные с названиями частей тела, соответственно, ‘лицевая сторона’ (*palimese*) и ‘задняя или хвостовая сторона’ (*palikap*). При этом восток считается по вертикальной оси выше запада; движение на восток острова описывается как движение вверх (*koh-da-la* ‘идти-вверх-туда’), а на запад – как движение вниз (*koh-di-la* ‘идти-вниз-туда’). В статье также обсуждается сложная система терминов для обозначения левой и правой стороны. В обычной речи правая сторона считается более престижной, чем левая, однако в статусно-маркированной речи, когда темой высказывания являются люди высокого социального статуса (например, старейшины), происходит инверсия, и более престижной становится левая сторона. Объяснение этому находится в особенностях организации горизонтального пространства ритуальных домов (*nahs*) и местоположения участников культурно-значимых событий: старейшины размещаются в самой престижной, верхней части ритуального помещения, лицом к остальным людям, то есть с их точки зрения с левой стороны находится то, что для простых участников находится справа.

Преимущественно антропологическим описанием является исследование Ч. Торен “Пространственно-временные координаты на Фиджи” (Ch. Toren. “Space-time coordinates of subjectivity in Fiji”), в котором также проводится параллель между вертикальной осью и сложными отношениями родства и социальной иерархии в повседневной деятельности жителей о. Фиджи. Дети с самого раннего возраста воспитываются в четко организованных зонах пространства внутри деревни и внутри каждого помещения, усваивая правила поведения в каждой зоне и свое подчиненное положение по отношению ко взрослым. Социальные отношения выражаются также в позе, жестах и речевом поведении.

А. Аллен в статье “Дом как социальная метафора: архитектура, пространство и язык в культуре Самоа” (A. Allen. “The house as a social metaphor: architecture, space and language in Samoan culture”) рассматривает архитектурные термины в культуре о. Самоа и проводит параллель между исходным значением слов, описывающих структуру архитектурных сооружений, и теми же самыми словами, используемыми для выражения социальных отношений.

В заключении под названием “Пространственная ориентация в островных мирах” Дж. Келлер (J. Keller. “Spatial representation of island worlds”) обобщает материалы всех авторов, рассматривая яркую и специфическую в культурном и языковом отношении Океанию как часть общечеловеческой культуры. Келлер рассуждает о потенциальных возможностях междисциплинарного подхода, провозглашенного редактором сборника, – интеграции лингвистических, психологических и этнографических методов и подходов.

Оценивая сборник в целом, можно сказать, что его авторы и составители безусловно достигли поставленных целей – данное издание вносит яркий и интересный вклад в заявленную проблематику и будет полезно не только австронезистам и типологам, но и другим специалистам самого разного профиля. Хочется отметить также, что все статьи снабжены картами и иллюстрациями, без которых не обходится ни одна работа, посвященная пространственным отношениям (как пишет Беннард, “рисование является окном в человеческое мышление”), что уже само по себе говорит о том, что пространство нельзя описать только языковыми средствами: необходим цельный междисциплинарный подход к изучению пространственных систем в языке, мышлении и культуре.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1995 – Ю.Д. *Апресян*. Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография, М., 1995.
- ИТГ 2002 – Исследования по теории грамматики. Вып. 2: Грамматикализация пространственных значений в языках мира / Под ред. В.А. Плунгян. М., 2002.
- ЛАЯ 1999 – Логический анализ языка. Языки динамического мира / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Шатуновский. Дубна, 1999.
- ЛАЯ 2000 – Логический анализ языка. Языки пространств / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина, М., 2000.
- Плунгян 2002 – В.А. *Плунгян*. О специфике выражения именных пространственных характеристик в глаголе: категория глагольной ориентации // Исследования по теории грамматики. Вып. 2: Грамматикализация пространственных значений в языках мира / Под ред. В.А. Плунгян. М., 2002.
- ТФГ 1996 – Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посесивность. Обусловленность, СПб., 1996.
- Bennardo 1996 – G. *Bennardo*. A conceptual analysis of Tongan spatial nouns: from grammar to mind. MS and paper delivered at the 3<sup>rd</sup> International conference on Oceanic linguistics, Waikato, 7–15 January, 1996.
- Bennet 1975 – D. *Bennet*. Spatial and temporal uses of English prepositions. London, 1975.
- Bloom et al. 1996 – P. *Bloom*, M.A. *Peterson*, L. *Nadel*, M.F. *Garrett* (eds.). Language and space. Cambridge (Mass.), 1996.
- H. Clark, E. Clark 1977 – H. *Clark*, E. *Clark*. Psychology and language. An introduction to psycholinguistics. New York, 1977.
- Frawley 1992 – W. *Frawley*. Linguistic semantics. Hillsdale (NJ), 1992.
- Herskovits 1986 – A. *Herskovits*. Language and spatial cognition: An interdisciplinary study of the prepositions in English. Cambridge, 1986.
- Levinson 1996 – S. *Levinson*. Frames of reference and Molyneux's question: crosslinguistic evidence // P. *Bloom*, M.A. *Peterson*, L. *Nadel*, M.F. *Garrett* (eds.). Language and space. Cambridge (Mass.), 1996.
- Miller, Johnson-Laird 1976 – G.A. *Miller*, P. *Johnson-Laird*. Language and perception. Harvard, 1976.
- Pederson 1995 – E. *Pederson*. Language as context, language as means: spatial cognition and habitual language use // *Cognitive linguistics*. 1995. 6 / 1.
- Pütz, Dirven 1996 – M. *Pütz*, R. *Dirven* (eds.). The construal of space in language and thought. *Cognitive linguistics research*. 8. Berlin; New York, 1996.
- Senft 1997 – G. *Senft* (ed.). Referring to space: Studies in Austronesian and Papuan languages. Oxford, 1997.
- Svorou 1993 – S. *Svorou*. The Grammar of space. Amsterdam, 1993.
- Talmy 1983 – L. *Talmy*. How language structures space // H. *Pick*, L. *Acredolo* (eds.). Spatial orientation: theory, research, and application. New York, 1983.

Ю. В. Мазурова



**НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ**

**ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ**

Международный симпозиум “Словарное наследие В.П. Жукова и пути развития русской и общей лексикографии” (Третьи Жуковские чтения) прошел в Великом Новгороде на базе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого 21–22 мая 2004 года.

Специальное обращение форума к проблемам лексикографии далеко не случайно. Прошедшее десятилетие ознаменовалось, после краткого периода застоя, вызванного известными причинами, бурным ростом числа издаваемых словарей. Отбор единиц, направленность и, естественно, качество лексикографической продукции отличалось и отличается при этом чрезвычайным разнообразием. Массив уже изданных словарей нуждается, по крайней мере, в систематизации и первоначальному осмыслению.

В форуме приняли участие около 60 филологов из России, Украины, Латвии, Германии, США.

Основными проблемами, которые оказались в центре внимания участников чтений, были следующие:

- теория и практика составления словарей, в том числе новые типы словарей, новые критерии отбора материала и его подачи;
- историческая и диалектная лексикография, в том числе новое, расширительное понимание термина “диалект” (идиолект, диалект семьи) в словарной практике;
- структура словаря, в том числе применение в словарях современных способов анализа языковых явлений: антропоцентрического принципа, внимания к явлениям речи, упotreблению языковых единиц в контексте;
- фразеография и паремиография, в том числе диалектная и многоязычная;
- словари языка писателей.

Участники форума констатировали появление большого количества словарей, разнообразных как по принципам комплектования ма-

териала, так и по задачам, которые ставят их авторы. Многие доклады представляли собой изложение концепций подобных изданий. Так, сообщение Л.П. Дядечко (Киев) было посвящено разработке идеи мультимедийного словаря крылатых слов. Предполагается полиструктурный принцип его формирования, возможность ранжирования материала по нескольким регистрам в зависимости от потребностей пользователя, сопровождение словарной статьи информацией о манере произношения, сопутствующих жестах. Иллюстративная часть может, наряду с традиционными типами примеров, включать аудиоролики и графические произведения.

Доклад Е.А. Добрыдневой (Волгоград) касался вопросов разработки коммуникативного фразеологического словаря, в котором бы значительное внимание уделялось информации о сферах употребления, позициях автора и адресата текста, в котором использована та или иная фразеологическая единица. Такой словарь поддержал бы тенденцию, наметившуюся в 90-е годы благодаря деятельности А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко, направленную на максимальное отражение в лексикографическом источнике контекста и традиций употребления языковой единицы.

В русле коммуникативной лингвистики был выдержан и доклад Т.А. Демешкиной (Томск), которая предлагает идею словаря жанрообразующих лексем (перформативов), как реальных, так и потенциальных. Такие лексемы обозначают реальное событие, цементируют понятие речевого жанра и речевого акта. Этот словарь также относится к современному типу коммуникативных словарей.

Современная лексикография находится в том состоянии, когда составление словарей и теоретическое осмысление этой работы продвигаются параллельно. Неслучайно поэтому многие доклады конференции были посвящены тонким и спорным вопросам словарного строительства. Скажем, В.В. Химик (Санкт-Петербург) рассматривает практику описания

живой речи в современных словарях, в частности, единиц, которые принято называть жаргонными, просторечными, вулгаризмами и так далее. Намечается два пути – создание особых словарей специально для единицы подобного рода или включение их в словники существующих толковых словарей с изменением статуса последних на словарь тезаурусного типа. Рассматривается структура различных типов субстандартной лексики, существующей в современном живом употреблении: делового, жаргонного, традиционного просторечия. Сообщение Н.Л. Шадрина (Санкт-Петербург) касалось принципов построения словника фразеологического словаря. Есть два способа подачи такой информации: по начальному компоненту и по стержневому. В обоих случаях при пользовании словарем это вынуждало авторов использовать систему отсылок, затрудняющую применение источника. По мнению автора, проблему можно решить при помощи указателей единиц, причем оптимальным является включение в указатель не одного или всех компонентов, как это обычно делается, а двух лексических элементов фразеологизма, что обеспечивает быстроту поиска и точность отсылки. В докладе В.Т. Малыгина (Владимир) были затронуты проблемы стилистической кодификации, внутриязыковой и межъязыковой вариативности и эквивалентности. В частности, речь шла о передаче паремий в сопоставительных словарях. В.Т. Малыгин сделал вывод о необходимости использования различных способов: дословного перевода, привлечения тождественных паремий сравнимого языка. Выступление М.И. Солнышкиной (Казань) было обращено к проблемам составления профессионального словаря. К числу основных трудностей автор относит параллельное функционирование одной и той же единицы в разных подъязыках, что затрудняет ее атрибуцию, оформление зоны значения, которое может в сильной степени варьироваться в разных источниках. Также проблематично отделение неологизмов от окказионализмов. Автор предлагает считать неологизмами те единицы, которые использовались в одном значении не менее чем в двух разных источниках и значение которых подтверждалось хотя бы одним носителем профессионального подъязыка.

Многие доклады на конференции вступали порой в незримый, а то и открытый диалог. Так, сходными тематически оказались доклады В.Г. Дидковской (Великий Новгород) и В.А. Кузьменковой (Москва).

Сообщение В.А. Кузьменковой было посвящено лексикографической судьбе описательных предикатов типа *оказать помощь*,

*бросить взгляд*, *подвергать допросу*. Эти предикаты обладают отдельными свойствами фразеологизмов, в то же время полусвязочные глаголы, входящие в их состав, сохраняют свою видо-временную парадигму и другие глагольные свойства. В диахронии обнаруживается постепенное увеличение количества полусвязочных глаголов при приближении к современности. Описательные предикаты вступают в различные системные отношения. Такие структурные и функциональные свойства описательных предикатов, по мнению автора, должны фиксироваться в дистрибутивных словарях, и рассматриваться при обучении русскому языку, особенно иностранных учащихся.

В.Г. Дидковская говорит о способах словарного описания фразеологических сочетаний, которые отражают основные дискуссионные моменты их теоретической интерпретации, и прежде всего разноречивость мнений по вопросу об их языковом статусе и природе: они интерпретируются как единицы фразеологии или исключаются из ее состава как синтаксические единицы. Отсюда встает необходимость создания словаря устойчивых сочетаний, основанного на солидной общей теоретической базе.

Сказанное, на наш взгляд, отражает одну из основных проблем современной лексикографии, а именно субъективность подходов к формированию словника. По этой причине ряд словарей страдает однобокостью и неполнотой в подаче материала.

Великий Новгород – один из российских центров диалектной лексикографии, поэтому логично, что значительная часть докладов была посвящена именно этой тематике. Структура сообщений повторяла в целом проблемы общей лексикографии: проекты новых словарей, принципы отбора материала, трудности, возникающие на пути исследователей.

Так, Н.В. Большакова, Л.Б. Воробьева и З.В. Побидько (Псков) разрабатывают проект областного этнолингвистического словаря. По форме словарь задуман как толково-энциклопедический. Иллюстративная часть решает оригинальную стилистическую задачу словаря: ее чтение должно рождать у читателя ощущение целостного текста. Это достигается за счет того, что цитаты, записанные в разные годы от разных информантов, логически выстроены так, что воспринимаются как единый микротекст. Е.Е. Королева (Даугавпилс) выступила с докладом, посвященным созданию диалектного словаря одной семьи. Идеология такого словаря базируется на получившем популярность в последнее десятилетие антропоцентрическом подходе

де к языковым явлениям. Крайней точкой в лексикографии следует признать создание словаря отдельной личности. Словарь семьи выглядит в этой связи более представительным, так как показывает область повседневного дискурса языковой личности, более четко позволяет разделить описываемые языковые факты на регулярные и случайные. В диалектный словарь семьи включается только лексика, отсутствующая в кодифицированном литературном языке, что позволяет трактовать его как словарь дифференциального типа. Ю.Н. Грицкевич (Псков) исследует проблему заимствований диалектами слов из литературного языка и их лексикографической обработки. Литературное слово в диалектной среде обнаруживает, как лакмусовая бумага, активные словообразовательные и фонетические модели, свойственные данному говору. И.В. Кузнецова (Чебоксары) показывает, как обряды, обычаи, поверья становятся источником диалектной фразеологии. Почва диалектной фразеологии – архаическое миропонимание, поэтому единицы, образованные на основе поверий, обычаев, имеют общую типологическую природу в разных языках, что убедительно показывается приводимым материалом.

Наконец, в отдельную группу можно выделить доклады, тема которых так или иначе была связана с активными процессами в языке, провоцирующими, если можно так выразиться, лексикографическую деятельность. Таковыми были сообщения о языке писателей (в том числе современных), рекламных текстов, языке средств массовой информации. В частности, Е.Ю. Скороходова (Москва)

С 13 по 16 сентября 2004 года в Великобритании (Jesus College, Oxford) состоялся ежегодный Международный Коллоквиум по истории лингвистики Общества Генри Свита (The Henry Sweet Society for the history of linguistic ideas annual colloquium). Более сорока исследователей из Великобритании, США, Нидерландов, Германии, Франции, Швейцарии, Польши, России, Грузии, Японии, Тайваня, Бразилии и Новой Зеландии выступили с докладами на английском и французском языках и приняли участие в дискуссиях. К конференции был издан сборник тезисов докладов на английском и французском языках.

рассматривает особенности современного медиатекста. По мнению автора, он является наиболее динамичным речевым пластом, в котором отражаются все политические, культурные и прочие изменения. Последние десятилетия дали своеобразный “неологический взрыв”, лексика различного происхождения, стилистической отнесенности хлынула на страницы газет и в эфир. Это явление имеет несколько причин, из которых автор отмечает игровую стратегию текста, минимальное редактирование текстов современных СМИ, поиски новой образности, активность иноязычных заимствований. В ряде случаев это ведет к забвению главного свойства газеты – массовости, поскольку эксперименты показывают, что далеко не вся новая лексика доступна пониманию широкого читателя.

Необходимо особо отметить, что симпозиум проходил под сенью авторитета замечательного русского филолога, теоретика и практика фразеологии В.П. Жукова. Доклад А.В. Жукова (Великий Новгород), посвященный осмыслению опыта и достижений В.П. Жукова на ниве лексикографии, открывает собой сборник материалов Третьих Жуковских чтений, изданный к их открытию и включающий в себя более 250 статей, сообщений и тезисов докладов.

На заключительном пленарном заседании симпозиума было решено, что следующие чтения пройдут в 2007 году и посвящены они будут проблеме “Фразеологизм и текст”.

*В.И. Макаров*  
(Великий Новгород)

Открыл конференцию доклад Л.Г. Келли (Великобритания), рассказавшего о выполненных в XVI–XVII вв. английскими аптекарями-пуританами переводах на английский латинских фармакопей и книг по хирургии и общей медицине. Деятельности английских филологов и исследователей языка были посвящены и другие доклады. Так, сообщение П. Гиллвера (Великобритания), построенное на анализе ранее не опубликованных документов, было посвящено проблемам создания словаря New English Dictionary, а Ф. Маршалл (Великобритания) рассказала о Т. Х. Кее (1799–1875) – основателе Филологического Общества при Лондонском университете.

Некоторые доклады представляли собой анализ отдельных понятий в лингвистических теориях. О понятиях “узуса” (usage, gebruik) и “обоснования” (reason, rede) в голландской лингвистике XVII–XVIII столетий в сопоставлении с немецкой, французской и английской лингвистикой того же времени сообщил Г. Дж. Руттен (Нидерланды). Дж. Суббондо (США) остановился на понятии “философского языка” у Дж. Уилкинса (1614–1672), а концепты падежа и времени в грамматиках английского языка, опубликованных с 1586 по 1801 г. (речь шла примерно о пятидесяти грамматических описаниях), были представлены М. Мияваки (Япония). Рассуждения Т. Гоббса о метафоре стали центральной темой сообщения А. Мусольфа (Великобритания), а Ж.-М. Фурнье (Франция) сделал доклад о понятии “глагольного вида” (l’aspect verbal) в концепции М. де Невилля – малоизвестного специалиста по грамматике, жившего в XIX в.

Несколько докладов были посвящены дискуссиям об отдельных языках, имевших место в истории лингвистики. Так, К. Родригес-Алкала (Бразилия) рассказала о грамматиках языка гуарани, а другая бразильская исследовательница, К. Альтман, представила доклад о генетических vs. типологических связях между языками гуарани и тупи. Большой интерес вызвал доклад Я. Ноордеграфа (Нидерланды) об описаниях языка африканс голландскими лингвистами в XIX в. М. Дж. Хаашим и Х. Белл (Великобритания) сделали сообщение об “идеологических мотивациях”, обусловливавших выбор систем письма в нубийском языке в течение последних тринадцати столетий, а И. Милевска (Польша) выступила с докладом о различных моделях описаниях санскрита в работах европейских ученых. Об “общих грамматиках французского языка” речь шла в докладе В. Раби (Франция), а анализу различных точек зрения на систему гласных в древнеяпонском в количественном отношении (пять или шесть гласных фонем следует в нем выделять) был посвящен доклад К.-И. Кадоока (Япония). В докладе Х. Это (Япония) речь шла о влиянии исследований, выполненных немецкими филологами, на развитие англистики в Японии в XIX в. Некоторым трудностям как в описаниях, так и в самом понимании структуры полисинтетических языков в истории лингвистики был посвящен доклад Э. Новак (Германия).

В целой серии докладов речь шла о деятельности отдельных исследователей-лингвистов. Так, доклад И. Ивановой (Россия – Швейцария) был посвящен теориям аббата

Руссло в области экспериментальной фонетики. Начало занятий фонетикой Руссло восходит к концу XIX в. – времени господства сравнительно-исторических теорий в европейской лингвистике. В 1889 г. Руссло ввел преподавание экспериментальной фонетики в программу парижского Католического института, а в 1897 г. он основал лабораторию экспериментальной фонетики в Коллеж де Франс. По мнению исследовательницы, именно благодаря деятельности Руссло экспериментальная фонетика как новая научная дисциплина распространилась по всей Европе, а сравнительно-исторические исследования письменных текстов, поиск фонетических законов и реконструкция праязыков уступили место изучению живой речи и речевой деятельности говорящего. О теории частей речи у Дионисия Галикарнасского рассказал К. де Жонге (Нидерланды – Великобритания). Размышлениям о сущности языка и их месту в общей системе взглядов А. Меркела (1836–1896) был посвящен доклад В. Вонка (Нидерланды), а К. Мендус (Новая Зеландия) выступил с сообщением о формировании теории дифференциальных признаков Р. Якобсона. С большим интересом собравшиеся выслушали доклад С. Даладер (Нидерланды) о Первом международном лингвистическом конгрессе, состоявшемся в Гааге в апреле 1928 г. Обычно считается, что этот конгресс был создан по инициативе исключительно голландских лингвистов (К. Уленбека, Я. ван Гиннекена), однако голландская исследовательница сумела показать, что и роль А. Мейе в организации конгресса недооценивать не следует. Развитию в лингвистике XX в. идей Б. Уорфа и прежде всего возрождению его понятия “языковой относительности” за последние 50 лет был посвящен доклад С. Харди (США). Э. Ренан стал центральной фигурой доклада Дж. Лепольда (Великобритания – США). Исследователь указал на развитие взглядов Ренана “от лингвистики и психологии” (здесь Ренан находился под очевидным влиянием последователей В. фон Гумбольдта, А. Ф. Потта и Х. Штейнтля) “к расовой идеологии”, взглядам, более близким концепции М. Мюллера.

Несколько докладов были посвящены истории преподавания языков. Э. Гвоздек (Германия) уделила внимание проблемам преподавания латинской грамматики в Средневековье, обратив особое внимание на стремление педагогов к единообразию в преподавании грамматики. Ф. Вилхелм (Нидерланды) посвятил свой доклад истокам внедрения так называемого грамматико-переводного метода (grammar-translation method) в преподавание голландского языка как иностран-

ного в начале XIX в., а Дж. Уэлмсли (Германия) выступил с сообщением о преподавании грамматики в Англии и Уэльсе в XII в. В докладе М. Косцелецки (Тайвань) речь шла об изучении японцами иностранных языков в свете проблемы “модернизации знания”. По мнению докладчика, именно исключительная заинтересованность японцев в овладении иностранными языками и в проникновении в другие культуры обусловила их многочисленные успешные контакты с представителями других (языковых) культур. Р. Сидман-Джонс (Великобритания) поделился собственным опытом преподавания истории лингвистики в университете в Шеффилде. Обсуждение этого доклада было продолжено во время специально организованной общей дискуссии, посвященной проблемам преподавания истории лингвистики (вел. дискуссию Э. Лина, Великобритания).

Проблемы прикладного лингвистического знания обсуждались и в докладах, посвященных истории нейролингвистики и компьютерной лингвистики. М.П. Лоч (Великобритания) сообщила об исследованиях афазий у билингвов во второй половине XIX в. Еще один доклад, представленный исследовательницей (совместно с П. Хеллал, Великобритания) был посвящен опубликованной в 1877 г. работе Т. Барлоу о специфическом случае детской афазии, сопровождавшейся нарушением мускульной активности. Первоначальные поражения правого полушария мозга у ребенка сменились нарушениями деятельности левого полушария, что дало ученым возможность в течение более пятидесяти лет после этого случая использовать соответствующие данные в работах, посвященных изучению “локализации языковой способности в мозгу”, значению компенсаторной деятельности правого полушария мозга для выздоровления при различных афазиях, а также большей “пластичности” детского мозга, по сравнению с мозгом взрослого. Специалист по истории компьютерной лингвистики Ж. Леон (Франция) рассказала о корпусной лингвистике в свете проблем контекстуальных значений лексических единиц, а также использования статистики в лингвистике в пятидесятые годы двадцатого столетия.

Большой интерес собравшихся вызвал доклад К. Пюеша (Франция) “К вопросу о произвольности связи означающего и означаемого (*l'arbitraire du signe*) и рецепция сосюррианта и структурализма во франкоязычной

лингвистике”. По мнению докладчика, рецепция идей Ф. де Соссюра и его “Курса общей лингвистики” во Франции до сих пор изучена не до конца. Так, в 1920–1930 гг. во Франции идеи “Курса общей лингвистики” вызвали восторженную реакцию скорее философов, а не лингвистов: последние ставили в упрек Соссюру, в частности, его знаменитый тезис о произвольном характере означающего и означаемого в языковом знаке. Свидетельством такого прохладного отношения к Соссюру была, например, в 1937 г. статья Э. Пишона “*La linguistique en France, problèmes et méthodes*”, опубликованная в периодическом издании *Journal de psychologie*. Е. Вельмезова (Россия – Швейцария), в свою очередь, рассказала о некоторых теориях, противоречивших тезису Соссюра о произвольном характере связи означаемого и означающего в языковом знаке и возникших в советской лингвистике в 1920–1930 годы. О советской лингвистике шла речь и в докладе Т. Болквадзе (Грузия), проанализировавшей, в частности, теории Н.Я. Марра, Н.С. Трубецкого и И.В. Сталина о моно- vs. полиязыковом будущем человечества.

С. Верлейн (Бельгия) представил анализ порождающих диахронических моделей в фонологии, созданных в шестидесятые годы двадцатого века. В докладе Э. Элфферс (Нидерланды) говорилось о некоторых так называемых “анти-психологических” направлениях в лингвистике и логике начиная с XIX в., а П. Юмель (Франция) сделала сообщение о “психиатрическом дискурсе” в начале XX в. и его связях с некоторыми филологическими концепциями этого времени. Дебаты, разгоревшиеся в Берлинской Академии в конце пятидесятых годов восемнадцатого века вокруг проблемы языка и мышления, проанализировал А. Лившиц (Великобритания). В докладе К. Кернера были намечены основные направления и тенденции в современной истории лингвистики. Как подчеркнул исследователь, “истории лингвистики следует оставаться в пределах самой лингвистики”.

На заключительном заседании, завершившемся оживленной общей дискуссией, участники конференции поблагодарили ее организаторов – прежде всего президента Общества Генри Свита Дж. Крэма (Великобритания) – и выразили надежду на новые встречи и научные контакты.

*Е. Вельмезова (Москва)*

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ "ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ"

- БЕ – Български език  
ВДИ – Вестник древней истории  
ВИ – Вопросы истории  
ВСЯ – Вопросы славянского языкознания  
ВФ – Вопросы философии  
ВЯ – Вопросы языкознания  
ЕИКЯ – Ежегодник иберийско-кавказского языкознания  
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения  
ЗВО РАО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества  
ИАН СЛЯ – Известия АН СССР. Серия литературы и языка  
ИКЯ – Иберийско-кавказское языкознание  
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР  
ИЯШ – Иностранные языки в школе  
РЯНШ – Русский язык в нац. школе  
РЯШ – Русский язык в школе  
СБНУ – Сборник за народни умотворения  
Сб. ОРЯС – Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук  
СТ – Советская тюркология  
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук (Пушкинского дома)  
ФН – Доклады высшей школы. Филологические науки  
ADAW – Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst  
AfsIph – Archiv für slavische Philologie  
AGL – Archivio glottologico Italiano  
AKGW – Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen  
AL – Acta linguistica  
AmA – American anthropologist  
ANF – Arkiv för nordick filologi  
AO – Archív orientální  
APAW – Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse  
BCLC – Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague  
BPTJ – Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego  
BSLP – Bullétin de la Société de linguistique de Paris  
BSOS – Bulletin of the School of Oriental studies  
BzNf – Beiträge zur Namenforschung  
CAJ – Central Asiatic journal  
CFS – Cahiers F. de Saussure  
CJ – The classical journal  
FPhon – Folia phoniatica  
FuF – Finnisch-ugrische Forschungen  
GL – General linguistics  
HR – Hispanic review  
IF – Indogermanische Forschungen  
IJ – Indo-Iranian journal  
IJAL – International journal of American linguistics  
JA – Journal asiatique  
JASA – Journal of the Acoustical society of America  
JEGPh – Journal of English and Germanic philology  
JL – Journal of linguistics  
JP – Język polski  
JRAS – Journal of the Royal Asiatic society  
JSFOu – Journal de la Société finno-ougrienne  
JФ – Јужнословенски филолог

KZ – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen,  
 begründet von A. Kuhn  
 LaPh – Linguistics and Philosophy  
 Lg – Language  
 LIn – Linguistic Inquiry  
 LM – Les langues modernes  
 MM – Maal og minne  
 MSFOu – Mémoires de la Société finno-ougrienne  
 MSLP – Mémoires de la Société de linguistique de Paris  
 MSOS – Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin  
 NSS – Nysvenska studier  
 NTS – Norsk tidsskrift for sprogvidenskap  
 PBB – Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur  
 PMLA – Publications of the Modern Language Association of America  
 RES – The Review of English studies  
 RÉG – Revue des études grecques  
 RÉSI – Revue des études slaves  
 RF – Romanische Forschungen  
 RKJL – Rozprawy Komisji językowej Łódźk. t-wa naukowego  
 RKJW – Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego  
 RLing – Russian linguistics  
 RLR – Revue de linguistique romane  
 RO – Rocznik orientalistyczny  
 RS – Rocznik slawistyczny  
 SaS – Slovo a slovesnost  
 SDAW – Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil-hist., Klasse für Sprachen,  
 Literatur und Kunst  
 SL – Studia linguistica  
 SMS – Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literárnu históriu  
 SPAW – Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften  
 StO – Studia orientalia  
 SWAW – Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften  
 TA – Traduction automatique  
 TCLC – Travaux du Cercle linguistique de Copenhague  
 TCLP – Travaux du Cercle linguistique de Prague  
 TIL – Travaux de l'Institut de linguistique  
 TPhS – Transactions of the Philological society  
 UAJb – Ungarische Jahrbücher  
 VR – Vox Romanica  
 WW – Wirkendes Wort  
 ZAS – Zentralasiatische Studien  
 ZCPh – Zeitschrift für celtische Philologie  
 ZDA – Zeitschrift für deutsches Altertum  
 ZDMG – Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft  
 ZDPh – Zeitschrift für deutsche Philologie  
 ZMaF – Zeitschrift für Mundartforschung  
 ZNS – Zeitschrift für neuere Sprachen  
 ZPhon – Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft  
 ZRPH – Zeitschrift für romanische Philologie  
 ZSL – Zeitschrift für Slavistik  
 ZSLPh – Zeitschrift für slavische Philologie

## CONTENTS

T.V. Gamkrelidze (Tbilisi). On a certain linguistic paradigm; A.L. Šilov (Moscow). The Baltic-Finnish word-stock and the linguistics of the Eastern Slavonic languages; R.F. Kasatkina (Moscow). The Moscow akanije in the light of dialectal data; R.K. Potapova (Moscow). The subject-oriented perception of foreign speech; V.Yu. Gusev (Moscow). Typology of irregular imperative verbal forms; N.A. Koževnikova (Moscow). Syntactic synonymy in a belles-lettres text; V.I. Podlesskaja (Moscow). The Russian verbs *дать / давать*: the change from direct to grammatical usage; M.E. Soboleva (St. Petersburg). Materials to the history of analytical philosophy of language in Germany; **Reviews:** M.B. Popov (St. Petersburg). *R.O. Richards*. The Pannonian Slavic dialect of the Common Slavic Proto-language: The view from Old Hungarian; P.V. Iosad (Moscow). *J. Mattissen*. Dependent-head synthesis in Nivkh: A contribution to a typology of polysynthesis; N.R. Sumbatova (Moscow). Structures of focus and grammatical relations; Yu.A. Lander (Moscow). *F. Wouk, M. Ross (Eds.)*. The history and typology of Western Austronesian voice systems; Yu.V. Mazurova (Moscow). Representing space in Oceania: Culture in language and mind; **Chronical features.**

---

Сдано в набор 24.12.2004	Подписано к печати 21.02.2005	Формат 70 × 100 <sup>1/16</sup>		
Офсетная печать	Усл. печ.л. 13,0	Усл. кр.-отт. 19,4 тыс.	Уч.-изд.л. 15,4	Бум. л. 5,0
	Тираж 1462 экз.	Зак. 90		

---

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.  
в Министерстве печати и информации Российской Федерации  
Учредитель: Российская академия наук

---

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная, 90  
Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
телефон 201-25-16

Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"  
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6